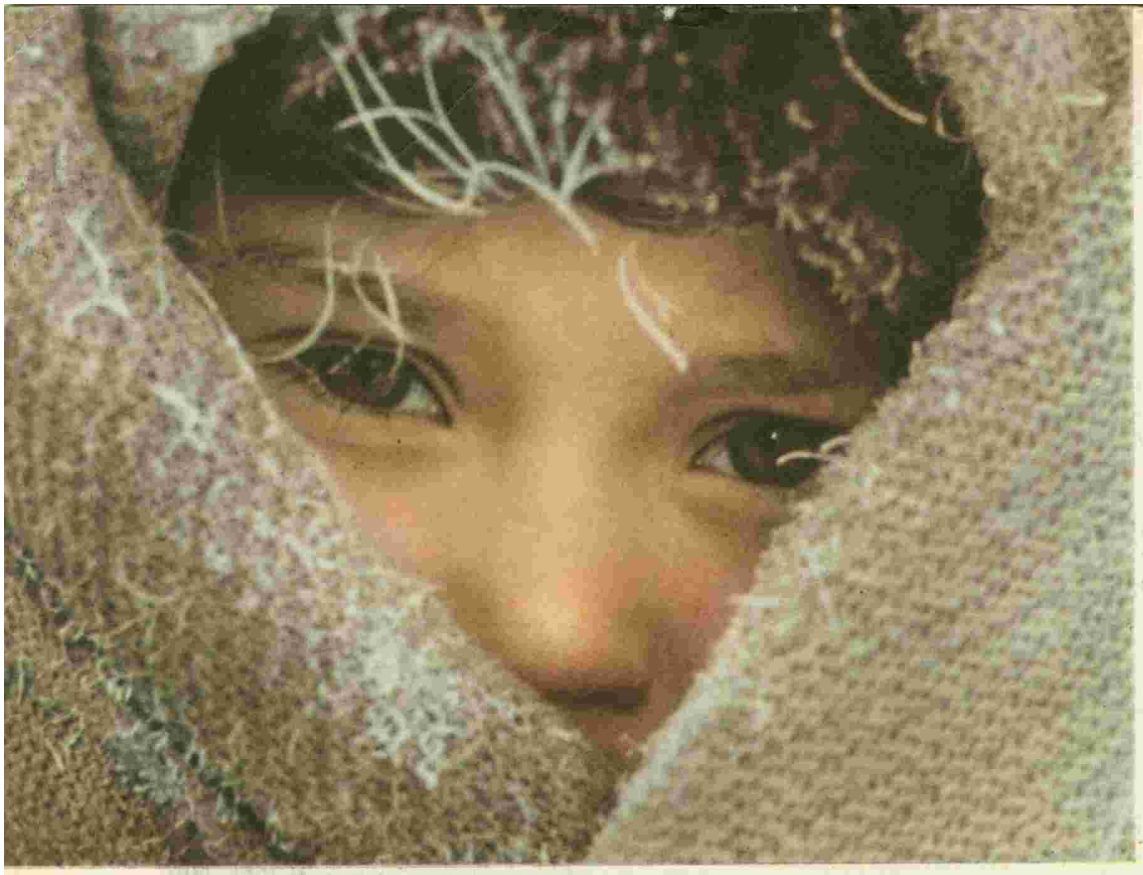


ЮНОСТЬ

3

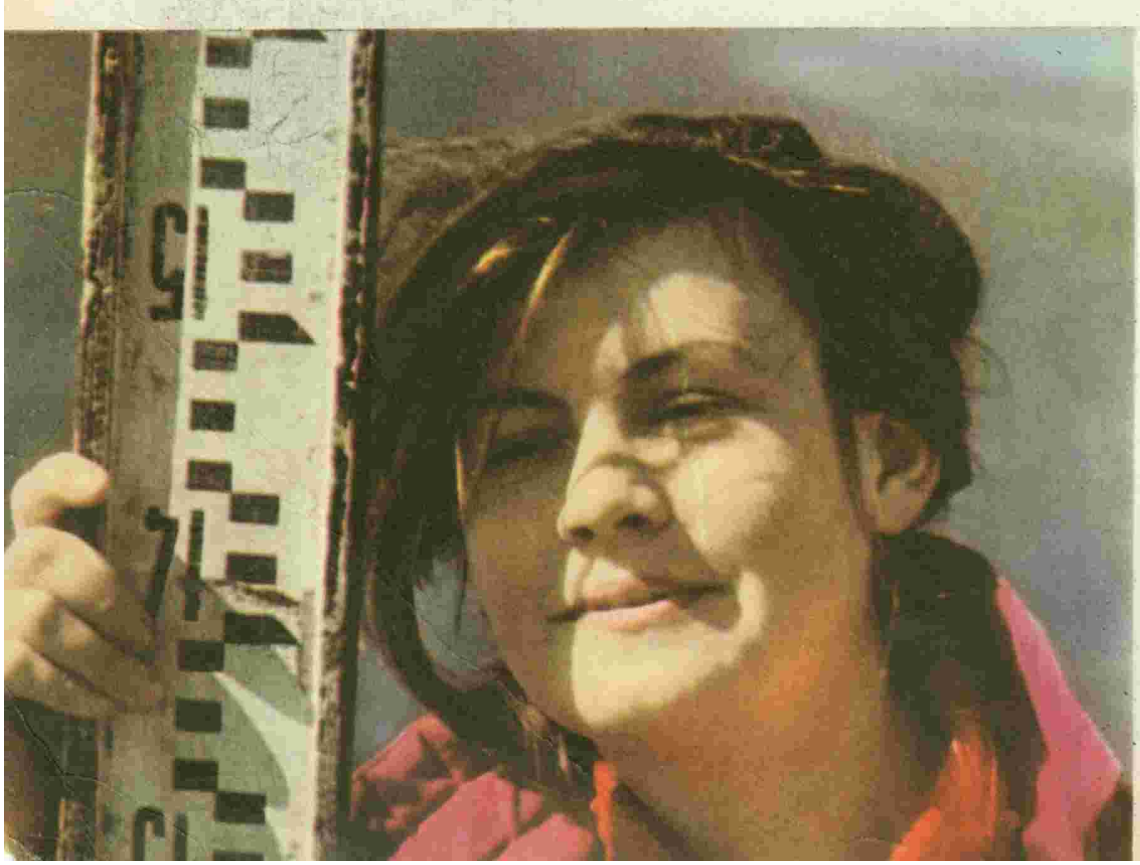
1967



На Крайнем Севере.

Кадры из документального цветного фильма «Сибирью плененные».
Режиссер-оператор Иван ГАЛИН.
Производство Центральной студии документальных фильмов.

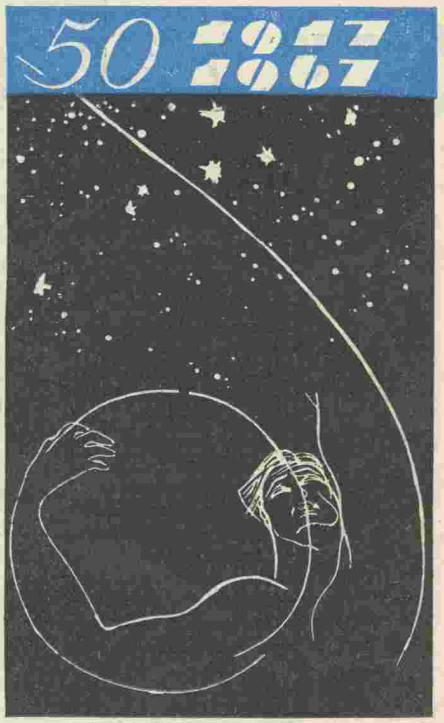
(См. статью Иржи Плахетки на стр. 83 этого номера «Юности».)



Строительница Вилюйской ГЭС.

ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕМЕСЯЧНИК СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР



год издания тринадцатый

3

(142)

МАРТ

1967

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА» МОСКВА



• В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ • В НОМЕРЕ •

ПРОЗА

С. РОМАНОВСКИЙ. Уголёк. Рассказ . **7**

А. АВДЕЕНКО. Я люблю. Роман. (Окончание). **12**

П. БАГРЯК. Перекресток. Приключенческая повесть **67**

ПОЭЗИЯ

НОННА СЛЕПАКОВА. Октябрь. «Я люблю тебя, «Аврора»... Фотографии . . **2**

ТАМАРА ЖИРМУНСКАЯ. «Возьмите в дочки, Ольга Федоровна...» Гости. Моей библиотеке **2**

ИННА КАШЕЖЕВА. У трапа. «Мы отданы родным приметам...», «Как хорошо ложиться спать под утро...», «Может быть, прабабками завещаны...». . . . **4**

ОЛЬГА ФОКИНА. «У реки поутру побелевшей отавы...», «В сентябре деревья...», «У меня на окне светло...». . **5**

ЛЮБОВЬ ВАГАНОВА. «Природа — извечная тема...», «Наполовину деревянные...», Россия, «О Россия, разливы, лесные туманы...», «Начало марта. Таяние снегов...» **6**

Симон ЧИКОВАНИ. Стихи из цикла «Ганджинская тетрадь». Перевод с грузинского Евг. Евтушенко **43**

Владислав ФАТЬЯНОВ. «Секатор щелкает на вишне...», «Превозмогая горечь нареканий...» **57**

ЕВГЕНИЙ АНТОШКИН. «Фотограф был бесстрастный иллюстратор...», Русская речь **57**

ЮРИЙ СМИРНОВ. «Над берегами облака...», «Был разлинован день косым дождем...». **57**

ВАДИМ РАБИНОВИЧ. «Когда в минувшую войну...» **58**

ЮРИЙ ЛАКЕРБАЙ. Старый Званба пустился в пляс. Состязание. **58**

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ РЕВОЛЮЦИИ

А. И. МИКОЯН. Из воспоминаний. . . . **44**

НАВСТРЕЧУ IV ВСЕСОЮЗНОМУ СЪЕЗДУ ПИСАТЕЛЕЙ

ФЕЛИКС КУЗНЕЦОВ. К зрелости. . . . **59**

К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

Ю. ВЕЧЕРСКИЙ. Жизнь заговорила вновь... . . . . **65**

КИНО

ИРЖИ ПЛАХЕТКА. Сибирью плененные **83**

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ

По страницам журналов: «Радуга», «Молодая гвардия», «Искусство», «Иностранная литература», «Вопросы литературы», «Сибирские огни» **86**

ПУБЛИЦИСТИКА

ЮРИЙ АПЕНЧЕНКО. Свидание с Чернозубовым. **88**

НАУКА И ТЕХНИКА

ИГОРЬ ГУБЕРМАН. Дар Прометея . . . **94**

ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

✲ **А. РАЗИН.** Первый рейс под красным флагом. ✲ **МИХ. ОШУРКОВ.** Размышления после финиша. ✲ **АЛЕКСЕЙ АДМИРАЛЬСКИЙ.** Зеленые поэты. ✲ **А. ТИТОВ.** Был час обеденного перерыва... **101**

ДЕБЮТЫ

ВЛАДИСЛАВ ПЬЯВКО. «Середины быть не может». **104**

СПОРТ

СТАНИСЛАВ ТОКАРЕВ. Ты выходишь на ковер... . . . . **106**

ПЫЛЕСОС

Из истории женских праздников. Рисунки А. Семенова. **111**

На 1—4-й страницах обложки — рисунок Э. Раппопорт.

Художественный редактор Ю. Цишевский. Технический редактор Л. Зябкина.

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефон Д 5-17-83. Рукописи не возвращаются.

А 00335. Подп. к печ. 22/II 1967 г. Формат бумаги 84×108¹/₁₆. Объем 7,25 физ. печ. л.— 12,18 усл. печ. л. Тираж **2 000 000** экз. Изд. № 390. Заказ № 3657.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. Москва, А-47, ул. «Правды», 24.

СТИХИ



Нонна Слепакова

Октябрь

Представляю черно-белым
Тот октябрь далеких лет.
Я пишу углем и мелом,
Добавляю красный цвет.
Я вношу детали скупо,
Я пытаюсь оживлять
Котелок пустого супа
И чужую букву «ять».
Так ли было! Так ли надо
Приниматься за предмет!
Ведь еще ни Ленинграда,
Ни меня на свете нет.
Как войти мне в город Питер,
Где мой дед за верстаком
Ворожит над грудой литер,
А со мною незнаком!
Ну, а матери-девчушке
С красной ленточкой у лба
Снять с окна велят подушки,
Так как кончилась стрельба...
Где стоит моя «Аврора»,
Прострелившая Неву,
Где родиться мне не скоро,
Где я все-таки живу.
Где сама себя нежданно
Удивленно нахожу,
И расспрашиваю жадно,
И поближе подхожу!
Я зачем у перекрёстка
Грею руки у костра!
Может, я с собою — тезка!
Может, я себе — сестра!
Что запомнила, узнала
В том октябрьском краю!
Может, много, может, мало,
Может, всю судьбу свою!..

☆

Я люблю тебя, «Аврора»,
я приду к тебе сквозь дождь,
хоть и знаю: разговора
ты со мной не заведешь.
Я обязана вначале
в три больших твои трубы
нашептать свои печали
и слова своей судьбы.
И когда наступит полночь
и в домах погаснет свет,
ты слова мои припомнишь,
соберешь Большой Совет.
Отплывешь ты, оживая,
с водоверть ю за спиной,
зычно сверстников сзывая
на консилиум ночной.
И пойдут сквозь дождь холодный
на знакомый этот крик
паровозик старомодный,
знаменитый броневик.
Тихо пыхнет паровозик,
лязгнет сталь броневика,
и «Аврора» переспросит
их при помощи гудка.
Однокашники, соседи,
постоят они в тиши,
в озабоченной беседе
про судьбу моей души.
И к утру в разгаре спора —
чуть немного схлынет тьма —
прогудит моя «Аврора»:
— Пусть подумает сама!
И когда наступит утро,
я почувствую уже,
стало легче мне как будто,
стало проще на душе:
ведь старинные машины,
сталью доброю звеня,
мне поверили — решили
положиться на меня.

Фотографии

Иногда я копаюсь в альбомах
той давнишней и пестрой поры.
Вот отец мой — он парень не промах —
по бильярду гоняет шары.
Вот идет моя мать величаво
по тропинке —
с большим животом.
[Странновато свое же начало
из далекого видеть «потом»!]

Прилегли и присели неловко
учрежденческих снимков ряды.
Бутафорски стоит сервировка
с привиденьями вин и еды.

Вот и гости — пришли, закусили
и навеки присохли к столу.
Чье-то ухо. И карта России.
И часы над кроваткой в углу.

На часах половина второго —
непонятно, утра или дня.
Неподвижное время сурово
на двухлетнюю смотрит меня.

Или это мне кажется только
оттого,
что про эти года
знаю я уж, наверное, столько,
сколько им и не снилось тогда...



Тамара Жирмунская

..не спетый над дочкой
напев колыбельный...
Вдруг спасет меня моя
Аленушка?
Совесть отчужденная моя.
Ольга БЕРГГОЛЬЦ «Узел».

Возьмите в дочки, Ольга Федоровна,
меня.
А то замучил стыд.
Я что-то слишком уж оторвана
от правды и от простоты.
Мне ваша искренность, как вылазка
в лес
подышать самой зимой.
Не с теми сказками я выросла,
ну, а своя — еще за мной.
Как жить!
Как совесть воспаленную
не разменять на внешний шик!
Я ставлю сказку про Аленушку
превыше опусов иных.
Пускай не дарит утешения,
но только бы вперед звала:
— Идем, родная. Цепь кащеева
лишилась главного звена.
Идем нетоптаными травами,
леском, не знавшим топора.
Воды не бойся — не отравлена.
Не бойся ничего, сестра!..
Чем сказки лживей, тем помпезнее.
А вы передадите мне
ту меру правды на земле,
которая — сама Поэзия.

Гости

Гости!
Я вам наготовила
невозможные яства.
Как в лайковые перчатки,
по локоть лезла в муку.
Рабочий класс, раздевайся!
Разоблачайся, Крестьянство!
Скидывай, Интеллигенция,
пальто на рыбьем меху!
Мне что-нибудь незастольное
сказать вам сегодня хочется.
Знаете, что я думаю,
ночью ложась в постель?
Я думаю о болезни
«круглое одиночество»
и о тяжелом воздухе
в доме, где нет гостей.
Позволено все:
отплясывать
хоть липси, хоть буги-вуги,
выдергивать с полки книги
и на место не класть.
Не кисни, Интеллигенция!
Крестьянство, не прячься в угол!
Возьми на себя руководство,
милый Рабочий класс!
Можете тут высказывать
самые крайние мнения
о сущности антимира,
о щеточках для ресниц.
А мне предоставьте право
решать в уме уравнение,
равно ли количество вилок
числу приглашенных лиц.
Мы знаем давно друг друга:
со школы, с каникул, с практики.
Мы вместе недавно брали
один и второй рубеж.
Крестьянство, пробуй сардины —
выловлены в Атлантике.
Рабочий класс, заправляйся.
Интеллигенция, ешь.

Моей библиотеке

Я продаю свою библиотеку,
я в десять тридцать букиниста жду
оценщикам модерна на потеху,
утильщикам на зависть и вражду.
Неэстетично, если книг сверх меры:
их явно не вмещают стеллажи,
их не предполагают интерьеры,
так равнодушно вписанные в жизнь.
Прощай, Дюма!
Мы всей семьей решили,
что проживем без шпаги и плаща.
Прощай, Плутарх, Майн-Рид и даже
Шиллер.
Тридцатитомник Диккенса, прощай.
Я оставляю только хлеб насущный —
тех, чья на мне навечная печать.
Всех прочих буду с миной равнодушной
в читальный зал похаживать читать...
До половины пройдены ступени,
а может быть, осталась только треть.
Мне не до вас, «Собранья сочинений»,
мне «Избранное» только бы успеть...
Но как расстаться с этими томами,
где ум и сердце переплетены!
Ненужных нет, бездарных нет меж вами.
Вы, точно люди.
Нет на вас цены.
Шкафы томов! Я под дождями мокла,
чтобы подписку разрешили мне.
Прощайте вы, светящиеся окна
в пустой, в глухой, во внутренней стене...

Инна Кашежева



У трапа

Огромного трапа ступени,
А я все никак не решусь,
Забыв в непонятном смятенье,—
Схожу или только сажусь!
В какие далекие страны
По этому трапу взберусь!
Но только во мне, как ни странно,
Какая-то странная грусть.
Пусть пауза эта на трапе
Поможет от грусти уйти...
Я просто на новом этапе,
А может, на ложном пути...
Вот я оттого и печалюсь,
На трапе стою посреди
И в эту минуту прощаюсь
Со всем, что уже позади.
Немного нелепо прощанье,
Обрывки улыбок и фраз...
Прощайте, забытые нами!
Прощайте, забывшие нас!
Пусть станет находкой утрата,
Пусть сменится радостью грусть...
Стою я в смятенье у трапа
И, кажется, все же сажусь.
Прощайте, прощайте, прощайте,
Давно распроститься пора б.
Встречайся же в жизни почаще,
Сомнений и поисков трап!

☆

Мы отданы родным приметам,
И в кровь и в плоть они вошли.
И оттого иным планетам
Мы придаем черты Земли.
Иное небо огибая,
От наших звезд удалена,
Луна восходит голубая...
Пусть голубая, но — луна!
Живут знакомые до боли
Под той луною существа,
И ощущаем мы с тобою
Таинственную нить родства.
Не в скудости воображенья,
Причину верную найди,
В том, что земное притяженье
Не вне кого-то, а внутри.
Что в час веселья или скорби,
Мир двойниками населя,
Своих фантазий телескопы
Мы направляем на себя.

☆

Как хорошо ложиться спать под утро,
Когда уже слипаются глаза,
Когда еще не тронута подушка,
Когда на ней восхода полоса.

В необъяснимом приступе восторга,
Как будто под горячую струю,
Под легкий луч осеннего восхода
Ты подставляешь голову свою.

И сразу омут над тобой сомкнется,
В желанную затянет синеву,
И разом в этот миг взойдут два солнца:
Одно во сне, другое наяву.

☆

Может быть, прабабками завещаны
Сети ожиданий и морщин...
Говорят стареющие женщины
Про несуществующих мужчин.
Привкус поцелуев, первых, талых,
Запах накрахмаленных рубах
Снова возникают на усталых,
На отцеловавшихся губах.
Словно грим, стираются морщины
(Годы их, как пауки, спрядут)...
Молодые, первые мужчины
На войну сегодня не пойдут!
И высокий медный голос горна
Не нарушит вечные права:
Девочки, смущенные и гордые,
Будут слушать глупые слова.
Будущие завы или маршалы,
Бривщиеся только в третий раз,
Говорите,
Говорите, мальчики!
Слишком мало времени у вас...
Видите, какого цвета зарево
Первый раз отпитого вина!..
Не сейчас, а завтра.
Завтра!
Завтра!
Завтра начинается война.
Жесткие военные планшеты,
Женские влюбленные портреты...
Мальчики сороковых годов!
Головы то в касках,
То в повязках,
Где-то там, в казанях или вязьмах,
Горе ожидает ваших вдов.
Первые глубокие морщины,
Нелюдимость, словно у старух...
Возвращались первые мужчины
С сединой, без ног или без рук.
Летние неношеные платья...
Лётные погоны на плечах...
И ломались, словно лед, объятья
В первых, обезумевших ночах!
...Небо. В синеве оно и в тучах.
Женщины до первых зорь не спят.
Рядом, постаревшие и тучные,
Некрасиво «мальчики» храпят.
Ими свершено все, что обещано,
По-солдатски дан на все ответ...
Но глядят стареющие женщины
В их безусый прерванный рассвет.

Ольга Фокина



☆

У реки поутру побелевшей отавы
Равнодушно коснулся замерзший листок.
У меня на глазах унесло переправу —
Два бревна, перекинутых на островок.
Ветер свищет и рвет, и снежинки,
как пули,—
Не спастись под ольхой, не спастись
в ивняке...
А на том островке — щебетанье июля,
Колыханье ромашек на том островке.
Я спускаюсь к реке
из ладоней напиться,
Ледяная вода немила и мутна...
А вокруг островка,
как живая, струится
Та, которую хочется выпить до дна.
Мне пора уходить
под надежную крышу,
Слушать зимних ветров нарастающий вой...
А на тот островок ясным солнышком
вышел
Мой любимый...
Он издали машет рукой.
Ах, зачем это я, не подумавши здраво,
У студеной воды без пальто и сапог!
У меня ж на глазах унесло переправу —
Два бревна, перекинутых на островок!
От земли, от зимы я рывком отрываюсь.
Я плыву к тебе,
мой долгожданный, постой!
Я уже к островку твоему приближаюсь!
Островок!..
Островок утонул под водой.

☆

В сентябре деревья,
Словно долг в рассрочку,
Отрывают ветру
С ветки по листочку.
Кланяются ветру
Пригоршней монеток,
Чтоб еще подольше
Постояло лето.
Чтоб еще подольше
Пеночка попела,
Чтоб еще побольше
Солнышко погрело...
Но бродяга-ветер,
Как безумный, дует,
Чем щедрее выкуп,
Тем лютей воюет!
Как пьянчужка деньги,
Ветер листья сеет,
А деревья гнутся,
Бедные, лысеют!
...Лишь одна береза,
Тонкая, прямая,
Под дождем осенним
Зелена, как в мае.
Я люблю березу
За характер русский,
Я хожу к березе
По тропинке узкой.
Но однажды ветер
Заблудился где-то,
Без него на землю
Вновь прокралось лето.
И меня к речонке
Завлекли стрекозы,
Не видала сутки
Я своей березы.
А как прибежала
Да как увидала —
У меня на сердце
Радости не стало.
Здесь всегда живые
Листья трепетали...
С ветками кривыми.
— Ты ли это! Та ли!
И в ответ береза:
— Не вздыхай так тяжко!
Отдала я ветру
Сразу все медяшки.
Я друзей печалить
Долго не хотела:
За ночь пожелтела,
За день облетела.

☆

У меня на окне светло,
А на улице нет луны.
Бьется бабочка о стекло
С той, своей ночной, стороны.

Ах, как крылья ее дрожат!
Ах, какая там жуть в окне!
Ах, как рвется ее душа
Быть с огнем, на огне, в огне!

Слушай, бабочка-мотылек,
Я умнее тебя, поверь:
Этот маленький фитилек —
Самый страшный на свете зверь.

Миг — и крылышки обожжешь,
Миг — и усики опалишь,
И до утра не доживешь,
И до солнца не долетишь.

Я в окно тебя не впущу,
Лучше песню не допишу,
Лучше песню не допишу,
Лучше лампу я погашу.

Любовь Ваганова



✲

Природа — извечная тема,
и как от нее ни бежим —
мы духом, и мыслью, и телом
законам ее подлежим.

Земля... Даже если бы вышли
из антивселенских систем —
мы пестовались, и выжили,
и в ней растворились совсем.

Мы жнем ее спелые травы
и пьем, к роднику наклонясь,
и по материнскому праву
природа тоскует без нас.

✲

Наполовину деревянные,
мои резные города
плывут, размахивая ставнями,
как парусники, сквозь года.

И я шатаюсь, как на палубе,
на пропыленных площадях,
и вздохи Катерины Павловны
меня все время не щадят:

мол, девка ты не из последних,
а вот одна, а ведь года...
Мне наплевать на бабьи сплетни,
лишь существуйте, города.

Наполовину деревянные,
они скрипели у пруда,
напоминая о романтике,
о плаваньях бог весть куда...

Россия

О матери святые руки
и тонкобровое лицо!
Великих русских рек излуки —
что обручальное кольцо.

Гусары крали, тройки мчали,
столетья падали вовне,
сгорали женщины в печали,
гусары гибли на войне.

А наши матери кричали,
рожая нас в курной избе,
и, умирая, поручали
твоей немыслимой судьбе.

Жар-птица, жертвенник и притча...
Во трубы трубные трубя,
ты навсегда была первична,
мы производны от тебя.

Второстепенны наши муки.
Любви далекое лицо.
Великих русских рек излуки —
что обручальное кольцо!..

✲

О Россия,
разливы, лесные туманы...
О Россия,
подснежник, подкова коня...
Твои длинные песни, как дальние страны,
в неизведанность мира уводят меня.

И когда черно-белого марта убранство
торжествует во мне, словно в море ладья,
о Россия,
распутье, прощанье,
пространство —
неоглядность твоя, безоглядность моя!

✲

Начало марта.
Таянье снегов.
Иду-бреду по мокрому простору.
Торчит ушами из-под сапогов
опавших листьев прошлогодний ворох.

Я думаю о том, что год прошел
и все начнется с самого начала,
как колесо работ окрестных сел
или судьба глухого краснотала.

И осень так похожа на весну,
и так весна напоминает осень.
Подтаявшие капли по стволу
смывают снега тоненькую простынь.

Предчувствие великих перемен,
и обреченность перемен грядущих,
и тоненькая ниточка примет,
как путь до истин, неизменно сущих.

ПРОЗА

С. Романовский

УГОЛЁК

РАССКАЗ

Рисунки
В. Бланкмана.



Наша печка была живым существом — со множеством звуков, запахов, настроений. Мама рассказывала: когда мы были маленькими, мы отколупывали от печки кусочки кирпича и сосали их. А Пашка ел угольки из подтопка, и врач говорил маме, будто это естественно, так как в организме малыша не хватает каких-то веществ. Когда в избе насквозь промерзали окна, мы все трое — Пашка, Колька и я — забирались на печь, как за пазуху к доброму великану; грели животы об отшлифованные кирпичи и слушали, как в закопченном нутре печи бунтуют непонятные звуки, всхлипы, угрозы, адресованные кому-то, враждебному нам, может быть, вьюге. Под них хорошо засыпалось... Летом она разговаривала совсем по-другому — мягче и застенчивей. А когда ее топили, печь не могла наговориться от радости, захлебываясь нарядными, торопливыми, огненными словами.

Топка печи — праздник. Мама посылала нас с Колькой в дровяник, а Пашку не посылала, хотя он был старше меня; тонкий в кости, хроменький, он был слаб и часто болел. Вместе с дровами и ошметками снега мы приносили в избу столько морозного пара, что кошка фыркала и забиралась на печку. Но зато мы приносили дрова: белые — березовые и сосновые — оранжевые, вкусно пахнущие скипидаром и зеленым гудом. Честь растапливать печь выпадала всегда маме, потому что пожарник — татарка Соня,— развесила по деревне страховидные плакаты «Берегите детей от пожара». Мама тонко щепала лучину, устраивала гнездышко между поленьями, уложенными в глубокую, как пещера, печную пасть, всегда тихо дышащую хлебом и остывшими щами. И, заслонив язычок спички левой рукой, правой подносила его к гнездышку. На мгновение нам казалось, что кирпичная пасть сомкнется и проглотит маму. Но вспыхивал слабый, как бабочка, огонек, мама, ни разу не задев черные печные своды, высвобождалась из кирпичной пасти и спрашивала:

— Я не в саже?

— Нет, нет! — наперебой кричали мы с Колькой, а Пашка счастливо качал большой редковолосой головой: нет, мол. И все четверо загипнотизированно смотрели, как во рту печи растет, приходит в движение огненный язык. Чего только не говорила она нам — эта живая, ворчливая, но очень добрая печь! Тут и упреки в том, что ее забывают, а она дает нам тепло и радость оттого, что мы собрались все вместе. И обещание скорой и вкусной еды, которую она сейчас подарит нам. Это, как обещание коровы, только что вернувшейся с пастбища, перегруженной молоком и добротой к хозяйке, в ласковости и заботе которой она не сомневается...

А мама стояла сбоку нашей стайки, кучно сбитой перед огнем, и чувствовала себя, вероятно, немножечко Прометеем. Иногда мы отрывались от завораживающего пламени и поглядывали на нее — лицо ее было выше нас, где-то на границе темноты и печного света. Ее профиль был слабо, размывчиво очерчен золотой чертой. И она была чуть-чуть похожа на икону, что висела в переднем углу, где богородица, грустная и отрешенная от всего мелкого, не замечая ореола над гордым лбом, держала на руках парнишку с кудрявыми волосами...

С весны печка остывала, но не насовсем. До первых холодов еду варили в загнетке. Маленький жарник под железными прутьями не мог, конечно, накалить всю кирпичную громадину, но раньше было столько сожжено в ней поленьев, сучков, шишек, обрезков, что до заморозков было душновато спать на печи, и мы ночевали в сенях. Здесь было свежо

и пахло вениками. Мама всегда спала с краю, чтобы мы не свалились с топчана. И когда среди ночи мы вставали «по малой», то перелезали через нее, как через забор, и она делала вид, что не слышит. А тот, кому доставалось место у стенки, утром в белые щели мог видеть всю нашу улицу-однорядку до околицы с заколоченной избой.

Этой избы мы боялись пуще покойника на кладбище. Кладбище было открытое, сухое, в крашеных голубых крестах, и затаиться в нем недоброму было негде. И ветер с него обдавал полынной степью. А изба, почерневшая и безглазая, дышала мертвечиной, и нам казалось, что за заколоченными окнами, в противоестественном молчании жилья, в темноте забыт непогребенный гроб. Обычно около стенки спал Колька — он говорил, что по старшинству любит разметаться во сне,— а на самом деле Колька, большой любитель селедки и чая, как-то к великому своему стыду опрудился среди ночи, и с тех пор ему было стыдно и боязно спать посередине. Постепенно его конфуз забылся, и спать у стенки приходилось всем по очереди. Однажды мы проснулись от крика Пашки:

— Дым! Ды-ы-ым! Ды-ы-ым!

В его голосе был непонятный ужас, и мы все чуть было не закричали беспамятно неизвестно что, неизвестно зачем, лишь бы прогнать это предчувствие ужаса, но мама успокоила крикуна и ласково выспросила, чего он испугался.

— В заколоченной избе печка топится!..

Мы все по очереди прикладывались к щели, оттуда только холодом веяло и ничего толком нельзя было рассмотреть.

— Облако это,— говорила мама, укладывая нас и накрывая многочисленными стеганками и шинелью покойного отца: в сенях одеяла не полагалось.— Показалось тебе. А на другом порядке Лукшины свою избу нынче забили и уехали...

Мы это знали: в деревне все на виду. Спустя некоторое время кинули свое жилье Чабаевы — на ближнем конце деревни, потом Созутовы, потом Сучковы...

Весной первый раз на нашей памяти в деревню молчком приехал председатель. Мы с мамой стояли у топящейся печки, и тепло огненной рябью прохаживалось по всем по четырем, когда в сенях бряк нуло ведро.

— Кошка балуется. Посмотрел бы кто...— попросила мама, но, угретым, нам не хотелось отходить от печи, и мы молчали, пока Пашка не сказал укоризненно: — Эх, вы...— И поковылял к выходу. Но дверь открылась, и, запнувшись о порог, шагнул на свет невысокий мужчина, от которого пахло папиросами и овчиной.

— Привет вам,— сказал он драчливо и виновато.— Принимай гостя, Никаноровна...

Он тянул красные руки в зевло печи, от них до мокрых глаз бежала языкастая огненная дрожь, а мама собирала на стол, что-то доставала из заветных углов, вздувала керосиновую лампу. А председатель невзатяжку курил ароматные папиросы, морщился и хлопал Кольку по плечу, отчего Колька выпячивал грудь и моргал при похлопывании...

— Пошлю вас в школу десятников-строителей... Новую деревню будем строить.— И с непонятной шуткой в голосе просил мать: — Только ты, Никаноровна, не уезжай и всем скажи, чтобы не уезжали... Продержались пока, а там — к лучшему...

Я думал: он врет насчет школы десятников-строителей, рад гостеванию, выпил самогонки, а сам верит в свою неправду. Пашка с недоверием спросил гостя:

— А ты не врешь?

Председатель обиделся, мать дернула Пашку за ухо, и тогда председатель сказал скорее маме, чем нам:

— Кольку со Славкой пошлю. А Пашку могут и не взять. Слышь, Пашка? Ничего, скажу, откормится в городе.

Он, оказывается, не врал: к осени мать собрала нас как могла; деньги на проезд выделило правление, и первый раз в жизни мы уехали в большой город. Он не особенно удивил меня, потому что с ним я был знаком заочно по книгам и кино.

Поезд, пропахший железом, краской и одеколоном, сверкающий зеркалами и металлическими ручками, был частью города на колесах, и я, радуясь, знал, что он мчится быстрее трамвая, которого и в глаза не видел. В ресторане поезда Колька открыл черные засаленные корочки, робея, прочитал во вкладыше непонятные названия блюд, дорогих, как в сказке, взял две тарелки щей на троих, и я постарался больше ничему не удивляться. Коля обрадовал нас с Пашкой: положил спать на лавки, а сам улегся на полу, мешок — под голову. Сквозь сон я слышал, как он всю ночь грыз сухари, и хотел попросить у него, но толком не сумел проснуться.

Я думал, что не переживем первую зиму и сбежим в деревню к маме, но ничего с нами не случилось — перезимовали благополучно и на каникулы приехали домой. Мама словно стала меньше, она смотрела на нас снизу вверх, не знала, куда девать черные руки, и в конце концов нашла им место — занялась стряпней и на длинном обгорелом ухвате все отправляла в печную пасть противни, чугунки да сковороды... А когда ужинали, мама, которая наблюдала за всеми нами, как мы едим, несмело сказала:

— А у вас там стоя едят,— и добавила без обиды, а с сожалением: — Как лошади...

Мы засмеялись, и мама с нами тоже.

— Я бы за миллион не стал есть стояком,— просмеявшись, сказал Пашка.— Как увижу...

— Стал бы,— обгладывая мосол, встрял Колька.

Пашка застучал ложкой по краю блюда, так, что борщ расплескался:

— Не трави, гад! Не стал бы.

— Стал бы. Заставят.

— Я не кобыла! — Пашка вцепился брату в волосы, тот не ожидал этого и чуть не подавился мослом. Мама, вся белая, и я, разняли их.

— За столом... Дурни!

Все вроде улеглось, только ночью мне показалось, что Пашка с Колькой выходили курить и задержались на дворе дольше обычного, а утром мать спросила Кольку:

— Что это у тебя под глазом?

— Ушибся, что ли...— пробормотал старший. Мне и до сего времени толком неясно, за что тогда братья так озлились друг на друга.

На другой день Колька молча засобирался в обратную дорогу. Мы его отговаривали, но все-таки почему-то мы уехали в город раньше положенного срока и так до следующей весны нет-нет да и с настороженным смехом все вспоминали мамины слова: «А у вас там стоя едят. Как лошади...»

На следующее лето нам не пришлось ехать домой — шло распределение: у нас, как у лучших выпускников, появилась возможность остаться в городе, и мы остались, не потому, что это было высшей нашей мечтой, но потому, что все нам завидовали и все говорили, что сейчас самая стройка в городе, а в деревне не разгонишься. В общежитии нас разыскал председатель колхоза, посовестил не-



смело, заикнулся про деньги на проезд, которые из ничего выделило правление, но, выпив с нами, все хвалил нас и говорил, что, если бы мы строили дома в деревне вместо заколоченных, большого толку не было бы, кто в них жить будет — безлюдье. Колька положил его на койку, а утром, уходя на работу, оставил ему на похмелье. Больше мы председателя в глаза не видели.

Город рос, как здоровый подросток, работы хватало, заработки были приличные, и мы никуда не уезжали. Мы утешали себя: так и для мамы лучше, потому что мы можем ей посылать переводы,— и мы посылали ей по сто рублей старыми в месяц. А новыми мы уже ничего не посылали, даже письма, потому что со временем нам стало казаться, что маме ничего этого не надо, а у нас на одну заботу напластовывалась другая, более значительная.

Впрочем, я да и Пашка тоже про себя надеялись, что скорее рано, чем поздно, нам предстоит поехать обратно к маме; не будешь же всю жизнь околачиваться в общежитии! Колька отделился от нас — снял в самом центре города подвальную каморку у частника и замкнулся. Это уже потом я узнал, что он водил к себе сто раз на год многочисленные комиссии, предварительно заставив каморку книгами и вещами и напустив в нее холоду, и что в горсовете он даже плакал искренними слезами и проклинал бюрократов, которые ему, передовому строителю, не дают жилья. Кольке вот-вот должны были дать однокомнатную квартиру, но он не дождался, а женился на квартире — не по любви, понятно. Квартира была трехкомнатная, Колька сам толком не знал, зачем ему столько, в ней жила толстая женщина с тринадцатилетним сыном и больше никого. Я помог Коле обиходить квартиру, научился вместе с ним и его немолодой женой говорить о несправедливостях жизни. А потом Коля сделал так, что квартира, которую он должен был вот-вот получить в горсовете и получил бы, если бы не внезапная свадьба, досталась мне. И я в возрасте женился, две однокомнатные квартиры мы с женой обменяли на двухкомнатную, разве плохо?

Мы с Колькой на работе хранили номера телефонов, о которых женам знать не положено; звонили по этим телефонам. Мы полюбили телевизор и по субботам — рестораны. В общем-то, весь этот муторный период пролетел быстро и не задержался в нашей памяти, будто его и не было. Одним словом, мы с Колькой «достигли всего в жизни» и стали вроде как-то стесняться своего прошлого. Оно нам казалось примитивным.

Колька стал забавно разговаривать, будто не из наших мест,— «хакать» стал; букву «г» он произносил интересно: мягко, ласково, как будто сам с Украины. И под секретом в гостях назвал себя коренным горожанином. Меня покоробило, но я смолчал, тем более что гости поверили. Ко всему прочему наша фамилия кончалась на «ский», и это нас облагораживало. Постепенно и я усвоил внешние манеры горожан, гордился какими-то связями, и знакомые не подозревали, что я и Колька — коренные крестьяне. Во всяком случае, так мне казалось. Какая-то опасность висела над нами, но какая, мы не знали, и никому, даже себе самому ни один не признался в том, что предчувствие беды живет в каждом из нас.

Впрочем, это предчувствие могло быть просто похмельной тяжестью, которая становилась регулярной.

Как-то Колька и я нагрянули в гости к Пашке, который держался от нас особняком, молчком женился и жил в однокомнатной квартире — в тесноте,

да не в обиде. Жена его собиралась купать ребятишек, и мы обнаружили, что в ванной нет постоянной горячей воды и даже газовой колонки, а есть примитивный титан с чугунным подтопком. Колька и я пожурили хозяина квартиры за непрактичность, решили установить газовую колонку, а пока — делать нечего — по очереди кололи чурбачки на мелкие части. Они были сосновыми и пахли скипидаром и еще чем-то, от чего поднималась непонятная тоска.

Мы не спешили за стол, хотя нас и приглашали... Зажгли огонь в подтопке, он нехотя разгорелся и потом забубнил, разговорился. Мы смотрели на него и ни о чем не думали, хотя комок стал в горле. Пламя выстрелило раз-другой, и на цементный пол упал аккуратный, как патрончик, алый уголек. Когда он остыл, хозяин квартиры долго и рассеянно катал его между пальцев, пока он не раскрошился, стряхнул черные крошки в огонь, вытер пот со лба и, спохватившись, спросил странным голосом:

— Я не в саже?

Мы вздрогнули. Это был тот единственный голос в мире, с круглым оканьем, с виноватой интонацией, с доверительностью взрослого, обращающегося к малышам. Это был голос матери, который нам не почудился, а точно прозвучал в устах одного из нас. Мы вдруг увидели старую печь во всех подробностях — с лоснящимися кирпичами, со всеми вьюшками, горнушками, конфорками, загнетками, подтопками, противнями, подом, с запахами хлеба, щей, пирогов, горелой картошки, угля, припаленных шерстяных носков, с медовым пламенем березовых дров и скипидарным — сосновых. С ее добрым молчанием и понимающим многословием. С мечущимися отсветами огня, в которых мама казалась окруженной ореолом, как на бабушкиной иконе. Мы увидели маму, и нам стало страшно за себя. Колька и я уже давно не посылали ни писем, ни переводов. А он — третий брат, Пашка, хозяин титана? Он постоянно творил пламя, и, может, он-то был лучше нас?

Все трое мы сейчас думали об одном и том же и знали об этом, потому что хозяин титана сказал:

— Посылал я ей письмо и перевод, на днях он пришел обратно... Правда, после такого перерыва посылал...

Мы посмотрели друг на друга и поняли, что глядим мы, как в зеркало, где отражается одна физиономия — рано растолстевшая, растерянная. И нет в ней уверенности в том, что в жизни все достигнуто,— эту уверенность мы внушили себе. А внушение-то оказалось непрочным!

...Через два дня, набрав подарков, мы выехали на родину — навестить мать. От полустанка до деревни — 18 километров — белый санный путь. Мы шли пешком, и я говорил окая, радовался, что редкие встречные тоже окают и что нет попуток и можно долгой, утомляющей ходьбой хоть как-то снять страх перед встречей... Я думал о том, что сейчас мы похожи, как на одну мерку меряны, а вот лет двадцать назад я и братья мои были непохожи: Колька не ко времени был поесть не дурак, драться любил «боксой», а когда прудился в постели — голосом ревел от стыда. А Пашка был терпеливый, болел, спал все больше рядом с мамой и хромал: года три ему было, когда упал с печки. Сейчас он бойко шел впереди, под чесанками скрипел снег.

— Пашка,— окликнул я его.— Ты разве не хромлешь?

— «Не хромаешь» надо говорить,— поправил меня Колька.

Мамина изба стояла у дальней околицы. Деревня казалась ниже, чем в моих воспоминаниях. Я знал, что так бывает всегда, когда долго не видишь родные места. Но она стала больше. Индевело золотились венцы новых изб, навстречу нам попадались молодые незнакомые люди. Иногда они, иногда мы первые здоровались по старинной деревенской привычке, и от этого было ощущение тепла и искренней ладности жизни, хотя крепчала тревога где-то под ложечкой, «в душе», как говаривала покойная бабушка, считавшая, что душа находится именно под ложечкой.

Из широкой, как сруб колодца, трубы над нашей избой всходил розовый дым. Снег здесь был такой ясный, что хотелось вытереть валенки, прежде чем ступать по нему. Вот новое прясло; из калитки, залатанной свежими досками, вышел небритый кряжок лет двадцати пяти, в синем пальто. Мы подождали, пока, балансируя, он прошел извилистую тропку от калитки до большака, и спросили, здесь ли живет наша мама. Только назвали мы ее не так, а по фамилии, имени и отчеству. Он оживился и, кругло окая, объяснил, что сам приехал из соседнего района, дом этот купил за 15 тысяч старыми у женщины, которую мы разыскиваем, сам он механизатор, а она пошла на полустанок, и больше ее никто не видел. Когда это было? Да еще в сентябре, в бабье лето, а сейчас декабрь — два с лишним месяца прошло. Как она жила? Да вроде неважно — еще после дом пришлось поправить, тройку венцов менять, печь перекласть, забор подновить... Конечно, был у нее огородишко, иногда колхоз помогал, но все это не то. Недавно перевод пришел на 10 рублей, опоздал. Кажется, от сына...

— А вы кто? — спохватился кряжок. Он всматривался в наши растолстевшие морды и в простоте не находил в них сходства с тонкими, библейскими чертами нашей матери. А глаза? Глаза мы прятали. Потом спохватился и потащил нас к себе: — Идите в избу, погреемся. Поговорим. Я за папиросами — до магазина добежать...

Колька дал ему пачку папирос, а в тепло мы идти отказались: испугались встречи с прошлым, с маминым, с заветным... Мы бы не выдержали этой встречи. Кто знает, как бы оно проявилось, это самое «не выдержали», но мы бы не выдержали. Мы потолкались с кряжком, покурили, и он пошел домой. Пашка несмело окликнул его:

— А икон в избе не осталось?

— Шутишь? Я, брат, атеист. Все это хозяйство — на растопку. Да вы зайдите, проверьте...— Он встревоженно посмотрел на нас, подумал и тихонько хлопнул калиткой.

Мы плелись обратно и, наверно, думали об одном и том же: мы открыли, что у нас троих нет ни одной фотографии матери. Ничего. Только упоминание кряжка, что в сентябре она ушла на полустанок. Помню, что Пашка шел, прихрамывая, и я сказал ему:

— А ты говорил, что не храмлешь...

Он махнул рукой: не приставай, мол,— и спустя полчаса передразнил меня.

— «Не храмлешь, не храмлешь»... Дурак ты.

У кого спросить, где она сейчас? У земляков? Да будут ли они с нами разговаривать? И все-таки мы осторожно расспрашивали встречных — всех незнакомых. Никто толком ничего не знал, только кассирша, молодая краснощекая девушка, которая наперечет знала всех местных пассажиров, припомнила сразу, что в сентябре, в очень ясный день, когда паутина садилась на вагоны и неожиданно вылетали



бабочки, брала билет пожилая женщина с узлом. На нас она вроде непохожа, а вот наши глаза — вылитые ее...

— Билет брала туда?—Пашка показал вдоль рельс направление к нашему дому, на заход солнца...

— Нет, в обратную сторону,— уверенно поправила девушка.— А куда точно, не помню... Но заплатила она немало.

Мы обратились в милицию. Мы запросили адресные бюро. Мы проехали сотни километров из конца в конец железнодорожной ветки, по которой поезд умчал нашу маму. Почему-то люди относились к нашей беде очень спокойно. Только в отдаленном отделении милиции один молоденький милиционер сказал сквозь зубы: «А морду за такое я бы вам набил с удовольствием».

И мы не обиделись.

Мы останавливались на всех станциях и расспрашивали, звонили, просили, умоляли, описывали ее приметы. Мы послали десятки писем разным людям, в разные инстанции. Никто ничего не знает, даже адресные бюро, которые, говорят, знают все.

— Такая гражданка не проживает...

...И все-таки мы верим, что она жива. Она совсем не старая — ей сейчас пятьдесят семь лет. Да, кажется, пятьдесят семь, от силы пятьдесят восемь, не больше. Наверное, у нее не было с собой паспорта, и она поселилась где-нибудь в дальней деревне, у родственников... Хотя родственников у нас как будто не было. Но ведь это всего лишь «как будто», а надо точно. Может быть, вы встречали ее? У колодца — она сама всегда ходит по воду. На току — она не усидит дома, если в уборку нужны руки. На ферме, только не на свиноферме. Свиней она недолюбливает, а вот к коровам ласковая... Может, вы встречали ее на лесной просеке, в погожее бабье лето,— лучшей грибницы мы не знаем, хотя грибами она баловалась редко: не позволяла работа...

Напиши нам, мама!..

А. Авдеенко

Я ЛЮБЛЮ

РОМАН

Рисунки В. Юдина.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

За стеной, на лестнице, звенят кованые каблуки. Раз!.. Три!.. Пять!.. Через ступеньку шагает легконогий мужик. Торопится. Кто это? Ко мне или к соседям?

Открылась дверь, и в лицо мне пахнула воздушная волна ночной фиалки. Ну и глухарь! Родного человека не почуял. Ленка! Вырядилась, как парень. В рабочих ботинках. Волосы спрятаны под кепкой с длиннющим козырьком. Шаровары внизу сколоты булавками. На велосипеде. Глаза веселые, таинственные. Руки что-то скрывают за спиной.

— Что ты делаешь? Тебе же нельзя бегать!

— Можно! Всю жизнь бегала и буду бегать!.. Подарок от художника Сороки притащила. Держи!

Она развернула рулон плотной бумаги, и я увидел яркий, отпечатанный в типографии портрет, и отдаленно не напоминающий мою персону.

Недели две околачивался Сорока на моем паровозе, марал лист за листом, так и сяк заставлял позировать, требовал выразить глубину интеллекта, чувство собственного достоинства. И я пыжился, выражал, старался для искусства. На полотне должен был возникнуть монументальный молодой человек XX века, герой нашего времени, магнитогорец, битый-перебитый всяческими невзгодами и нашедший счастье в труде. Так Сорока сформулировал свою задачу. А что сделал? Намалевал огненными красками молодца с вытаращенными глазищами. Нос точеный, продолжает линию крутого лба. Щеки сытые. Подбородок круглый, холеный. На кудрявой голове модная рабочая кепка. Внизу плаката крупными буквами напечатано: «Строитель нового мира».

Брехня! Шалопай напялил рабочую куртку. Да еще и марафета нанюхался, наглотался. Не знает он, почем фунт лиха. Не слыхал ничего о Гнилых Оврагах. Не зажигал с дедом Никанором у изголовья погибших шахтеров сотни свечей. Не протухал в собачьих ящиках. Не лез живьем в котлы с горячим асфальтом. Не выскоблен теркой коммуны. Не намагничен любовью первой дивчины Магнитки и всей России. Паршивый чистюля, белоручка, ухажер, а не строитель!

Плеваться хочется от досады, а Ленка хохочет, танцует. Рада, что меня так испохабили.

— Браво! Отлакированный ударник!

Девчонка! Ладно, пусть смеется, пока есть охота. Скоро отяжелеет, серьезно задумается. Я свернул плакат в трубку и бросил его под кровать.

— Чего приуныл, Санечка? Не похож? Нечего, брат, на зеркало пенять, коли смазливая рожа. Писано с натуры. «Крысавец»!

Я обомлел, свирепо посмотрел на Лену.

— Что? Как ты сказала?

— Первый раз слышишь? Вспомни статью Горького, литкружковец!

Она клюнула своим прохладным твердым носиком мою мягкую с большущими ноздрями горгулину.

— Чистый «крысавец»!

Отлегло! Значит, Горький! А я, балда этакая, подумал, что Ленка и Алеша сговорились выступить против меня. Алешка ведь тоже, нападая на меня, козырнул этим ядовитым словечком. Случайное совпадение, а я черт знает чего нагородил. Ну и фантазер!

— О чем ты, Саня? — Ленка берет меня за подбородок, поднимает голову и близко склоняется ко мне.— Что́ тебя мучает? Скажи!

— Какие муки? Не выдумывай! Неужели я, самый счастливый человек на свете, похож на страдальца?

Разочарованно отстранилась.

— Ну, я поехала! — сказала она громко, энергично, будто разговаривала с чужим, да к тому же еще глухим дядькой, а не со мной.

— Куда же ты, гений? Бросаешь одного?

Окончание. Начало см. в № 1 и № 2 за 1967 год.

— Бросаю! Работы по горло. Костя нагрузил.

— Да пошел он со своей работой!.. Останься! — Я сдернул с ее головы кепку.— Опять мы вдвоем. Удрал Антоныч в гостиницу. Догадлив, старик!

— Обрадовался! Что с тобой, Саня? Так ждал друга, так праздновал встречу, а теперь... надоел друг?

Она внимательно смотрела на меня, ждала ответа. А я молчал. Вспомнил Ваську Непоцелуева с его братом, вспомнил крупный разговор с Алешкой Атаманычевым. И опять мне показалось, что Ленка все знает о нашей стычке.

— Саня, ты не слушаешь меня. Где ты?

Целую ее чересчур серьезные глаза, говорю:

— Да, верно, обрадовался. Антонычу удобней в гостинице. И нам хорошо. Хочу быть с тобой. Только с тобой. Ты и я! Никого между нами. Ни отца, ни брата, ни матери, ни друга! Любовь растет и крепнет без свидетелей.

Я подхватил ее на руки, зацеловал, забаюкал, как маленькую.

Перестала вопрошать. Притихла. Успокоилась. Глаза посветлели. Губы податливые, мягкие. Щеки разгорелись.

В прихожей зазвенел и загремел велосипед Ленки. Соседка шумит. Назло нам. Пора, мол, кончать свидание! Не выдержала. Слишком долго, по ее понятиям, блаженствуем, бессовестные. Да разве это долго? И целых суток нам мало.

Далеко-далеко хрипит, надрывается гудок. Люди шагают на работу, а мы баклуши бьем. Ничего! Мы все наверстаем! Наш гудок завтра заревет.

В открытое окно заглядывают глазастые, любопытные звезды. Полуночный ветерок шевелит газету. Хорошо, дальше некуда!

Ленка глубоко вздыхает и крепче прижимается ко мне.

Все понятно, но надо еще и поговорить.

— Аленушка!

— Что, Санечка?

— Свадьбу как сыграем? Тихо или со звоном? Дома? В клубе?

— А как ты хочешь?

— Я? Смеяться не будешь?

— Не знаю. Я ведь смешливая, могу расхохотаться без всякой причины. Говори!

— Мне хочется, чтобы ты была в подвенечном платье, в белых туфельках, с розами в волосах, с ночной фиалкой в руках. И пусть свечи везде горят. И воском пахнет. И девчата ангельскими голосами поют. И колокола названивают.

Ленка шлепнула меня по лбу, расхохоталась.

— Ну и придумал! Комсомольца, коммуниста, ударника на ладан потянуло! Подвенечного платья захотелось! Старорежимная у тебя мечта, Санька! Смотри, никому не рассказывай, а то на смех поднимут.

— Пусть! Скажи, хочешь такую свадьбу?

— Мало ли кому чего хочется!

— Всё! Будут и цветы и батисты на подвенечное платье. Из-под земли достану!

— Не хвастай, доставало! Ситца не купишь в магазине, а ты батиста захотел.

— Достану! Пойду к начальству.

— Что ты! — испугалась Лена.— Не ходи.

— Думаешь, не дадут?

— Если и дадут, все равно не надо. Другим пеленок не хватает, а тебе... И так уже везде говорят...

— Что говорят?

— Всякое... О твоем ордене, о музее, премиях.

— Каждого награждать — в Кремле золота и серебра не хватит! На всяк завистливый роток не накинешь платок! Знаю я, кто они, эти завистники. Лодыри. Рвачи!

— Алеша Атаманычев не рвач и не завистник. Ничуть не хуже тебя.

Ах, вот оно что! Значит, все-таки сговорились! За моей спиной. Да как она могла? Вот тебе и гений чистой красоты!

— Выходит, ты переметнулась к Алешке? — спрашиваю я после долгого молчания.

Не ответила. Похолодела, будто в лапах у мороза побывала.

— Да знаешь ли ты, что он приписал мне? «Все рабочие люди — пришлепки, а я один — сиятельство...» А он кто такой? Труса праздновал в ураган!

— Не надо, Саня!

— Нет, надо! Такое ты затронула со своим Алешкой... Считаете, я всем работягам дорогу перебежал? Мешаю ударно работать? Так, да?

Ленка отгородилась от меня одеялом.

— Вот как я считаю: не ты один воздвигаешь Магнитку.

— Знаю. Слышал. Что-нибудь новенькое скажи. Своё. Ну! Крой! В чем я провинился перед тобой, перед Магниткой? Какое совершил преступление?

— Не кричи, соседей разбудишь!

— Говори, согласна ты с Алешкой?

— Смотрите, пожалуйста, какой грозный допрос учинил! Чем не сиятельство?! Все я вижу, Саня. И не только я одна. Плохо с товарищами разговариваешь. Важничаешь. Заносишься. Кулаками размахиваешь. Алеша тебе, как другу, правду выложил, а ты...

— Ну, знаешь! Дружил волк с кобылой...

— Саня, милый! Помолчи, если не умеешь разговаривать по-человечески.

Она посмотрела на этажерку, где красовалась мраморная фигурка.

— С утра до вечера смотришь на нее — и не выпрямляешься.

— Брось, Ленка, воспитывать! Не твое это дело. Люби меня — и ты сделаешь больше, чем все воспитатели, вместе взятые.

— Не люблю! Сбежать хочется от такого куда глаза глядят!

— Так я и поверил! Никуда ты не денешься. Любишь! И всю жизнь будешь любить. Прикованы мы друг к другу навеки.

Я хотел обнять ее, но она не далась.

— Хвастун! Зазнайка! Глухарь!

— Ну и молодоженка! — Я засмеялся.— Пилишь, пилишь, как столетняя жена! Пополам скоро перепилишь. Невенчанная, незаконная, а так опасно рискуешь. Гляди, раздумаю жениться! Невеста, согрешившая до свадьбы, не должна быть занудой.

Сказал — и сразу пожалел. Разве такими вещами шутят? Жутко мне стало. Смолк. И Ленка затаилась. Потрясена. Надолго задумались молодожены.

— Прости, Аленушка! — прошептал я и потянулся к ней. Не оттолкнула. Позволила обнять, но сама не пошевелилась. Я поцеловал ее в ледяные губы и еще раз сказал: — Прости! Сама знаешь, не мастер я веселиться — нескладно пошутил.

Она оттолкнула меня кулаками. Села. Поджала под себя ноги. Прислонилась спиной к стенке.

— Нет, ты не пошутил! Камень из-за пазухи вытащил и бабахнул.

— Что ты, Ленка! Любимую и цветком ударить — преступление.

— Ударил!.. Давно знаю, в чем меня подозреваешь.

Не хотел я злиться, а пришлось. Допекла!

— Подозреваю? Да разве это не правда, что ты и Алешка?.. Все до сих пор болтают.

— Болтовни всех не слышала, а вот твою довелось.

— Здрасте! Но ты же сама признавалась: «Любила я одного человека, верила ему, а он...» Забыла?.. Наплевал я на то, что было у вас с Алешкой! Ничуть меня это не касается. А вспомнил я эту допотопную историю просто так. Я не феодал какой-нибудь...

Лена скрестила на груди руки, презрительно засмеялась.

— Значит, ты все время думал, что я и Алеша... Думал — и прощал? Ой, какой же ты сладенький! Мармелад! — Она помолчала, с отвращением глядя на меня.— Не было никакой допотопной истории! Ни с Алешкой, ни с кем. Слышишь? Не было! Любила и разлюбила. Вот и всё. Никого не было, кроме тебя, балды!.. Лапоть!

Так мне и надо! Правильно. Еще садани, да покрепче! Бей и учи, любимая! В тысячу раз более любимая, чем минуту назад. Лупи! Говори, что хочешь, а я буду только любить тебя, только обожать.

Верно, лапоть я. Первая ты моя любовь, Ленка, потому я плохо и разбираюсь в таких делах, не раскумекал, было что у тебя или не было.

— Прости, Аленушка! — опять пробормотал я виновато, униженно и вместе с тем захлебываясь от счастья.

Вот когда я по-настоящему счастлив. Гора свалилась с плеч. Свободен. Чист.

— Эх, Саня, Саня! Ждала я своего единственного, для него берегла себя, а он... дохлых собак вешает на меня!

Она плакала, а я во весь рот улыбался. Смех и слезы. И то и другое — от души. Радость распирала меня. Лапоть, еще какой лапоть, но зато...

Сквозь жалкие слезы она вдруг грубо, мстительно спросила:

— А ты уверен, что ребенок...

— Ленка! — завопил я и закрыл ее рот ладонью.

Она оттолкнула меня так, что я оказался на полу. Смуглая, крепкая, ладная, с ног до головы гневная, гордая, она стояла надо мной и хлестала:

— Ни тебя, ни отца, ни мачехи, ни Шарикова, никого не побоюсь! Никому не буду давать отчета, что, да как, да почему. Вырастет мой сын не таким, как ты, вельможа! Плесневей один, без нас!

Схватила свое барахло, кое-как влезла в него, рванула к двери. Успела открыть ее. Но дальше не продвинулась. Не пустил. Тарабанила по моим ребрам кулаками, требовала свободы. Но я не отступал. Никакая сила не сдвинет меня с порога.

— Пусти!

— Не дури, Ленка!

— Пусти!

Наша возня подняла соседку с постели. В одной рубашке, босая, с опухшим лицом, она выскочила в прихожую.

— Что это вы разворковались на всю Магнитку, голубочки? От жиру беситесь? Или слава и знатность покою не дают?

Ленка вернулась в мою комнату, занялась растрепанными волосами.

— Извините, тетя Васёна. Прощения просим. Больше этого не будет. Честное слово! Спите спокойно!— Я изо всех сил старался быть обходительным, дружелюбным — не помогло. Сварливая баба еще сильнее раскудахталась:

— Ты, самозваный племянничек!.. Ишь разошелся! Я тебе не уличная девка, не шалава какая-нибудь, а законная и честная жена своего мужа.

Во мне заклокотало бешенство. Что́ мелет эта ведьма? Моя Ленка... Я поднял кулак и пошел на соседку. Она завизжала, брякнула дверью и скрылась на своей половине.

Ну а мне что теперь делать? Надо прежде всего остыть, собраться с мыслями.

Топчусь посреди комнаты и лихорадочно думаю, как подступиться к Ленке, что ей сказать. Столько слов просится на язык, а ни единого не могу вымолвить. Скован. Заморожен.

Окно стало мутно-туманным. Светает. А у меня на душе непроглядная ночь. Счастье — мать, счастье — мачеха, счастье — бешеный волк.

Говорят, милые бранятся — только тешатся. Неправда. Каждая ссора любящих — шаг к разлуке, к пропасти. Обида и слезы подтачивают самый прочный фундамент любви. Так это мне ясно сейчас. Недавно Ленка была доверчивой, нежной, родной. Теперь же удалилась от меня за тридевять земель. И я сам, своими дуроломными руками оттолкнул ее.

Умней, дурак! Низко-низко склоняй спесивую голову! Признавай себя полностью виноватым, безоговорочно капитулируй! Пусть бьют тебя и по правой, и по левой, и по глупой твоей башке. Уцелеешь! За одного битого двух небитых дают. Ленка все поймет, все простит и останется с тобой. Чего только не прощают любимым!

Я знал, что́ должен был делать. Очень хотел хорошие мысли превратить в хороший поступок. Но из моих добрых намерений не вылупилось ничего путного. Слишком долго я думал, как мне быть хорошим. Опоздал!

Ленка натянула на голову кепку, хладнокровно усмехнулась.

— Вот ты какой! Другим не позволяешь обижать меня, а сам... глаза и сердце клюешь. И все любя. И все как собственник. Эх ты, паршивец! Не нужен мне такой! Ты хуже, чем твоя соседка!

С новой силой во мне заклокотало бешенство. Никому не позволено обзывать меня так.

Я распахнул дверь, прошипел:

— Мотай отсюда, чистюля! Скатертью дорога! Да на октябрины не забудь пригласить: худо-бедно, паршивец, но отец все-таки!

Она оттолкнула меня с порога, схватила велосипед и понеслась вниз. Не шла, не бежала по ступенькам лестницы, а скатывалась. Я прислушивался к грохоту, звону, скрежету и трезвел, приходя в себя.

«...Скатертью дорога!.. Да на октябрины не забудь пригласить: худо-бедно, паршивец, но отец все-таки...» Неужели я произнес все это?!

И в страшных своих снах так не говорил и не думал. Чужие слова. Как они стали моими? Каждая клеточка моего тела, каждое душевное движение, каждый взгляд, каждая мысль — все пронизано, высветлено солнечной Ленкой. И она любила меня. Почему же мы не вместе? Что́ мы натворили?

Хлопает дверь подъезда. Снизу доверху, до моего окна задрожал дом. Вот какую силу вдохнули в Ленку гнев и обида.

Она вскочила на велосипед и покатила вниз, к заводу. Мимо сквера. Мимо немецкого магазина.

Мелькают спицы колес. Блестят руль и педали. Дребезжит звонок. Развевается золотой флаг ее мягких, пахучих, таких родных волос. Боже мой, как я люблю ее! Вернись, родная! Ну, хотя бы оглянись! Куда там!

Грузовая машина мчится тем же курсом, что и Ленка. Громыхает пустой кузов. Дымится, клокочет под колесами пыль. Хрипит сигнал. За версту слышен ход механизированной таратайки, а Ленка крутит и крутит педалями, катит по самому центру дороги, не оглядывается.

Не рассчитал шофер своей лихости, не притормозил вовремя. Теперь поздно: сбивай велосипедистку или сворачивай на обочину, в канаву, переворачивайся.

Свернет или...

Берегись, Ленка!

Хочу крикнуть, а губы не шевелятся.

В самый последний момент шофер рванул руль, и машина рухнула правыми колесами, передним и задним, в канаву. Так и мчалась метров двести, скособочившись. Потом выкарабкалась на ровное и загремела дальше.

А Ленка все неслась по прямой, по сумасшедшей прямой. Не увидела, как шофер погрозил ей кулаком. Не почувствовала, что была на волосок от гибели.

Дальше, все дальше. Ниже и ниже. Меньше и меньше. Скрылась. Была и пропала. Один теперь буду жить на земле. Что я наделал!!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Молча и быстро идем с Асей по твердому и плоскому дну глубокого и широкого кратера. Он так велик, что может вместить наше магнитное море. Стены его с трех сторон круто срезаны, со следами зубьев экскаваторных ковшей, огненно-рыжие, с прослойками жирной глины и дымчатого мрамора. С четвертой, скалистой стороны вырублены пологие спиральные террасы. По ним бегут кургузые паровозы с пятью думпкарами на прицепе.

— Почему ты молчишь, Шурик? — спрашивает Ася.

— Это очень хорошо, что я молчу.

— Что ж тут хорошего? Я люблю твой голос. Вся дрожу, когда слышу тебя. Говори! Что-нибудь, все равно.

— Я помню чудное мгновенье: передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты...

— Ах, как хорошо! До того хорошо, что дальше некуда. Спасибо, Шурик, осчастливил. Скажи еще что-нибудь!

— Подшипник-золотник!.. Конденсатор пара!.. Колосниковая решетка!..

Ася довольна и этим. Смеется. Преданно, как собака, не понимающая, о чем говорит хозяин, заглядывает мне в глаза.

Над сигнальными приборами паровозов появляются вспышки пара, но гудков почему-то не слышно. Колеса почему-то не гремят на рельсовых стыках — катятся бесшумно, как автомобильные. Вверху, в угольно-черном небе, прямо над нашими головами сияет одна-единственная, очень странная звезда, крупная, колючая, похожая на дикобраза. Откуда-то доносится горький и едкий дым сожженного хлеба — дым великой беды.

Какие-то люди, перепрыгивая с террасы на террасу, спускаются к нам. Это машинисты и составители.

— Эй, вы, скажите, куда она провалилась?

— Кто? — откликаюсь я.— О чем вы спрашиваете?

— Мы прибыли за рудой, а ее и след простыл. Куда убежала гора Магнитная?

— На своем вековом месте стоит. Вы попираете ее ногами.

— Не выдумывай, старик! Под нашими ногами дно пропасти. Семьдесят метров ниже уровня земли.

— Так это и есть она, Магнит-гора. Бывшая гора. Была и сплыла. Сотни миллионов тонн руды переплавилось в домнах и растеклось чугуном по земному шару. Снимите шапки, друзья, помяните Магнитгору добрым словом!

Машинисты и составители, вместо того чтобы радоваться, начинают оплакивать исчезнувшую гору. А мы с Асей весело смеемся и шагаем дальше по дну кратера. И натыкаемся на громадную фигуру, высеченную из белого мрамора. Солдатская стриженая голова, очки, гимнастерка, подпоясанная широким ремнем, сапоги. Так это же Антоныч! Магнитка поставила ему памятник!

— Стой! Дальше хода нет! — шепчут каменные уста моего великого друга, и руки его, длинные, как крылья ветряка, упираются в северную и южную стены котлована.

— Пропусти, батько! Пожалуйста. Я спешу.

— Куда? Навстречу своей гибели? Протри глаза, герой! Эх ты, недотепа!

Он помолчал и, чуть прикрыв мраморными веками живой огонь в своих очах, с отвращением рассматривал смуглянку Асю.

— Где твои настоящие друзья, Александр? Где настоящая твоя любовь, Ленка? Где Вася? Где Алеша? Почему отвернулся от них? Не нуждаешься? Кустарь-одиночка?

Смехотворное обвинение. Даже и опровергать не хочется. Снисходительно усмехаюсь.

Ну и ясновидец! Ну и страж! На такое место поставлен, а не ведает, что дружу я с Ваней Гущиным, с товарищем Быбочкиным, с Яковом Семеновичем Губарем, которого знает весь мир, с членом ЦКК Гарбузом.

— Как ты можешь жить без друзей? — громыхает Антоныч.— Догадываюсь, что́ хочешь сказать: не до них, мол, сейчас мне, едва на шуры-муры времени хватает. Эх!.. Околдован цыганской юбкой! Плохо видишь и туговат на ухо стал. Охмелел? Да, блуд — могучий наркотик.

Вот оно какое дело, старик! Ты считал себя счастливейшим человеком, но, оказывается, в дурмане пребываешь. Тебя страна вознесла на гребень истории, а ему, этому горе-педагогу, кажется, что плесневею я в болоте.

Ладно, пусть тарахтит в пустое ведро. Отлюбил свое, а теперь к молодому придирается: и то не так и это не ладно. Да, не так! Где, в каком законе записано, что человек должен любить один раз в жизни?

Я на Южном полюсе размышляю, а он на Северном гремит.

— Как ты можешь шуры-муры разводить с этой кралей, когда Ленка носит под сердцем твоего сына? Как вообще живешь? Твой единомышленник по партии, твой товарищ Вася Непоцелуев попал в беду, а ты не выручаешь его, еще глубже затаптываешь! Замечательный парень Алеша Атаманычев хочет быть твоим другом, а ты делаешь его своим недругом!.. Отвечай, как докатился до жизни такой! Снисходительно кривишь рот? Знаю, что́ у тебя на уме: я, мол, дисциплинированный солдат, выполняю железную волю командира. Чужая воля — потемки. Чужой ум — протез. Хорош тот солдат, который способен и на самостоятельный маневр, кто и своими глазами видит поле боя, кто и сам соображает, как, где и когда можно победить врага. Такому солдату судьба уже положила в его ранец маршальский жезл.

Антоныч распекает меня: то сюда, то туда приложит раскаленную железяку и держит до тех пор, пока не запахнет жареным.

— Пойми, дурень, на какую историческую высоту взметнули тебя рабочий класс, революция и пятилетка! Пойми и удержись! Класс непременно удержится, а вот ты, герой, можешь здорово шлепнуться.

Я засмеялся, теперь вслух. Ну и пророк! Я, может быть, шлепнусь в лужу когда-нибудь, а он уже барахтается в ней.

— Ржание противника в разгар боя звучит, как проклятие. Но хорошо тому, кто смеется последним. Я еще посмеюсь над тобой, Александр. Настанут для тебя такие времена, когда ты, виновный перед Ленкой, Васькой и Алешей, сам себе вынесешь суровый приговор!

Антоныч говорит о своем, а я думаю о своем. В разные стороны несутся два потока мыслей. Кулаки мои сжаты. Кровоточит сердце. Каждое слово Антоныча оставляет в душе рубец. Была его рука теплой, дружеской, а стала чужой, каменной. Озлобился на все и вся непризнанный воспитатель! Теперь понятно, почему его отовсюду выпроваживают. Не по душе ему наша героическая действительность!

Пытался меня убедить, будто и там и сям отнеслись к нему несправедливо. Чепуха! Неужели всюду сидят дураки, бюрократы? Что-то здесь не так, Антоныч. Плохо видишь. Помутился взор. Раньше умел разглядеть человека в звереныше, а теперь героя считаешь замухрышкой, оплакиваешь труса и лодыря.

Твоя жалость к Ваське несовместима с классовой борьбой, с Магниткой, с Днепрогэсом, с социалистическим соревнованием, с пятилеткой, с энтузиазмом миллионов.

Подведем итоги, Антоныч. Начал ты за здравие, а кончил за упокой. Всю жизнь бушевал. Прошел, как говорится у паровозников, сквозь огонь, воду и медные трубы, сдвинул с мертвой точки поршень, вдохнул энергию в кривошип, в дышла, колеса, привел в движение локомотив, потянул тяжелый поезд. И до капли исчерпал себя, стал бесполезным дымом, отработанным паром, пшиком.

— Почему онемел? — выходя из себя, орет Антоныч. От его громового голоса отвесные скалы карьера звенят, содрогаются, и на дно сыплется рудная мелочь.— Возражай! Оспаривай! Дай по морде! Но не молчи.

Ничего, ни единого слова не сказал в ответ на речи громовержца. Взял Асю за руку, пошел вперед. Время покажет, батько, какой я солдат.

Каменный гигант рассмеялся мне вслед — угадал мои мысли.

— Время?.. Не ты первый хватаешься за эту соломинку. Миллиарды людей попадали в эту соблазнительную ловушку. Нет, Александр, что с воза упало сегодня, то не найдешь завтра. В самый тихий ручей не войдешь дважды. Прощай!

— До свиданья.

— Нет уж, прощай. Умываю руки! Иди! Туда тебе и дорога.

— Горбатого могила исправит,— бросаю я через плечо.

— Ты зря надеешься на тот свет. Не заслужил. Слишком много имел на этом. Должно быть наоборот. Вспомни Спартака. Погиб рабом, а воскрес для всех народов и времен вождем и героем. Джордано Бруно сгорел как еретик, а живет теперь среди нас величайшим ученым. Степану Разину отрубили голову как разбойнику, а он стал бессмертным любимцем народа. Бывало и так: при жизни сгибался от наград, почестей и славы, возносился на десятки золотых пьедесталов, а после смерти все забыли.

Все тише и тише голос Антоныча. И, наконец, совсем заглох. И сразу же налетела буря. Взметнулась рудная пыль, и пропасть заполнилась мокрым и рыжим туманом. Жутко мне стало, я упал, закричал и... открыл глаза.

Лежу не на дне котлована, а в своей постели, в комнате, ярко высветленной полуденным солнцем, и вижу Антоныча. Не каменного, а живого. Не разгневанного, а сдержанно-печального, старенького, но еще крепкого. Он бросает книгу, которую читал, и смотрит на меня ласково, как больничная няня.

— Очухался? Ну и корежило тебя! Как бересту на огне. Дыба приснилась? Или котел с кипящей смолой?

— Хуже!

— Гитлер со своей шайкой?

Я все-таки уклонился от рассказа. Мой сон и пересказать страшно. Надо как можно скорее забыть его.

Незавидной способностью наградила меня природа: живу во сне так же отчетливо, ясно, до мелочей убедительно, как наяву. Не проходит и ночи, когда бы не привиделось чего-нибудь.

Вот и сегодня. Хмурым, дождливым утром, усталый и злой после ночной изнурительной и не очень ладной работы, я вернулся домой и натощак завалился спать. В мои годы, да еще после ночной смены надо бы спать крепко, ясно, без всякой чертовщины, а я...

Фу! До сих пор сердце колотится и пот не просох.

Протираю глаза. Одеваюсь. Бегу на кухню. Возвращаюсь минут через десять, бодрый и веселый. Выветрилась чертовщина!

Какое роскошное солнце! Сколько света и простора! Какое чистое и высокое небо! Какой хороший Антоныч!

Две недели пролетело, а мы до сих пор как следует, по душам, не потолковали. В первые дни он исчезал рано, когда я еще спал, возвращался поздно. А потом и вовсе пропал: перебрался в гостиницу, поближе к заводу и строительству. Видите ли, неловко ему меня стеснять. Гость, мол, роскошествует на койке, а хозяин на полу валяется. Все они, батьки, деликатные себе в ущерб. А какое тут притеснение! Я готов и на битом стекле валяться, только бы Антонычу было хорошо.

Примостился он на подоконнике, с роскошным видом на Магнитку, но вовсе не интересуется картиной мирового строительства. Глаз почему-то с меня не сводит. Смотрит пристально, с тревогой и болью, будто я тяжелобольной. А я тоже на него поглядываю и вспоминаю молодого, еще без единой морщинки Антоныча. Стриженая голова, кожаная тужурка. Начальник коммуны! Чудо-доктор! Сидит у моего изголовья и ждет, выживет или не выживет залетная блатная птица, подколотая ножом Ахметки.

Милый ты мой исцелитель, мастер добрых дел! Волна нежности хлынула к сердцу. Боже мой, как люблю я этого человека, с темным, в глубоких складках лицом, битого-перебитого жизнью и все-таки никогда и нигде не унывающего, первого оптимиста на земле, самого справедливого из всех справедливых людей! Просто плакать хочется от счастья, что он мой друг, мой второй батько, моя совесть. Безбожник я, а его, старого учителя, безоговорочно, да еще с радостью признаю своим богом. Всем, что есть во мне хорошего, я обязан ему.

Я подбегаю к Антонычу и, как в давние времена, бодаю его под ребра.

— Добрый день, пропащий! Явился, обрадовал!

— Не кажи «гоп», пока не перескочишь. В полночь подводи баланс, каким был день, добрый или злой. Ошибся, Александр. Посмотри внимательно на меня! Разве такая унылая морда может кого-нибудь обрадовать? Да еще такого жаднюгу на радость, как тебя!

— Да, вид у тебя не праздничный. Отчего? Не с

той ноги встал? Плохой сон видел? Живот нашим хлебом расстроил?

— Хватай выше живота, Александр. Без хлеба, говорят, человек проживет дней десять — пятнадцать, а вот без мыслей...— Антоныч постучал пальцем по своей голове.— Тут она, причина моей невеселости. Мысли одолевают. Запечалился. Уезжаю. Пришел попрощаться.

— Вот тебе раз! Ты ж собирался у нас все лето пробыть. Не понравилась Магнитка?

— Понравилась, но я ей не понравился. Выпроваживают корреспондента «Наших достижений».

— Как выпроваживают? Почему? Кто? Шутишь, батько?

— Такими вещами не шутят, Александр. Факт. Сегодня получил телеграмму-молнию. Редакция срочно под благовидным предлогом отзывает своего корреспондента. Рука Быбочкина! Не угодил ему. Каждый сверчок должен знать свой шесток, а я совал свой нос, куда не положено.

— Ничего не понимаю. Расскажи толком, что случилось? Ну!

Антоныч старательно утюжил ладонью вытертое сукно на своих заслуженных, времен двадцатых годов галифе, и отмалчивался.

— Давай рассказывай!

— Так вот: мысли, говорю, одолевают. Думаю, все думаю, что такое бешеное счастье и как с ним бороться.

Я рассмеялся. Но лицо Антоныча оставалось строгим, а глаза смотрели на меня сквозь выпуклые стекла очень серьезно.

— Зря регочешь, Александр. Ничего смешного я не сказал. И не собираюсь. Счастьем в любых условиях, и особенно в наших, советских, надо пользоваться чрезвычайно осторожно, умно и талантливо. Счастье, добытое честным трудом, в борьбе, дозволенными приемами, бывает легким, чистым, возвышает, облагораживает человека. А счастье, не обеспеченное скромностью, умом, доставшееся, как выигрыш в лотерее,— это весьма опасный яд. Малая его доза опьяняет, чуть побольше — делает человека самодовольным, оглупляет, а чрезмерная — уже выворачивает мозги набекрень.

Туман рассеивается. Догадываюсь, куда он метит. Видно, решил прошкурить своего воспитанника. Ладно, батько! Не принесут мне вреда твои добрые и умные руки. Давай шкурь! Снимай стружку. Во сне я провел генеральную репетицию и наяву не оплошаю.

Антоныч вошел в мою жизнь прежде всего словом. Из слов слагается сила, объединяющая и разъединяющая людей. Из слов воздвигаются дворцы разума, света, поэзии, мысли. Слово истины управляет делами людей. Так когда-то говорил нам, коммунарам, Антоныч. Он не умел слесарить, но так хорошо говорил о слесарном деле «домушникам», «скокарям», карманникам, что им захотелось слесарить. Не обладал он большой физической силой, но так здорово говорил о ней, что пробуждал ее в наших тщедушных оболочках. Не отличался особой ловкостью, но воспевал ее превосходно и внушал нам отвращение к неуклюжести, прививал желание быть огневыми ребятами. Слово его не было льстивым, не обещало златых гор, не подлаживалось, но оно всегда доходило до сердца, хотя и звучало порой грубовато, насмешливо. Сильный и правый не боится посмеяться над собой.

— Можно задать тебе один деликатный вопрос, Александр?

— Давай хоть дюжину — на все сразу отвечу.

— Запасливый! Скажи, ты давно дружишь с Максимом Неделиным?

— Что ж тут деликатного? Не друг, не сват и не брат я ему.

— Но вы же...

— Да, мы всегда рядышком, вместе попадаем в газетные статьи, в президиумы, в наградные списки, соседи по музею, но все-таки не друзья. Даже хорошими знакомыми нас нельзя назвать. По правде сказать, мне совсем не нравится этот Максим Неделин.

— Почему? — оживился и как будто обрадовался Антоныч.

— Старорежимный он какой-то. Пережитками обвешан, как богомолец ладанками. Одна нога на нашей земле, а другая — в старом мире.

— И как же он попал в герои?

— Повезло человеку: завербовался на Магнитку одним из первых и прижился тут. И работает здорово.

— Работает или работал? — переспросил Антоныч.

— Хвалят в газетах, выходит, и теперь на высоте.

— Это еще ничего не значит. Газету делают люди, а они, как известно, не застрахованы от ошибок.

— Ты хочешь сказать, что Неделин плохо работает?

— Послушай, что я хочу сказать... Я наблюдаю за Неделиным двенадцать дней. Бывал на его рабочем месте и дома. Ездил вместе с ним в Карталы, в Троицк и Верхнеуральск. Бражничал. Пел песни. В общем, заглянул в душу. И пришел вот к какому выводу. Максим Неделин, знатная личность Магнитки, неплохой работник когда-то, еще в самом начале пятилетки получил пропуск в рай. Нахватал за эти годы счастья сверх всякой меры, в тысячу раз больше, чем другие. Счастлив он был до головокружения. Грустно было смотреть на его индюшачье самодовольство.

— Почему ты говоришь о нем в прошедшем времени, батько?

Он не ответил, продолжал свое:

— Новый человек, рожденный революционной Магниткой, а жил, как в старину. Его счастье ничем не отличалось от бешеной удачи. Товарищи Максима не радовались его успехам, не подражали ему, а злились и завидовали. И недаром. Неделин получил больше, чем заслужил, перебрал, а товарищи недобрали до нормы. Есть в Магнитке более талантливые люди, чем Неделин, хотя бы Атаманычевы, отец и сын. Они сделали куда больше, чем он. Но они никак не отмечены, их ударный труд замалчивается. А Неделин пользовался своими привилегиями, ничуть не угрызаясь совестью. Не по-человечески это. Настоящий человек не может чувствовать себя счастливым, если рядом с ним живут люди обделенные, униженные, не получающие по труду. Карьеру сделал в Магнитке Максим Неделин. Рабочий-карьерист! Смешно? Нет. Трагично! Сюжет далеко не новый. Стар, как мир. Давным-давно написаны трактаты и поэмы, оправдывающие возвышение человека над человеком. Ницше!.. Байрон!.. Киплинг!.. Мальтус!.. Выживает и процветает сильный, талантливый, красивый. Да здравствует сверхчеловек! Поклоняйся им, рядовой, простой, обыкновенный!.. Рабочий, ударник, творец пятилетки, и... Ницше?! В этом и трагедия Максима Неделина. Не все такие люди сознательно становятся холуями чуждой нам идеологии. Многие невольно добиваются привилегий сверхчеловека.

Антоныч распинает на своем педагогическом кресте Неделина, но одновременно и мне достается. Только зря он порох на меня тратит. Я буду чувствовать себя счастливым без всяких наград, славы, музея и прочего. Слышу гудок — счастлив. Шагаю на работу в толпе таких же, как и я, пропахших ра-

бочим потом, железной окалиной и машинным маслом,— опять счастлив. Работаю — на самую вершину счастья возношусь! Посади меня на хлеб и воду, но не прогоняй с Двадцатки, все равно не запечалюсь. И даже воспоминания о жутком прошлом не угнетают меня, а придают бодрости. Нет теперь богатырей Никаноров, доведенных до желтого дома. Нет Остапов, утопивших свою долю в жидком чугуне, в горьких слезах, в монополько, в хозяйских несправедливостях. Нет Варек, продающих свою красоту. Нет замордованных Санек.

Антоныч не догадывается, о чем я думаю. Свое доказывает:

— Благодетели, вроде Быбочкина, искажают коммунистические идеи. Псу под хвост швыряют вековую мечту о гармоническом человеке, портят хороших, талантливых людей. Истинный талант скромен и тих, обращен внутрь себя, а не на то, чтобы с ближнего своего содрать рубашку. Истинный талант имеет великое преимущество: награжден на всю жизнь природой. Истинный талант всем помогает и равнодушен к своей персоне... Истинное социальное призвание таланта быть человеком как человеком, во всей его бесконечности. Выше себя и выше людей не поднимался и не поднимется любой гений. Истинный талант не добивается лавров сверхчеловека, не подминает под себя менее способных. Он каждым своим поступком, каждым словом побуждает товарищей на хорошие дела, на плодотворный поиск, на добрые мечты, на большие надежды. Истинный талант, не важно, кто он, рабочий или нарком, идет первым, но он всегда увлекает за собой — друга, друзей, ватагу, отряд, колонну, целую армию и даже весь народ, когда это такой гигант, как Ленин. Истинный талант не прибегает ни к колоколам, ни к вспышкопускательству, ни к насилию. Он убеждает людей в истинности своих идей, в истинности избранной им дороги. Убеждает!..— повторил Антоныч.— И тогда у таланта появляются бесчисленные, толковые и верные поклонники. Без подсказки, без кнута и пряника, они легко и быстро усваивают образ жизни старшего даровитого брата и делают все так, как он. Вот тебе и вся наука, по Марксу и Энгельсу, как коммунист должен тратить свой талант.

Да, батько, да! Теперь ты прав. По всей стране разлетелись из твоего орлиного гнезда коммунары. Токари. Машинисты. Педагоги. Инженеры. Художники. Хорошие люди. Человеки.

Я все внимательнее слушаю Антоныча, все мягче становится мое сердце. Нет, не зря он тратит и на меня свой порох. Больно слушать правду о себе, но что делать. Правда всегда, даже когда ее высказывает друг, колется.

— Люди есть люди,— сокрушается Антоныч.— Так мы пока устроены. Никто не застрахован от перегрузки славой и вниманием общества. Именно потому с талантом надо обращаться бережно, мудро, как с величайшим достоянием народа. Не перегружать, но и не давать работать ему вхолостую. Острейшая проблема! Таланты у нас сейчас рождаются свитой, как алмазы. Шахтер Никита Изотов за одну смену выволок на белый свет пятьсот тонн угля. Андрей Николаевич Туполев запустил в пролетарское небо стаю «АНТ». В Калуге рвется к звездам старый мечтатель Циолковский. Очень хорошо! Но и ловкачи не дремлют. Обгоняют неповоротливых. Прут напролом, с барабанным боем, к высоким постам. Трудно нам отделить истинный талант от фальшивого. Пока доставалы грызутся за крохи, упавшие с нашего стола, они смешны, но они становятся чрезвычайно опасными, оказываясь воспитателями таких людей, как Неделин, хозяевами их судеб, вдохновителями их поступков. Быбочкина нельзя за версту подпускать к социалистическому соревнованию, а он верховодит в этой области.

Я жду, когда он бросит Максима Неделина и меня схватит за жабры.

— Так или не так я говорю, Александр? — спрашивает Антоныч.

Я молча, без всякого энтузиазма киваю.

— Вот тебе все понятно, а Быбочкину мои слова показались кощунственными. Когда я изложил ему все то, что сейчас сказал тебе, он бросился на меня в штыки, обвинил в левацком заскоке, в утопизме и еще черт знает в чем. Быбочкин учинил мне допрос: «Вы что же, уважаемый, против подъема личности на основе трудовой героики?» Ну что ты скажешь такому демагогу, глухарю? Я против раздутой личности. За гармоничного человека. За высокую мораль не только на рабочем месте. За расцвет личности на основе трудового героизма и совести. Быбочкин не согласился даже с таким доводом. «Вы допускаете внеисторическое отождествление, путаете грешное с праведным. Не желаете видеть природы новых отношений». «В прошлом господствовала личность с выдающейся мошной. Теперь господин жизни тот, кто хорошо работает!» «Да поймите же, о чем я толкую! — возражал я.— Новому человеку, человеку коммунистической морали, надо хорошо жить не восемь рабочих часов, а все двадцать четыре». Быбочкин решительно не хотел со мной согласиться. «Я очень хорошо понимаю, о чем вы толкуете, на что́ именно вы замахнулись, товарищ загибщик от педагогической науки. Вы не только одного знаменитого Неделина хотите спихнуть с его высокого места. Вы покушаетесь на всех, кто завоевал трудовую славу, всех людей будущего хотите принизить!» Иван Иванович Гущин несколько смягчил злобный выпад Быбочкина: «Никакого покушения и принижения я не вижу. Все дело в том, что наш уважаемый гость из Москвы стрижет под гребенку всех работяг Магнитки. Пропагандирует наивный, детдомовский коммунизм. Вынужденную уравниловку тощих двадцатых годов пытается сделать двигателем пятилетки. Великий наш принцип «Каждому по труду» пытается подменить утопической добродетелью «Всем или никому». Дескать, как бы здорово ни трудился человек, как бы он ни был талантлив, все равно он не должен награждаться обществом. Никто из людей не имеет права на индивидуальный праздник, чтобы не получился пир во время чумы. Советский человек должен глушить свою радость, быть будничным, рядовым, не замеченным до тех пор, пока все люди начнут праздновать. Вот она какая философия, с позволения сказать, корреспондента журнала «Наши достижения»!..» Быбочкин мстительно засмеялся, подхватил: «Не в той редакции служит журналист. Ему больше подходит журнал с названием «Наши пороки». Гущин опять охладил злобный и подозрительный пыл Быбочкина: «Не будем переходить на личности, старик! Поговорим о позиции. С ваших максималистских позиций, товарищ корреспондент, можно разгромить все и вся. Знаменитый Собинов? Великий артист? Да, он услаждает слух. Но, помилуйте, зачем же ему звание народного артиста? Зачем трезвонить в большие державные колокола? Пусть довольствуется тем, что он артист, человек и талант. Москвин? Хмелев? Качалов? Да, таланты. Но зачем возносить их на седьмое небо? Пусть будут довольны тем, что они просто люди и таланты». Быбочкин энергично закивал головой: «Правильно!» Битых три часа спорили, доказывали друг другу свою правоту. Так ничего и не



доказали. Разошлись непримиримыми противниками. Каждый считал хорошим только то, во что сам верит.

Антоныч умолкает. Старательно, с увлечением, очень аккуратно, ловко лезвием безопасной бритвы оттачивает мои тупые карандаши и складывает их на столе. А пять минут назад в самый разгар своей речи он что-то рисовал на полях книги. А еще раньше пришивал пуговицу к ремешку своего вылинявшего, вытертого, военного образца картуза. Ни единой секунды не могли оставаться без работы неугомонные руки Антоныча.

Отточил последний карандаш, вытер испачканные графелем пальцы.

Ни единым словом Антоныч так и не связал меня с Неделиным.

Подавленно молчу. Боюсь взглянуть на Антоныча. Мне так же страшно, как во сне. Молчу и думаю, думаю... Я не пользовался бесстыдными привилегиями, работаю с радостью, как и до музея, не стал гастролером-лектором, не выступаю с докладами на тему, как работать по-ударному, но чем-то похож, немного, но похож на Неделина. Позволил же я Быбе, как и Максим, втащить себя в музей. Прижизненно втерся в историю, схватил «лавры бессмертия». Опасное это место, пьедестал! Оттуда, с высоты, Тарас показался мне букашкой, и я саданул его кулаком. Второй раз избил пером Вани Гущина. Да как! Всю душу измордовал. В распыл пустил. Пострадавший ответил, как мог. И мы, рабочие люди, напарники, стали врагами. Поджигатель и свидетель обвинения! Один осужден, а другой разгуливает без всяких угрызений совести. Есть над чем призадуматься.

В последнее время я часто приближался к истине. Смотрел ей прямо в лицо, прекрасное и суровое, жестокое и обаятельное, отталкивающее и магнитное, умное и трагическое. Но она, истина, лишь на одно мгновение появлялась. Удивит, обрадует, опечалит, испугает — и бесплодно исчезнет. На голом мраморе пьедестала и самое живительное зерно не дает ростков. Сейчас же, чувствую, свет истины пронизывает меня глубоко, насквозь. Окрепли, налились силой мускулы, как тогда, во время урагана «Елена».

Вот так батько, вот так мастер! Хотел выпороть

меня, а творит чудо. Давай лупи, раскладывай! Да размашистее, прицельнее, побольней! Разгоняй застоявшуюся кровь! Делай из привилегированного потомка обыкновенного рабочего наших дней. Превращай «историческую» личность в личность гармоническую! Еще! Пожалуйста!

Антоныч умолкает, с недоумением смотрит на меня. Не знает, как быть ему дальше: распекать или оставить в покое.

— Что ты там бормочешь? Какому богу молишься?

— Нашему с тобой, батько! — сказал я.

— А я думал... Дошло, значит?

— Каждое слово. Спасибо!

Я потянулся к нему, но ироническая усмешка на его тонких губах остановила меня.

Антоныч вскочил с подоконника и несколько раз, не уклоняясь ни влево, ни вправо, прошелся по одной половице. От двери к окну. От окна к двери. Всегда был таким. Не любил и не умел выписывать зигзаги, ни на волосок не отступал от своей линии. По идеальной прямой пробивается к трудной цели, не теряет надежды и уверенности сделать человека истинным человеком.

Он остановился передо мной.

— Ясно тебе и то, почему Быба выдворяет меня из Магнитки? Да, совершенно верно! За то, что я схватил его за руку. Что ж, уезжаю, но...

— Неужели и в самом деле уедешь, батько?

— Должен. Телеграмма категорическая. Потом вернусь, когда редакция убедится, что я был прав.

— Останься! Быба не так силен, как кажется. Мы обломаем ему рога. Гарбуз нам поможет.

Антоныч усмехнулся, погрозил мне пальцем.

— Неблагодарный ты, Александр. Быба тебя на вершину истории выпихнул, а ты ему за это рога собираешься ломать!

Не до шуток мне. Серьезно смотрю на Антоныча и благодарю судьбу за то, что она свела меня с этим человеком. Если бы не он, не коммуна, не красная звезда над домом с колоннами, давным-давно закончился бы род Голоты. В разгар человеческой весны попал я под крыло Антонычу и вместе с ним, вместе с народом начал свою новую историю. Навсегда останутся для меня неразделимы Антоныч и суровая и прекрасная правда нашей советской жизни.

Сама истина, скромная, как свет, сияет на лице моего друга. Нет более красивого человека, чем тот, кто породнился с истиной, кто стал ее бесстрашным солдатом!

Антоныч сел рядом со мной, положил руку на мои колени, сказал:

— Громоотвод — штука нехитрая, давняя находка, но грозовую беду отводит от нового, социалистического дома. Нам, большевикам, незазорно взять на вооружение и такое древнее оружие, как совесть. Если человек совестливый, то его нравственная позиция, в какие бы он передряги ни попал, несокрушима. Ленин очень высоко ценил совестливых людей. Ты, Александр, не разучился краснеть. Это очень и очень хорошо. Исправно действует твой нравственный предохранитель. Вот и все, конец сказке! — Антоныч поднялся.— Мне пора на вокзал. Будь здоров, коммунар!

Он энергично, торопливо выбросил вперед прямую руку, схватил мою и крепко держал ее, чтобы я, упаси боже, не вздумал обниматься.

— Александр, тебе не приходилось читать высказывания Маркса о любви... о несчастной любви?

Я поражен, молчу. Думал, он ничего не знает о нашей ссоре с Леной. Рассказала! Открестилась. Сожгла все мосты.

— Не читал?

— Нет. И что сказал Маркс?

— Все, что требуется намотать на ус влюбленному молодцу... Если ты любишь и не встречаешь взаимности, если ты путем жизненных проявлений не можешь изменить свою судьбу, добиться ответного чувства, твоя любовь — несчастье... Приблизительно так.

И тут же, не переводя дыхания, без всякого перехода, он жестко сказал:

— Береги Елену, молодой человек! Она твой добрый гений. Пропадешь без нее. Или еще хуже: выродишься в благополучного замухрышку.

Это были последние слова Антоныча, сказанные в тот день. И вообще. Под конец разговора приберег самое главное.

Он еще раз, уже на вокзале, прощаясь, стоя на подножке вагона, повторил слово в слово свое завещание.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Уехал!..

Исчез московский поезд, улеглась щебеночная пыль, а я все еще стою на путях и думаю, думаю о последних словах Антоныча: «Береги Елену, молодой человек!»... Поздно! Не уберег, потерял свое сокровище. Сколько понадобится энергии, терпения и этого... жизненных проявлений, пока верну ее. Да и верну ли?

До сих пор я был в беспрестанном движении: бежал на работу и с работы, одним махом преодолевал крутизну лестниц, носился по горячим путям на паровозе, мчался на мотоцикле, на «линкольне», скатывался с Магнит-горы под грохот урагана, размашисто печатал шаг под бравурную музыку в колонне ударников, гонял на велосипеде, летал на самолете в Москву, Свердловск. Всюду была зеленая улица. И вдруг поперек моего пути разливается красный свет. Экстренное торможение! Закрывай регулятор! Поворачивай стоп-кран! Действуй контрпаром!

Не уберег!..

Все, что осталось во мне живого, болит и ноет. Обезножен. Потерял крылья. Торчать мне и торчать на земле в таком виде до скончания века. Движутся люди, проплывают облака, на месте луны появляется солнце, гаснут и загораются звезды, бегут недели и годы, а ты все стоишь и думаешь, думаешь, думаешь...

Не уберег!..

«Плесневей один!..» А сколько невысказанного было в ее глазах, когда она убегала!.. А сколько презрения было в ее чужом, враждебном лице!.. И еще хуже она стала относиться ко мне теперь. Мимо меня проходит молча, едва взглянет, как на придорожный камень.

Так любил ее, столько души вложил, а она!.. Ни с чем не посчиталась. Ничего не простила.

Когда же я начал терять ее?

Не в тот ли день дала первую трещину наша любовь, когда явился Быба с музейным чемоданом и выдворил Ленку, а я не защитил, не удержал ее? Не в то ли июньское утро, когда я оскорбил ее подозрением?

Опуская кулак на голову Тараса, я рикошетом ударил и по нашей любви. Отворачиваясь от Васи Непоцелуева, от его брата, отпихивая от себя Але-

шу, я поносил, растаптывал все то хорошее, что приобрел в коммуне, чем красен человек. Ни слова на веру! Ни слова против совести!..

С каждым днем я ниже и ниже падал в глазах Лены. И вот наступил час, когда она вырвалась из моих объятий, заплакала. «Плесневей один!..» Надо было очень сильно презирать, чтобы так сказать.

Да?.. Нет! Куда тебя занесло, Голота? До чего, малохольный, додумался?

Недаром говорят, что в каждом припадке ревности и в горькой разлуке есть какая-то доля безумия. Будь я сейчас нормальным, разве дал бы волю мрачной фантазии? Разве поднялась бы рука бичевать себя? Ну и наворотил, лунатик! Ну и наплел! Что, собственно, случилось? Повздорил с любимой? С Алешкой? С Васей? Да, прискорбно! Но кто из людей не обижает друга, товарища, соседа, попутчика? Кто может похвастаться, что всю жизнь был справедливым? Почему же я так угрызаюсь? Все. Довольно!

Вот, оказывается, как легко и быстро можно уговорить, убаюкать самого себя!

Где твоя совесть, Голота? Где твоя голова?

Недавно, на днях, Степан Иванович ткнул меня носом в поразительную страницу «Святого семейства» Маркса и Энгельса. Мне, рабочему, сыну и внуку пролетариев, давно полагалось бы знать ее наизусть, а я впервые прочитал такое о себе.

Пролетарий отвлечен от всего человеческого, даже от видимости человеческого, его жизненные условия достигают высшей точки бесчеловечности. В пролетариате человек потерял самого себя. Но пролетарий сам себя освобождает под давлением абсолютно властной нужды. Став свободным, он упраздняет самого себя как пролетария и начинает искать, восстанавливать великую свою потерю — человечность.

Вот тебе, Голота, и программа жизни и ее великая цель. Ищи! Восстанавливай! Пусть желание быть человеком станет твоей властной нуждой, первой необходимостью, как хлеб, вода, воздух, сон! Упраздняй все, чем забросали, заляпали, загрязнили тебя хозяева и хозяйчики, выжигай все, что привито прежними жизненными условиями, не прощай себе ни одного дурного поступка, ни одного плохого слова. Стыдись своих слабостей и промахов. Больше, чаще, смелее стыдись! Не стыдись стыдиться. Стыд — это своего рода гнев, только обращенный вовнутрь, говорит Маркс, стыдливый человек, стыдливая нация подобны льву, готовому к прыжку.

Стань львом, «крысавец»!

Куда прежде всего прыгнуть? На что направить свой гнев? Столько наворотил вокруг!..

— Эй, ты, тюха-матюха, примерз к шпалам? Или рельсы караулишь?

Составитель в брезентовой куртке с роговым свистком в зубах обрушивает на меня трехэтажную ласку, хватает за руку, тащит подальше от рельса. Не сопротивляюсь.

Парень, видимо, не привык иметь дело с покорными и тихими. С удивлением вглядывается в меня.

— Ты что, друг, с жизнью решил распрощаться? Ну и дурак! В другой раз не получишь ее в свое личное пользование.

Засмеялся, вскочил на подножку маневрового паровоза и укатил.

Неожиданная мысль приходит мне в голову, пока я смотрю на маневровую «овечку». Как бы поиздевались сейчас надо мной Ваня Гущин и Быбочкин, если бы заглянули в мою душу! «Старик,— сказал бы Ваня,— чего это ты мировую скорбь разводишь насчет моральных падений, убытков? Не было ничего такого. Не там и не то считаешь. Вся твоя мораль укладывается в одно слово — «ударник»! Так чего же ты прибедняешься? Давай не будем, старик. Не твое это дело — копаться в своих чувствах и мыслях, умничать. Поменьше болтай. Молчание — золото. Вкалывай, как надо, и ты всегда и везде будешь правым и первым, богатым и знатным».

А Быба, пожалуй, еще больнее отхлестал бы меня. «Наговариваешь на себя, товарищ рабочий! Напрасный труд! Истории наплевать, как ты сам думаешь о себе, какую в данный момент видишь цель. Дело в том, что такое рабочий класс на самом деле и что он, сообразно своему бытию, исторически вынужден будет делать. Его цель и его историческое дело, хочешь ты этого или не хочешь, есть и будет твоей целью, твоим делом жизни. Это тоже Маркс. Так что, потомок, не рыпайся, не пытайся выпрыгнуть из собственной шкуры!»

Вот на какой перекресток попал! Между молотом и наковальней очутился: Алеша Атаманычев, Родион Атаманычев, Варя Атаманычева, Вася Непоцелуев, Хмель, Ленка, Антоныч, Гарбуз тянут в свою сторону, а Быба — в другую. Кто кого перетянет! На чьей же я стороне? Кому должен помогать?

Но еще хуже будет, если на этом конце, где Голота, окажется слепая вера и ни капли совести. Ни слова на веру, ни слова против совести! В завещании Ленина ключ ко всем сложностям нашей жизни. Универсальный. Любой, самый секретный замок откроет. Даже тот, что за семью печатями, деревенский, хлебозаготовительный, непоцелуевский. Вот, Голота, с чего тебе надо начинать войну с «крысавцем». Музейным рубашкам и штанам, фотографиям, бумажкам с печатями и штампами не больно подождать своего часа. А вот живому человеку, Васе,— невтерпеж.

Бросил меня Васька. На другой паровоз перебрался. Пойду к нему в барак, повинюсь, попрошу вернуться на Двадцатку. Потом и к Алеше побегу.

Еще ничего не сделал, а уже посветлело на душе и в ногах резвость воскресла. Нет, мысль — это все-таки чудо, она душа дела. Будет время, когда люди пошлют на Луну, на Марс и на Венеру космические корабли. Но раньше там побывал в своих мыслях Циолковский. По его прочерченному курсу полетят ракеты.

Ну, парень, делай свой первый шаг в будущее!

Поворачиваюсь, иду по путям. Миную теплушку с жестяным щитком, на котором написано «Магнитогорск», и выхожу на огромный пустырь, на привокзальную площадь, кишащую народом, лошадьми, телегами, машинами. Справа и слева, впереди, впритык друг к дружке алеют и белеют всевозможные плакаты, лозунги и призывы. На огромных фанерных щитах приклеены объявления, печатные и написанные от руки. Прораб такой-то принимает на работу чернорабочих, обеспечивает общежитием, столовой, баней, продкарточкой и путевкой на курсы каменщиков... Коксохиму требуются огнеупорщики высокой квалификации... Курский грабарь такой-то ждет приезда своего земляка такого-то и сообщает ему адрес... «Вытащили у пьяного дурака кошелек с документами. Пожалейте лопоухого, подкиньте бумаги на пятый участок, на Дубовую улицу, в барак № 17, под второе окно, где сухое деревцо. Взамен, клянусь богом, получите полную бутылку»... Отдел рабочего снабжения готовит в срочном порядке пе-

карей, поваров, продавцов обоего пола... Госцирку требуется... Магнит-гора ждет... Центральная библиотека приглашает... Электротеплоцентраль набирает... Питомник горкоммунхоза нуждается... Педагогический вечерний доводит до сведения... Объявляется набор на курсы экскаваторщиков. Курсанты обеспечиваются стипендией и шахтерской продкарточкой... Горный техникум готовит... Школа мастеров принимает...

Выбирай свою судьбу, приезжий искатель, иди, карабкайся, возвышайся!

Вот где ты оплошал, Алеша! Во главе всех объявлений и призывов должен сиять твой щиток с надписью: «Магнитка — родная мать каждому труженику, нет у нее ни пасынков, ни любимчиков».

Рискуя попасть под колеса таратаек, под копыта гривастых приземистых лошадей, шагаю по вокзальной площади. Обхожу стороной сезонников с чувалами и сундуками, с поперечными пилами, завернутыми в мешковину. Толкаю пьянчужку — он пытался ни за что, ни про что облобызать меня — и натыкаюсь на женщину с двумя детьми. Жарко, а на ней стеганая кофта, три темных юбки, надетые одна на другую. Обута тоже не по сезону: в валеные сапоги. И девочки ее обмундированы по-зимнему: в ватных деревенских пальтишках, в пуховых платках, в толстых вязаных чулках. Впопыхах, видно, поднятые посреди ночи пожаром или еще каким-нибудь бедствием, напялили на себя побольше.

Женщина и дети расположились на своих узлах, в сторонке, где меньше людей. Сидят тяжело, обреченно, как птицы с подрезанными крыльями.

Стою перед ними и, чувствую, краснею. Стыдно и больно. Я сыт, на мне чистая рубаха, на сберкнижке немало денег, в кармане неизрасходованная продовольственная карточка ударника горячих путей, за мной закреплено персональное бесплатное кресло в цирке, депутат горсовета, знатная личность, в музее выставлен, а эти люди...

— Здравствуйте! — говорю я.

Мать неохотно кивает. Девочки смотрят на меня с удивлением и тоже помалкивают. Отвыкли, видно, здравствоваться. Не верят моему сочувствию. Не ждут от меня ничего хорошего.

— Вы приехали? Уезжаете?

Глупые вопросы! Ничего другого не успел придумать.

Женщина медленно склоняет голову, укутанную в теплый платок. Вот и пойми ее, куда она путь держит: сюда или отсюда.

— Завербованные? К мужу и отцу прибыли?

Молчит. Печальное ее лицо становится еще более печальным. Сиротское лицо. Так нагоревалась, так намоталась вдова, так ей опостылела жизнь, что и слова вымолвить не может. И чего я пристал к ней? Шел бы своей дорогой! Не могу. Жалко девчонок. И матери хочется чем-нибудь помочь. Очень хочется, но не знаю, как это сделать. Не то говорю, что надо. Не за тот конец хватаюсь. Злюсь на свою неуклюжесть и еще больше теряюсь.

— Откуда вы, тетенька?

Вот растяпа! Не все ли тебе равно, откуда она и кто такая?

Женщина не слышит меня. Не желает. Взгляд ее застыл. Запавший, старушечий рот наглухо запечатан.

— К дяде мы приехали,— говорит старшая, похожая на мать девочка. Ей не больше восьми, но уже ясно, что вырастет пригожая и серьезная девушка. Из-под платка у нее выбиваются две светлые, аккуратно заплетенные косички. Круглое лобастое личико свежо, намыто. Успела! Золото и в грязи блестит.

— Адрес дяди знаете?

— Потеряли,— вмешивается в разговор младшая сестренка и прячется за спину матери.

— А где работает ваш дядя? Как фамилия?

Молчат. Нерешительно смотрят на мать: говорить или не говорить? Та кивает.

— К дяде Васе мы приехали,— бойко отвечает старшая.

— К дяде Васе? — чуть не вскрикиваю я.— К Непоцелуеву?

— А вы его знаете?

— Кто же его не знает! — улыбаюсь я, а губы мои дрожат.— Он на паровозе работает, а живет в бараке, на Степной улице. Хотите, я провожу вас к нему?

Женщина чуть оживилась, почти доверчиво смотрит на меня. Переводит взгляд на свои узлы, вздыхает.

— А далеко идти?

— Далеченько. Не бойтесь, мы тарантас наймем!

— Денег у нас нет.

— Ничего! У меня есть. Пошли!

Женщина опять угасла. Раздумывает. Тяжелые, набрякшие веки безжизненно падают, наглухо закрывают глаза. Девочки кидаются к матери. Одна гладит ее руку, другая теребит фуфайку.

— Вставай, мама! Ну!

— Постойте, доченьки. Голова закружилась. Передохну.— Она медленно открывает глаза, виновато оправдывается, глядя на меня: — Отощали мы. Едем, едем, едем... и все без хлеба.

Рука моя опускается в карман, нащупывает кошелек с деньгами и продуктовой карточкой.

— Подождите тут,— говорю.— Хлеба принесу.

Минут через тридцать я возвращаюсь с черной буханкой. Уговорил директора орсовского магазина отоварить без очереди ударную карточку на три дня вперед. И целый фунт соевых конфет раздобыл да еще какую-то соленую рыбину. Кладу все это добро на колени женщины, спрашиваю, есть ли у нее чайник или какая-нибудь посудина.

Смотался в ближайший барак, наточил из «титана» бидон кипятку.

Они, забыв обо мне, едят, а я стою около и стараюсь не смотреть на них. Но смотрю и смотрю. Всю жизнь Непоцелуевы добывали для людей хлеб, а теперь...

Из-за облупленной вокзальной теплушки выскочил человек в синих галифе, в скрипучих сапогах. Женщина и ее дочери перестали есть. Онемели. Переглянулись. Насторожились. И опять стали похожи на птиц с подрезанными крыльями.

Милиционер озабоченно, не поднимая головы, прошагал мимо. Гимнастерка потемнела и полиняла под мышками. На затылке под синим околышем фуражки золотился юношеский курчавый пух, давно тоскующий по ножницам и бритве.

Женщина и девочка провожали глазами парня в казенной форме до тех пор, пока он не скрылся.

Вот как мстительна человеческая память! Незаслуженные страдания оставляют особенно глубокие раны в сердце. Сколько еще месяцев, может быть, и лет понадобится этой семье, пока она избавится от страха? Боятся люди того, что достойно по своей природе уважения. Кто в этом виноват? Ошалевший от большой, до бесконтрольности, власти уполномоченный по хлебозаготовкам? А может быть, будь он неладен, какой-нибудь вроде меня «крысавец»? А почему бы и нет? Поднял же я руку на Тараса, не разобравшись толком в том, что случилось на уголь-



ном складе. А может быть, как раз в тот момент Тарас нуждался в участии и дружеской поддержке? Да! Крути ни верти, а это так. Тарас не сделался бы моим врагом, не был бы потерян для страны, для жены, детей, если бы я тогда, во время урагана, и после, на угольном складе, обошелся с ним по-человечески. Да! Тот не человек, кто чувствует себя счастливым среди несчастливых, необыкновенным среди обыкновенных, возвышенным среди униженных.

Все это я давно, еще в коммуне, слышал от Антоныча, но только теперь его слова дошли до меня как следует. Почему же так долго не всходят добрые семена, а всякий чертополох растет не по дням, а по часам?

Женщина и ее дети смотрели на меня уже без опаски. Хлеб сделал свое доброе дело.

— Спасибо вам...— На лице матери появилось подобие улыбки.— Не знаю, как вас называть...

— Голота я. С вашим Васей вместе работаю.

— Так это вы?! Мы вас знаем.

— И я вас знаю, Надя... Надежда Петровна.

Погрузили в плетеную кошеву извозчика негромоздкие узлы, посадили девочек и поехали к Ваське.

В одну минуту договорился я с ним. Прямо из его барака мы рванули к Гарбузу, в Березки. Все рассказали ему. Обещал помочь. Знаю, он сдержит слово.

Были и у Алеши Атаманычева. И этот сразу предложил свою помощь.

— Пусть у нас живут твои племянницы, Вася. Для всех места хватит. Моя маманя обрадуется ребятишкам. Своих нет, так она чужих по головке наглаживает.

— Посмотрим. Пусть пока под моим боком поживут.

Правильно, Вася!

До вечера далеко, а я уже вернул все, что потерял, казалось, навсегда,— уважение и дружбу хороших людей.

Незабываемый, красный день моей жизни!

Алеша и Вася остались на горячих путях, а я помчался в сберкассу, а потом в горный поселок к Атаманычевым.

Ася и Родион Ильич еще не вернулись с работы.

На это я и рассчитывал. Хозяйка встретилась мне во дворе с охапкой подушек, вынесенных из дома для проветривания.

Увидев нежданного гостя, она бросила свою ношу на скамейку и просияла. Рада сердцем, а на словах сторожится:

— Пришел!.. Долго тебя не было! Здравствуй! Дорогу забув до нашей хаты, чи як?

— Чуть не забыл... Как поживаете?

Я не называю сестру ни ее настоящим, ни вымышленным именем. И так и этак неловко.

— А шо с нами станется? — отвечала она.— На чужое не заримся, за свое не держимся, слезам соседа не радуемся. Хорошо живем, слава богу! Ну, а як ты? — Насмешливо, с вызовом посмотрела на меня.— За версту видно, шо здорово живешь. Лучше всех!

Отвернулась, стала взбивать крепкими коричневыми кулаками пуховые подушки. С тоской и болью смотрю на сестру и молчу. Так много хочется сказать ей, что боюсь ничего не сказать.

Близкая и далекая Варя! Сестра и не сестра. Хочу взять ее руку, напомнить, как мы собирали воронцы в Батмановском лесу, как грелись на донецком солнышке, как кувыркались в теплой воде Северянки. Хочу и не могу.

Перестала молотить кулаками. Лицо возбужденное, сплошь румяное. В маму она, красавица Варя.

— Ну, Саня, когда на свадьбу позовешь? Завтра? Через три дня? Через неделю?

Передергиваю плечами, силюсь растянуть рот в улыбке.

— Не знаю.

— Як же так? Ой, Санька, виляешь! Ну и дурень! От своего счастья отбрыкиваешься. Давай! Раки любят, шоб их живьем ошпаривали.

Вот когда и соврать не грешно. Нельзя! Дал клятву быть правдивым. Только с одним Быбой позволю себе хитрость. Недостоин он правды. Говорю:

— И рад бы сыграть свадьбу, но невеста передумала выходить. Подожду, может быть, еще раз передумает.

Она почему-то не слышит меня. Пытает — с тревогой, с осуждением:

— Разлюбил, да?

— Что вы! Разве такую разлюбишь?

Все, хватит об этом! Надо переключить разговор.

Я достал пачку червонцев, туго, крест-накрест перетянутую казенной банковской лентой, положил на край скамейки.

Варя испуганно вспыхнула. Взгляд ее перебегал с моего лица на деньги.

— Что это ты, Саня? Зачем гроши?

Я пробормотал:

— Это детям Тараса. Передайте, пожалуйста.

Она не поверила моим словам. Переспросила:

— Кому?

— Детям Тараса! — твердо говорю я.— Слышал я, вы им помогаете, их беду своей считаете.

— Считаем!

Бережно, двумя руками, она взяла червонцы, понянчила их на ладонях, будто ребенка взвешивала.

— Когда же ты успел заработать столько?

— Успел! Не говорите только, откуда они.

— Богато тут, Саня. Забери половину, пригодятся для свадьбы.

— Все отдайте. Я потом еще... каждый месяц буду выкраивать.

Ничего я больше не успел сказать. Варя взмахнула руками, кинулась ко мне.

— Санечка, родненький мой, братик!

Чуть не задохся в ее объятиях, чуть не захлебнулся от ее слез.

Так же внезапно, как и заплакала, она смолкла, оттолкнула меня от себя, оглядела с ног до головы, недоверчиво и восторженно.

— Ты, Саня?.. Ей-богу, ты! Воскрес! Внук Никанора! Если бы встал дедушка, если бы посмотрел!..

И опять разревелась. Я обнял сестру, душистую и теплую, пропитанную солнцем, как и тогда, в Батмановском лесу.

— Расскажи, Варя, как ты жила все эти годы?

Глаза ее, только что омытые слезами, сияющие, стали сухими, темными.

— Нечего рассказывать. Все забыла. С той самой минуты, как встретила Родю... Родиона Ильича. Только одно хорошее помню.

— Прости, Варя!

— И не Варя я. Давно отвыкла.

Вглядываюсь в зрелое и все еще юное лицо сестры и ясно вижу ее прошлое и будущее. Да, только была она красивая и всегда будет такой с Побейбогом. В добром огне любви сгорают, не оставляя и пепла, все прежние обиды и страдания.

Так и у нас с Ленкой будет. Она еще не простила меня и надежды никакой не подала, но я верю: не навек мы рассорились. Не сегодня, так завтра помиримся, опять породнимся. Знаю я теперь, как и где надо зарабатывать любовь любимой. Не буду несчастным! Не хочу. Неестественно человеку быть несчастным.

— Я люблю тебя, Ленка! И всю жизнь буду любить! Слышишь, гений?

Издалека-далека, от Уральских гор, из новогоднего сказочного леса, с вершины Магнит-горы, с подоконника молодоженов, из стеклянного домика у подножия домны, со всех дорог, истоптанных ногами Ленки и моими, на воздушной волне ночной фиалки доносится до меня ее нежный шепот:

— И я люблю тебя, паршивец!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Отощавшие за ночь воробьи появляются на моем подоконнике. Распушив крылья, воинственно подпрыгивая и щебеча, они мигом расклевывают хлебные крошки и разлетаются.

Время первых гудков, гимнастики, последних известий, умывания, усиленной работы почтальонов, сдачи и приема смен. Время, когда человек меньше всего задумывается над жизнью.

А я лежу с открытыми глазами и думаю, думаю... Вот так теперь начинаю и кончаю каждый свой день, рабочий и выходной. Надеюсь и отчаиваюсь. Верю и не верю. Нахожу и теряю. Сомневаюсь и утверждаюсь.

Жизненные проявления!.. Не поздно ли ты спохватился, Голота? Не после ли драки начал размахивать кулаками?

Нет, нет и нет! Вовремя, в самый золотой свой час взялся ты за ум. Впереди у тебя полвека жизни: труда, борьбы, находок, разочарований и новых, умудренных опытом и неудачами исканий. Шагай, мчись по жизненным просторам! Но не бесследно. Не с легкостью мотылька-однодневки. Пусть всюду, где поработаешь, возникнет не только глыба угля, чушка чугуна, но и оставит след твоя человечность.

Проявляет себя по-настоящему тот, кто знает, что мир держится на плечах трудового человека, кто вкладывает свою богатырскую долю в настоя-

щую и будущую жизнь, кто чувствует свои корни и в прошлом. Да! Безначально, бесконечно хорошее в людях. Ленин довел до конца то, что в разное время, в разных концах земли начинали Спартак и Степан Разин...

Кто-то стучится в дверь. Давай входи, ранняя птаха!

Почтальон! Обычно он тихонько подсовывал под мою дверь почту и удалялся. Сейчас он, небритый, в запотевшем картузе, переступает порог. Улыбается во весь щербатый рот, перекантовывает брезентовую сумку с бедра на тощий свой живот, торжественно объявляет:

— С вас причитается, товарищ Голота! Богатырь!.. Да еще и победитель! Вот...

Сует мне в руки пачку газет, московских и уральских, козыряет и уходит не солоно хлебавши, без того, что с меня причитается.

Пошутил дядя? Дурака валял? Или в самом деле что-нибудь напечатано обо мне?

Разворачиваю газету, сделанную наполовину, если не больше Свежей головой. Узнаю его руку. Где много звона, где высокий штиль, там и Гущин.

«Слава вам, богатыри-победители!..» Такая шапка украшает первую страницу газеты. Посмотрим, что под ней. Вот тебе и раз! Премии, награды. Прежде всего бросается в глаза фамилия Голоты. Себя раньше всех видишь. Выдают путевку в Крым и денежную премию. Слава богу, не одному. В числе прочих. Не имею права отказываться. Принимаю! На все пятьсот рубликов куплю в горкомхозовском питомнике цветов и завалю ими Ленку, когда она вернется. А в Ялту не поеду. Ну их, кипарисы, магнолии и Черное море!

Наградной список длиннющий, четыре столбика. Все, кто хорошо трудится, не обойдены. Интересно, как отмечен Алеша Атаманычев? Все лето он здорово работал. Лучше всех.

Пробегаю глазами наш заводской «указ». Голота, Гаранин, Герасимов, Гранаткин!..

Не там ищешь Атаманычева, грамотей! Начинай с заглавной строки. По алфавиту напечатаны фамилии.

Адамов, Андреев, Акулькин... Борисов, Болотов, Богатырева... моя Ленка. Атаманычева нет. Ни сына, ни отца. Перечитываю список от первой до последней строки. Не числится! Ошиблись учетчики, наломали дров.

Бегу в депо, навожу справки. Делопут, которому поручено вести бухгалтерию социалистического соревнования, обиженно заявляет, что никакой ошибки не произошло, все правильно. Заводская комиссия не сочла возможным, по весьма веским причинам, наградить Атаманычева.

По каким причинам?..

Делопут многозначительно опускает тяжелые веки, набухшие государственной тайной.

— Гм... сверху виднее.

Иду «наверх», в комиссию, к самому Быбочкину. Так обидно за Алешку, что даже потерял власть над собой. Размахиваю руками, кричу, увлажняю прокуренный кабинет брызгами слюны.

Быбочкин наливает в стакан воды, протягивает мне.

— Успокойся, потомок. Вот так! Теперь садись и рассказывай. Я слушаю.

Стучу кулаком по столу и говорю: если Атаманычева не отметят, пусть и меня вычеркивают. Не желаю на чужих хребтах въезжать ни в Ялту, ни в передовики.

Посуровел Быбочкин. И до этого не был приветлив, а после моих слов совсем помрачнел.

— Отказываешься от социалистической премии?! От высокого доверия, оказанного тебе? Да ты что, Голота, с ума спятил?

— Не я спятил, а тот, кто обокрал Атаманычева. Он достоин премии. Вот цифры. Простая арифметика. Посмотрите!

Быбочкин даже не взглянул на мои бумаги.

— Я был о тебе лучшего мнения, Голота!.. Ударник среди ударников, потомственный рабочий, талант, студент, историческая личность, а к сложной нашей жизни, где и с компасом можно заблудиться, подходишь с четырьмя правилами арифметики.

— Не темните нашу ясную жизнь. Если награждать, так всех, кто хорошо работал, отличился, а не так, как вы...

— Брось философию разводить!

— А почему не пофилософствовать? Хотите, чтобы я молча вкалывал? Крот истории должен не только рыть, но и размышлять.

Быбочкин метнул из-под грозно нависших бровей свирепый, прямо-таки бешеный взгляд.

— И это тоже брось... на пушку брать! Не простофили мы, не сопливые интеллигентики.

— Не мешает и вам быть интеллигентным!

— Вот что я тебе скажу, инте-ллиген-тный товарищ! От социалистических премий не отказываются. Наши премии, если кому-нибудь от них тошно, отбираются с барабанным треском, с опубликованием в печати и с кое-какими оргвыводами. Не посмотрим и на родословную.

— Да, тошно! — закричал я.— От вашей премии, Быбочкин, тошно. Своевольничаете! Социалистическую справедливость наизнанку выворачиваете. Каждому по труду! А вы разделяете рабочих на красивеньких и уродливых. Атаманычев должен получить премию! Слышите?

Услышал!

Поднял брови. Распустил жесткие складки на свирепом лице. Посмотрел на меня почти нормальным взглядом.

— Да, Атаманычев оказался впереди. Вырвался!.. В карьер, галопом — к цели. Одной рукой лезет за премией, а другой хватает за горло социалистическое соревнование. Не понимаю, как ты не чуешь дурного запаха? Проценты Атаманычева не те, какие нам надо. Не наши они.

А ты наш, Быбочкин? Откуда взялся? Какие-то чистые и нечистые проценты выдумал. Не о таких ли, как он, «рыцарях калужской законности» писала на днях «Правда»: раскулачивают маломощных середняков, выскребают подчистую из амбаров колхозников зерно, сажают в тюрьму ни в чем не повинных людей. И делают все это якобы во имя рабоче-крестьянской правды. Нет правды на стороне тех, кто честных людей крушит дубиной и сечет кнутом.

Дубина и кнут не помогли Быбочкину в разговоре со мной, и он схватился за оружие, против которого бывают бессильны и великаны.

— Мы не позволим тебе, Голота, растранжиривать себя. Будем бороться за тебя с любым и всяким. И даже с тобой поборемся, если до того дойдет. Против тебя, но за тебя! Против неподкованного Голоты, за умного Голоту!

Стер с лица остатки злости, напустил на него дружеское добродушие и заулыбался, как и в первую нашу встречу, когда вербовал в «крысавцы».

— Слушай, потомок! Откровенно говоря, нравится мне твоя позиция. Не беру твою сторону, а нравится. Позиция настоящего друга.

Ну и ну! Вот они какие, выворотные деляги. Бешено кусают, наносят удар и тут же лобызают ушибленное место. Оскорбляют и требуют одобрения. Несут глупости и ждут восхищения. Непогрешимые!

Всевидящие! Обладатели истины. Всезнающие! Людям свойственно ошибаться, но Быбам... Золотоголовый Быба! Разъединственный! Сомнения ему неведомы. Угрызений совести не испытывает. Чужой болью не болеет. Дубинки в своем глазу не видит. Не повезло Магнитке.

— Да, нравится! Гранитная позиция! — гремел Быба. Он уже так раздобрел, что обнимал меня.— Атаманычев пузыри пускает, а ты не только не помогаешь ему идти на дно, как это делают простые смертные, а тянешь утопленника за волосы с риском для собственной жизни. Молодчина! Надеюсь, ты и меня, если попаду в беду, будешь отстаивать. Так?

Молчу. Я все еще не могу прийти в себя после сальто-мортале Быбы. Знал, что это за фрукт, но все-таки не думал, что он так изворотлив. Краснее красного сверху. Действительно, на такого надо охотиться осторожно, с подготовленных позиций, хитро и умно, не гнушаться засадой и даже какой-нибудь вольной проделкой. Что ж, притворюсь недотепистым. Говорю:

— Предать друга — себя растоптать.

Быба еще теснее прижался ко мне — на свой счет принял мои слова.

— Правильно, потомок! Дружить нам с тобой и дружить! А вот от твоего дружка меня воротит. Не перевариваю. Удивительно, как твое классовое нутро не реагирует на чуждый дух.

Я не возражал ни взглядом, ни словом, но Быба энергично взмахнул рукой, словно желая заткнуть мне рот.

— Давай не будем, потомок!.. Не покушаюсь на твою дружбу с Атаманычевым. Пожалуйста, клади ему палец в рот. И не жалуйся, когда потеряешь его. Вот так. Все. Подведем итог. Снимаю возражения против Атаманычева. Премируем и его. Хай живе и пасется. Имей в виду, делаю это только под твоим нажимом и под твою ответственность. Люблю, уважаю и потому не могу отказать.

И он еще раз наглядно продемонстрировал свою любовь: одной рукой обхватил мои плечи, другой похлопал по коленям, расплылся, как кизяк.

Во мне кипит ярость, содрогаюсь от брезгливости, а он уверен, что окончательно покорил меня.

Побегу к Атаманычевым, отведу душу.

Еще за калиткой слышу я старинную задушевную песню. Рвется она сквозь кирпичные стены, двери и окна.

Алеша, Ася, Родион Ильич, Маша-Варя, Хмель, верхолазы с четвертой домны сидят за бражным столом и поют про вьюжную степь, тройку, бубенцы.

Алеша перебирает струны гитары, радуется складно звучащей песне. Вот кто оптимист. Легко быть бравым и сознательным, когда тебя сажают в персональное кресло, тащат в президиум, преподносят музей и Черное море. А вот сумей-ка порадоваться на месте Алешки!

Весь вечер гулял у Атаманычевых. Горланил песни. Пил и ел. Смеялся. Лены рядом не было, а я не скучал.

Варя подливает в глиняную кружку хмельной браги, подкладывает на тарелку закусок. Я перехватываю ее ласковые взгляды.

И от улыбки Аси не отворачиваюсь. Хорошая девка. Прикидывалась никудышной. Голос высокий, чистый, хватает за сердце. Поет и застенчиво на меня поглядывает. Не манит, ничего не обещает, просто смотрит.

О посещении Быбы я молчу. Пусть не от меня, а в конторе узнает Алеша о своей премии.

Верхолазы встают из-за стола. Нагостились. Натягивают картузы, кепки, топчутся у порога, прощаются с бригадиром, благодарят хозяйку, а в глазах и на лицах все еще светится, играет песенная отвага.

Гости один по одному уходят. А Хмель и я состязаемся — кто кого пересидит. Парень теперь ни на шаг не отходит от Алешки. Да и я припаялся к нему и к этому дому.

Сам себе подыгрывая на гитаре, Алеша поет таборные песни то по-русски, то по-цыгански. Ася подпевает, как настоящая цыганка. Родион Ильич подтягивает басом и оглаживает бороду, одному ему видимую. Да еще подмигивает мне: видал? Слыхал?

Вот как круто развернулась жизнь Родиона Ильича. Церковным хором командовал, на коленях холуйствовал перед кадильным дымом, а теперь Побейбогом стал, трудом и песней славит удаль, ум, свободу, степь широкую, горы высокие, время наше.

Эх, Быба, Быба!..

Как уйдешь от таких людей? Готов до рассвета просидеть.

Хмель вдруг увидел стенные часы, испугался:

— Ух ты! Пора на боковую... Пойду я.

А сам ни с места. Смотрит на Алешу, умоляет глазами: не пускай!

— Будь здоров, Хмелек! — говорит Алеша.— Покойной ночи! Гудок не проспишь?

— Да разве в «княжеских хоромах» проспишь? Братва и мертвых подымет.

Мне не по дороге с Хмелем, но я тоже подымаюсь.

— А ты куда, Саня? — удивилась Варя.— Я вам с Алешей на сеновале постель приготовила. Оставайся!

Не надо меня долго упрашивать. Остаюсь!

На улице брешут собаки — Хмеля провожают.

На Магнит-горе бухают взрывы — ночная смена начала добычу руды.

А мы с Атаманычевыми все еще бражничаем.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Потягиваю густую и холодную брагу и внимательно разглядываю давно мне приглянувшуюся картину. На небольшом куске холста художник ухитрился изобразить и жаркую степь, и кусочек полуденного неба, и верстовой столб с короткой тенью, и двурогий курган, заросший ковылем, и тройку коней-зверей, увешанных бубенцами и колокольчиками, и тарантас с плетеным кузовом, и дорожную пыль, и ямщика. Самое замечательное в картине — ямщик: безбородый, цыганского склада богатырь в кожаных рукавицах. В одной руке у него ременные вожжи-струны, в другой — рожок. Гудит, трубит ямщик, предупреждая встречных и поперечных, эй, разойдись, раздайся, степной народ, уступи шлях-дорогу опасному молодцу!

Птица-тройка скачет, несется по равнине. Смотрю на нее, и мерещится мне перезвон бубенцов-колокольчиков и стук копыт. Кони старинные, гоголевские, а ямщик похож на Атаманычева.

— Что это за картина, Родион Ильич?

— Был тут года два назад художник из Москвы. Славный малый. Гришей зовут. Старинные песни здорово поет. Лесовик. Грибы мастер искать. По-

дружились мы с ним. Я ему рассказывал про историю с тройкой, тарантасом и динамитом, а он малевал.

— Какой динамит, Родион Ильич? Какая тройка?

— Пять лет назад я непоседливо, по-цыгански жил на уральской земле. Одна нога на закате, другая на восходе. Завтракал в горах, вечерял в долине. Динамит я доставлял тройкою из Белорецка на гору Магнитную. Скачешь по большаку навстречу башкирским обозам, базарным ходокам, геологам, изыскателям, всякому заводскому и шахтерскому народу и в рожок дудишь: посторонись, кто с белым светом не желает распрощаться! Порядок я строго соблюдал. Нельзя со взрывчаткой запанибрата. Динамитом мы взрывали шпуры на Магнит-горе, до ее сердца добирались: долго ли оно стучать будет? Вот и все. Ничего интересного.

Атаманычев отодвинул от себя чашки и тарелки, разгладил ладонями морщинистую скатерть.

— С малых лет попал я в артель мастеровых-богомазов. Там и вырос. Женился. Сына и дочь на свет произвел. Овдовел. Бродили мы по земле русской и вкалывали во имя божие: кресты воздвигали на купола церковные. Крыши крыли, иконостасы обновляли, ангелов и архангелов, по трафарету или на память, смотря по цене и настроению, рисовали. Большая нужда была в ту пору в церковных верхолазах. От Москвы до Волги ставил я кресты. К тридцати годам застрял в Петрограде. Встретил голубоньку, Машеньку. Не погнушалась она вдовцом и двумя довесками, пошла за меня. А тут как раз война грянула, и забрили мужика. Осталась Маша с чужими детьми на руках. Ничего, вынянчила. И мужа дождалась. Целехонький, слава богу, вернулся. Опять стал работать по своей специальности. В Петрограде, пока шла война, все церкви обветшали.

В хижинах и дворцах люди расколоты на красных и белых, на большевиков и меньшевиков, на эсеров и на каких-то кадетов, а я ползаю себе на верхотуре, чиню старые крыши, на черные кресты позолоту кладу. Миллионы людей к плечу Ленина притулились, четырнадцати державам, напавшим на Россию, по мордасам надавали, а я нашел себе приют и ласку под крышей церкви Захария и Елисаветы, стал регентом, а потом старостой.

Ты, небось, только читал про диспуты наркома Луначарского с митрополитом Введенским. А я слушал их с раскрытым ртом. Слушал да на ус наматывал безбожные речи. Убедил меня нарком, что небо пустое. Перестал я верить в бога. Бросил церковь и пошел на Путиловский. Ставил громоотводы на трубах. Собирал и оживлял мостовые краны. И на церковные купола взбирался, развенчивал их святость. Сам ставил кресты, и самому пришлось снимать... Потом меня, как питерского рабочего, откомандировали на Турксиб. Приделал я колеса к своим сапогам-скороходам, Машу — в одну руку, детей — в другую и покатил. Там, на Турксибе, и схватил меня за жабры ловкий вербовщик. Должность первопроходчика пообещал. Сказал, что мне суждено положить первый камень в фундамент великого города. Вот так я и попал сюда.

Все мне первому доставалось в Магнитке: и холодный дождь, и лютый ветер, и зуб мамонта, и жарынь костра на привале, и магнитный камень, взрывом крещенный.

Недолго я динамит таскал. Надоело туда-сюда по знакомому большаку мотаться, одну-разъединственную песню в рожок выдувать: берегись да берегись! Скоро и самые пугливые привыкли к моей грозной тройке, лениво, да еще с усмешкой, уступали дорогу. Какая уж тут работа!

Переметнулся я с горы в дикую долину, поближе к Урал-реке. В самый раз явился, до шапочного разбора. Тут, на берегу, у вольного водопоя, лихой прораб Хлебников, начальник без кабинета и без чванства, задумал электростанцию-времянку поставить. К нему я и пришвартовался. На все руки был мастером: рыл, строгал, рубил, клепал, рычажил, завинчивал, наряды подписывал... Ну, отгрохали мы времянку, смонтировали честь по чести оборудование. Провода натянули. «Давай включай, Родион!» — скомандовал Хлебников. Взялся я за рубильник и включил... Да будет свет! И засияла Магнитка лампочками Ильича. Сам бог, наверное, позавидовал. Поглядывал на нас и злился. «Ишь, такие-сякие, чего сотворили! Я только похвалялся дать людям свет, а вы... Творца-создателя опозорили»...

Визжит дверь сарая. На его пороге показывается Ася. Мокрые волосы распущены, лежат на плечах. Платье, надетое прямо на голое тело, плотно облегает фигуру. Девка стоит на пороге, нахально смотрит на меня, спрашивает взглядом: ну как, еще не соскучился? Опять за свое взялась, балабошка!

До глубокой ночи засиделся я у Атаманычевых. Оставляли ночевать — не уговорили.

Иду по верхней тихой улице. Во всем поселке ни единого огонька. Потемнели окна и в доме Атаманычевых.

Дошагал до конца улицы и тут слышу позади себя мягкий топот и шелест каленого ситца. Оборачиваюсь — Ася!

Подбежала и, тяжело дыша, запросто, будто мы с ней сговорились, взяла меня за руку.

— Скороходный ты, хлопец. Насилу догнала.

Что ей надо? Забыл я чего-нибудь в их доме? Сказать что-то хочет?

— Зачем ты, Ася?.. Почему?

— Пожалела тебя, сиротинку. Провожу до полдороги.— Прильнула к моему плечу и тихо засмеялась.— Не верь! Себя пожалела. Разве заснешь в такую ночь? Посмотри, сколько звезд! Все разговаривают, каждая в душу просится.

Стою посреди улицы, смотрю на Асю, слушаю ее и не знаю, честное слово, не знаю, что мне делать: то ли посмеяться, то ли уйти молча, то ли пристыдить настырливую девицу.

— Ты что, Саня, все за старый гузырь держишься: боишься меня?

Молчу. Ни живой, ни мертвый. Ни свой, ни чужой.

— А может, ты самого себя боишься?

Ася покрепче прихватила мою руку и положила ее на свою талию. Себя, горячую, обняла моей вялой, холодной рукой.

— Пойдем, боягуз! Цел и невредим останешься. Тихо, не рыпайся. Вот так!.. Хорошо тебе было у нас?.. Так со мной еще лучше будет.

— Послушай, Ася!..

— Слушаю, миленький, да не слушаюсь! В моей ты сейчас власти. Чего захочу, то и сделаю. Возьму вот да и умчусь вместе с тобой на Марс. Ну и житуха будет! На всей планете только ты да я. Все твое и все мое. Ни с кем и ничем не надо делиться.— Подняла голову к небу.— Где же ты, мой ангел, мой похититель? Спустись на землю, укради!.. Если ангелы перевелись на небе, я и на черта согласна. Был бы кудрявый, бедовый, да на Голоту похожий... Эх-ма, пропала нынче мода девок красть!

Не хотел я смеяться, а пришлось. Обрадовалась Ася.

— Ну вот, зашевелился, слава богу! Теперь ни чертей, ни ангелов мне не надо.

И пошла расписывать, напевать, как давно и крепко любит Саньку, как души в нем не чает. Никого

до сих пор не любила. Гордая была, неприступная, ни на кого из парней не смотрела. Теперь живет, как в огне, всякий стыд потеряла, ничего не жалеет. Долго она еще вокруг моей ненаглядной персоны огород городила. А дорога тем временем убавлялась. Прошли «Шанхай». Все дома, хаты и землянки остались позади. Побрели косогором, по жесткой, кусачей траве, по каменной россыпи. Тропу потеряли и попали на какой-то бугор, потом спустились куда-то. Исчезли огни: и заводские, и строительные, и барачные, и соцгорода. Темно, сыро, тихо. Только звезды роятся над нами.

Ася умолкает. Вглядывается в меня, ждет, что я скажу.

Нечего сказать.

Выпустила мою руку, тихо заплакала, опустилась на землю.

Жаль мне ее стало. Присел рядом. Закурил. Положил руку на ее голову. Вздрогнула, еще горше заплакала.

— Нравишься ты мне, Ася. Наговариваешь на себя, а все-таки хорошая.

— Хорошая?..— Она вскинула голову.— Хорошая, да? Ну, еще скажи!

— Да, хорошая. Если бы я тебя встретил года полтора назад...

— И теперь не поздно, Саня. Хорошая, ей-богу хорошая! И еще лучше буду, вот увидишь.

— Поздно, я не двуглавый орел. Одну Ленку люблю.

— Любишь? Вы ж поссорились, разошлись.

— Помиримся. Сойдемся.

Ася отчаянно, опять слезным голосом закричала:

— Ладно. Я согласна на второе место.

— Что ты говоришь?

— А что мне остается?

— Вся жизнь у тебя впереди. Завоюешь свое счастье... Хмель на тебя заглядывается.

Ася отталкивает меня, садится поровнее, натягивает юбку на коленях.

— Уговорил!.. Все. Завязала. И не посмотрю больше в твою сторону.

Но она тут же обхватывает мою шею и прохладными губами прижимается к моим губам.

— Вот и все, попрощалась.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Больше тысячи человек собралось под брезентовым куполом цирка-шапито. Со всех участков Магнитки слетелись ударники! Кумачовые полотнища опоясывают железные ребра циркового каркаса: «Да здравствуют богатыри пятилетки!», «На твоем рабочем месте решаются судьбы мира!», «Товарищи, друзья, братья, магнитные люди, будьте достойны великого времени!»

Мы будем достойны, а вот Быбы...

Остро пахнет конской сбруей, дегтем, зверями. Доносится львиный рык и шарканье хлыста о прутья клетки. Укротитель усмиряет разбушевавшегося «царя зверей». И на него раздражающе подействовал голос Быбы.

Провалилась с треском затея Быбы с парадом ударников. Пришлось ему устраивать обыкновенный слет.

Быба торчит на трибуне и, не отрывая глаз от бумаги, бубнит:

— ...Должны поднять энтузиазм на новую высоту!.. Должны повысить темпы!.. Должны равняться!.. Должны быть на уровне!.. Обязаны идти в ногу!.. Должны поднимать!..

Болтай для тех, кто тебя еще не раскусил, а я займусь чем-нибудь другим.

Докладчик все еще шелестит бумагами, сыплет цифрами. Не понимает, что несет. Сам себя не слышит. Ему сейчас можно подсунуть «Боже, царя храни!», не заметит, прочтет.

Соревнование — это организованный, умный, горячий, без оглядки на время, на усталость радостный труд, жар души, чистые руки, чистая совесть. Быбочкин от всего этого удален за тридевять земель. Он и соревнование несовместимы, как огонь и вода. Все, к чему он прикладывает свою руку, оказенивается, отдает мертвечиной, загрязняется, летит кувырком. Ударников с трибуны он расхваливает, называет хозяевами страны, творцами жизни, а на самом деле считает болванчиками, пешками: и так и этак можно нас шпынять, все стерпим, таковские. А себя он воображает осью, вокруг которой вертится Магнитка.

А ведь кому-то нужен такой Быба, шут гороховый, и его пустопорожняя затея. Кому? Не знаю. Только не нам. Не Магнитке. Не государству. Не партии. Тем, наверно, кто дело подменяет парадностью, кто любит шуметь и греметь, втереть очки. Ленину бывало тошнехонько от подобного «коммунистического вранья».

Верховой ветер бушует над цирком: хлопает брезентом, надувает его, как парус в шторм.

Там, где обычно размещается оркестр, расположился президиум слета: Губарь, Гарбуз, Леня Крамаренко, четырнадцать человек. Пятнадцатый я. Не засиделся я на почетном месте. Увидел на галерке, под самым куполом, клюющего носом Алешу и быстренько перебрался к нему.

— Ты что, дрыхнуть сюда пришел?!

Алеша встряхнулся, протер глаза, улыбнулся.

— Да разве я один дрыхну? Всем скучно слушать граммофон. Давай заорем: «Регламент!..» Или свистнем.

— Не стоит. Себе дороже. Потерпи!

— Сил нет. Наперед знаю, что он скажет. Засекай!.. На основе великой нашей политики...

С трибуны, как эхо, доносилось:

— ...На основе великой нашей политики...

— Слыхал?.. Сейчас всю молитву до конца прочтет: в борьбе, под руководством...

Быбочкин отхлебнул глоток воды, вытер костяной лоб, снова уткнулся в бумаги.

— ...В борьбе...— и дальше слово в слово повторил все, что подсказал Алеша.

Мы засмеялись.

Председатель стучит карандашом по графину. Распорядитель с красной повязкой на рукаве устремляется к нам на галерку, грозно шипит:

— Безобразие! Мешаете работать!

Узнав меня, он сразу смягчился. Изобразил милейшую улыбку.

— Тише, пожалуйста!

Рядовых ударников можно приструнить без церемоний, а на члена президиума, на знатного человека, на «историческую личность» нельзя шуметь, если он даже и провинился. Вот оно как!

Выбираемся с Алешей через верхний ход на улицу. Гудит воздуходувка. Кажется, все ветры мира бушуют в ее чреве. На Магнит-горе полыхают красные облака, гремят взрывы. Все небо в ярких чистых звездах — летняя ночь выдает свою плавку.

— Хорошо!

Стою на площадке высокой железной лестницы, прилепленной к шатру цирка снаружи, и взахлеб

пью свежий воздух да подбираю из сияющих созвездий четыре самые дорогие для меня буквы. Так и этак примериваюсь к Большой Медведице и к прочим неизвестным мне звездам. По всему небу шарю взглядом и нахожу, что надо.

Лена! Лена! Лена!

Где она теперь? Что делает? Думает ли обо мне? Соскучилась? Ах, гений! Помирись! Возвращайся! Буду любить тебя в тысячу раз сильнее. Умнее. Бережливее. Нежнее. И всегда буду бояться потерять.

— Ну, Саня, о чем ты?

— Что? — Я даже вздрогнул. Испугал меня Алешка.

— Я спрашиваю, о чем ты размечтался?

Перевожу взгляд со звезд на лицо Алешки и думаю: сказать ему или не сказать, как люблю Ленку, как напрасно терзался ревностью, как ни за что ни про что обижал ее и как, дурень, подозревал его в покушении на мое счастье. Почему бы и не сказать? Друг все должен знать о тебе, плохое и хорошее. Все поймет. Странно, что мы до сих пор не говорили с ним о Ленке. Столько обо всем болтали, а тему любви с опаской обходили далеко стороной.

Скажу!

Собирался начать издалека, исподволь, но схватил быка за рога. Не ждал от себя такой прыти.

— Алеша, ты все еще любишь ее?

Он был застигнут врасплох. Но не растерялся. Прямо посмотрел на меня и, недолго думая, сказал:

— Раньше не любил, а теперь...

— Не любил?.. Как же это?..

— А вот так. Она ко мне всем сердцем, а я... с прохладцей. Не увидел ее... настоящую. А когда разглядел как следует, уже было поздно.

Еле сдерживаю бушующее во мне ликование. Вопросы исчерпаны. Разговор окончен раз и навсегда. Все мне ясно и теперь и на сто лет вперед. Молчи и ты, Алеша! Умоляю, будь человеком!

Он молчал, глядя вниз, в темную пропасть. Швырнул в нее недокурок, вернулся на галерку.

А я стоял на железной площадке и, задрав морду к звездному небу, беззвучно ржал. От радости, что мой семейный горизонт полностью очистился от туч и облаков. Сочувствовал Алеше, жалел его, но все-таки радовался. Хорошо! Очень хорошо, что он не сумел сразу разглядеть Ленку.

Теперь даже Быба не способен замутить мою радость. Распахиваю полотнище и, как триумфатор, вхожу в цирк.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

После окончания слета ударников Гарбуз взял меня под руку, вытащил на улицу, сказал:

— Вызывают в Москву, к Серго. Готовлюсь к большому разговору. Завтра вылетаю.

— Наконец-то! А я уже стал подумывать, не затерялось ли ваше письмо. Дошло!

— Да, заждался ответа!.. Прогуляемся, Саня? Поговорим?

— С радостью, Степан Иванович.

Улица за улицей — и все бараки: дощатые, вросшие в землю, замурзанные, в потеках, многооконные, многотрубные, поделенные на семейные клетушки и громадные, как вокзальные залы. Скопище бараков. Раньше я их почти не замечал. Бараки и вонючие, с отдушниками, на полдюжины дверей будки. Для мужчин с одной стороны, для женщин — с другой. И еще рундуки, переполненные зловонным мусором. В такой вечер, как сегодняшний, теплый и тихий, особенно трудно дышать.

Приглянулась нам скамейка, врытая в землю около барака. Сели. Гарбуз набил трубку и начал.

— Ну, Саня, давай вместе подумаем: как наша Магнитка должна двигаться дальше, во второй пятилетке.

— А чего думать? Вы уже в своем письме все досконально изложили.

— Нет, Саня, не все. Многое еще надо сказать наркому о наших бедах. Надо, а язык деревенеет. Боюсь, что не так истолкуют мою тревогу. Серго поймет меня, а вот другие... Магнитка — не просто строительство завода, а символ социалистического творчества. Столица пятилетки. На весь мир прославилась. Нелегко критиковать любимое детище народа. Трудно призывать победителей взяться за ум.

Правильно! Раньше, до приезда Антоныча, до письма Гарбуза, я бы не раздумывал над такой проблемой. Занозисто, со свирепым энтузиазмом, взвившись на дыбы, мог раздолбать подобного критикана: «Эх, ты, паникер! Перестраховщик. Собственных успехов испугался. Горе от победы. Оглянись на Магнитку! Четыре года назад была степью, а теперь столица. Отгрохали электростанцию, Коксохим, три домны, рудодробильную фабрику, плотину, Магнитное море, сотни километров железных дорог, депо, мастерские, мартеновские и прокатные цеха. Во второй пятилетке еще больше отгрохаем. Переступим через все трудности. Да, у нас тьма-тьмущая всяких недостатков и прорух. А где их нет? Видали мы всякое. Ни трухлявый барак, ни помойная яма, ни конина не заслоняют мне великое будущее. Вкалываю на паровозе и на строительстве четвертой домны да любуюсь, как рождается новый мир, в котором вдоволь будет и хлеба, и молока, и мяса, и всякой всячины».

Долго бы я еще вот этак трезвонил.

— Да, надо взяться за ум,— говорю я.— Много мы сделали, на удивление всему миру, но не использовали всех огромных возможностей, заложенных в нашем строе. Не бережем народную копейку. Не в полную силу трудимся. Плохо распоряжаемся. Надо строить и воспитывать людей. Пусть домны не заслоняют человека.

С мрачной торжественностью, с горькой убежденностью повторил я то, о чем давно тревожились Гарбуз и Антоныч. Раскумекал!..

Вот каким тихоходом, тугодумом я оказался. С утра до вечера пел: «Будем, как солнце»,— а сам...

— Нет, Саня,— резко, будто возражая мне или каким-то своим мыслям, сказал Гарбуз,— мы и дальше будем строить домны, мартены, электростанции. Они нужны нам, как воздух. Без них нас слопают с потрохами. Мы получили передышку и должны ею воспользоваться. Германский фашизм вооружается каждый день, каждый час, каждую минуту. Сегодня он поджег рейхстаг, а завтра попытается спалить весь мир. Схватка неминуема. И это будет война железа, свинца, алюминия. Война машин, ползающих и летающих.

Я показал на приземистый, многотрубный барак.

— А как быть с этим?.. С хлебом насущным? С клубами? С культурой? С одеждой? С таким багажом не навоюешься.

— Верно! И это надо делать и другое, а силенок и средств не хватает. Вот в этом и загвоздка. Просчитались, когда объявляли, что тридцать третий станет последним годом трудностей. Попали в самый разгар нехваток. На складах Магнитки хоть шаром покати: орсовские пройдохи выбрали и разбазарили все фонды. На исходе даже конина. Дешевеет червонец. Каждый день растут цены на базаре.

Свирепствует дизентерия. Походные вошебойки кочуют от барака к бараку. Выгребные ямы и отхожие места не чистим. Дышим ядовитыми газами коксовых батарей и домен. Больниц не строим. О водопроводе и канализации думать перестали. Строительство соцгорода законсервировали.

Степан Иванович опустил голову, глубоко и тяжко вздохнул.

— Трудно говорить правду о Магнитке. И еще труднее не говорить. Задохнусь, если буду молчать. Тебе проще, Саня.

Я удивился.

— Почему, Степан Иванович?

— Возраст и характер не тот. Да и жизненный опыт другой. Ты, бывший житель Собачеевки, не можешь не радоваться нашей жизни. И это правильно. Но тебе нельзя только радоваться. И это тоже правильно. Не имеет права коммунист смотреть на жизнь исключительно глазами бывшего жителя Собачеевки и подсчитывать наши успехи от времен царя Гороха. Должен во всем разбираться с точки зрения своей идеологии, а не с позиции «раньше было во сто раз хуже». В «Манифесте Коммунистической партии» ясно сказано, что в новом социалистическом обществе накопленный труд — это лишь средство расширять, облегчать жизненный процесс рабочих. Таков закон победившей революции. А мы?.. Полностью и досрочно выполнили принятую программу индустриализации, накопили уйму труда. Страна сильнее, богаче, а хлеб стал «валютой валют», голод на мануфактуру, на мясо, на молоко, на соль, на спички. Что-то с чем-то не совпадает.

Гарбуз поднялся, посмотрел на часы.

— Вот, брат, с каким настроением и мыслями еду в Москву. Все расскажу Серго, чем мучаюсь. Вместе подумаем, как справиться с бедой Магнитки и вообще.

Из ближайшего барака выскочил босой, в одном белье мужик. Постоял на крылечке, лицом к Магнит-горе, сделал свое дело, шумно зевнул, поскреб кудлатую голову и направился к нам.

— Хлопцы, на табачок не богаты? — спросил он и густо дохнул самогонным перегаром.

Степан Иванович отсыпал на его темную ладонь махорки, оторвал край газеты, подождал, потом зажег спичку. Смачно раскуривая толстую цигарку, бородач компанейски подсел к нам.

— Вечеруете, братцы? Или соображаете, где раскопать бутылку? Пара гнедых — серебро, а тройка — чистое золото. Берите в пристяжные!

Эх, дядя!..

Через несколько дней после отъезда Гарбуза меня вызвал к себе Быбочкин и начал разлюбезную беседу. И рад меня видеть. И здоровьем и настроением интересуется. И труд мой нахваливает. И тревожится, одет ли я и обут, как положено знатному человеку. И не отгрохал ли свой Магнитострой литературы? Если бы он вот этак встречал каждого рабочего!.. Облюбованному, выставочному образцу легче угождать, чем заботиться обо всех.

Муторно на душе. Знаю, кто протягивает руку, и не отдергиваю свою. Все его слова не стоят и выеденного яйца, а я терплю. Надо мне заглянуть в душу Быбе.

— Слышал я, собираешься жениться? Давай, держава ждет потомства! Для женатого твоя келья тесновата и бедновата. Приготовил я семейные апартаменты. Три комнаты со всеми причиндалами. Хоть сейчас перебирайся!

— А не многовато ли это для двоих — целые апартаменты?

— Заслужил! Как аукнется, так и откликнется. Страна умеет ценить своих героев.

Вот он какой добренький за счет народа! Интересно, чем он еще козырнет? Спрашиваю:

— А что скажут люди, живущие в бараках и землянках, когда узнают, что я переселился в хоромы?

— Брось скромничать, потомок! Большому кораблю — большое плавание.

— А как же совесть? Равенство и братство?

— Вон куда тебя потянуло? По уравниловке затосковал? Придется кое-что разъяснить. Было время, когда мы законно насаждали уравниловку и в производство и в быт. Партмаксимум для всех коммунистов ввели, невзирая на заслуги и способности. Не признавали дисциплины, начальства, авторитетов: и чернорабочий, и слесарь, и мастер, и директор были важными персонами. Хлебали тюрю из одной чашки. Колхоза чуждались как низшей формы социалистической жизни и превозносили сельскохозяйственные коммуны. Левацким загибом страдали. Начальство вправило нам мозги. Отменило партмаксимум. Ввело единоначалие, железные приказы, красные и черные доски, премии, награды, дополнительные пайки. Теперь мы индивидуально, а не скопом взбираемся на верхотуру.

Отмалчиваюсь. Пусть думает, что убедил.

— Уяснил, потомок?.. Вот и хорошо. Ордер на квартиру ты получишь из моих рук уже там, в горсовете! — Длинное, с тяжелым подбородком лицо Быбы становится торжественно значительным.— Передвинули меня,— говорит он и смотрит на люстру, в потолок, и еще куда-то выше.— В старосты просватали. Отец города, мэр, так сказать!

Он потупил очи, выжидает, пока я приду в себя от ошеломляющей новости и сделаю то, что надо делать в подобных случаях.

— Поздравляю! — говорю я.

— Спасибо, дружок! Свято место не бывает пусто. Ищу достойного кандидата.

Он оборвал себя и с удовольствием, привольно откинулся на спинку кресла. Полировал белыми пухлыми ладонями дубовые подлокотники и внимательно вглядывался в меня, прикидывал: достаточно ли крепко ударил в мою голову хмель надежды выдвинуться, занять «свято место».

— Ну, потомок, что ты скажешь по этому поводу?

Я не отвечаю, как он наверняка рассчитывал, ни смущением, ни благодарным взглядом, ни словом, соответствующим моменту. Молчу.

Быба не верит в мою неподатливость. Он считает, что нет человека, которому не хотелось бы выдвинуться, обогнать ближнего и дальнего, растолкать тех, кто не уступает дорогу.

— Ну? — многозначительно повторяет он.

— В огороде бузина, а в Киеве дядько.

Быба рассмеялся.

— Да ты, оказывается, еще и умница.

— От умницы слышу! — отпарировал я.

Притворяюсь на полную железку. С такими позволительно быть лукавым, хитрым, себе на уме. Ловить мошенников можно и нужно любым способом.

— Нашла коса на камень! — Быба еще заразительнее, еще беспечнее смеется. Ему кажется, он видит Голоту насквозь. Садится рядом, объявляет: — Вот что, друже: я решил выдвинуть твою кандидатуру на мое место. Пройдешь! Проголосуют! Ну, а теперь поедем ко мне домой. Обмоем.

Ну и ну! Вот так квартирку отхватил! Четыре комнаты. Линолеум. Масляные стены. Двери под дуб. Медные ручки. Шелковые шторы, индивидуальный водопровод. Индивидуальный нужник. Ванная ком-

ната с нагревательной колонкой. Казенная дубовая мебель. Нарпитовская клейменая посуда с угощениями. Все есть у Быбы! Колбаса вареная, копченая, чайная, полтавская, московская. Мясной, покрытый жиром холодец. Копченая, соленая, свежая рыба. Жареный поросенок с гречневой кашей. Пищи на двадцать молодцов, а мы пируем втроем: гость, хозяин и его половина, бабища пудов на восемь, Фекла Феоктистовна.

— Настоящая скатерть-самобранка! — говорю я.— Столько добра в бедной Магнитке!

Ни капельки не смущается Быба. С удивлением смотрит на меня.

— А тебе разве ничего такого не перепадает от Бондаря? У него есть фонды. Специально для нашего брата. Я черкну ему, он внесет тебя в список.

И он тут же, не откладывая, вырвал из блокнота страницу, написал записку и вручил мне. Я сложил ее вчетверо, положил в карман. Пригодится!

Быба поднимает стакан.

— Ну, а теперь давай выпьем. За дружбу!

Второй тост был за здоровье хозяйки, третий — за продолжение рода Голоты.

— Люблю я тебя, друже! — Быба притянул меня к себе, чмокнул мокрыми губами.— Вместе в гору полезем, потомок!

В какие только одежды не рядятся бибы, чтобы получить привилегии! Летом у нас выступал Ройзенман, председатель Уральской комиссии по чистке партии. Он говорил, что в Магнитогорске в ряде ячеек принимали в партию людей, не изучая их, не интересуясь их прошлым, не работали над воспитанием коммунистов, забыли слова Ленина о том, что показных членов партии нам не надо и даром. В результате огромный отсев из организаций, мертвые души, засорение отдельных ячеек чужаками.

Трудное это дело — отличить чужака от своего. Свой человек прямодушен, ничего не таит за душой. Открыто страдает, видя наши промахи. А чужак всякому безобразию находит оправдание, клянется в преданности и верности, призывает преодолевать трудности и временные лишения во имя великого будущего. Застраховав себя пустыми восклицаниями, он только и делает, что добывает блага, удовлетворяет личные все возрастающие потребности хапуги. Удастся ли нам выявить и вычистить всех бибочкиных? Вот какие мысли проносились в моей голове, пока Быба облизывал меня жалом.

Бибиха, красная, распаренная от вина, вышла из-за стола.

— Пышка, ты куда?

— Гуляй себе на здоровье, Петруша, а я поеду к Танечке.

Бибу, оказывается, зовут Петрушей. Не подходит! Его надо окрестить как-нибудь... разэтак. Ох, Быба!..

Кажется, я начинаю пьянеть. Как бы ни доигрался с огнем. Чего доброго, привыкну жить в хоромах, сладко есть и пить, подпевать благодетелю.

— Ты видел Гарбуза перед отъездом? — спросил Быба, когда мы еще выпили по одной

Внутренний голос сейчас же предупредил меня: «Вот оно, начинается! Расплачивайся, потомок, за музей и ласку!»

— Видел,— сказал я.

— Ну и какое у него было самочувствие?

— Хорошее. Степан Иванович не умеет унывать.

— Странно! Не было у него оснований для бодрячества. Подрубил сук своей бодрости.

— Не понимаю.

— Ужасное письмо он послал наркому. Отговаривали его хором, чуть ли не всем составом бюро — не послушался. Смертный приговор самому себе подписал.

Быба отхлебнул из стакана, достал золотистую рыбешку из консервной банки, положил на тонкий белый ломоть хлеба, полюбовался бутербродом и отправил в рот. Прожевал, облизал губы и продолжал:

— Почему он состряпал свое послание теперь, когда весь мир восхищается подвигом строителей Магнитки? Почему ему бросаются в глаза одни промахи, недостатки? Дрогнул! Не выдержал! Подпал! Потому и критикует с позиций кочки, той самой, о которой недавно хорошо сказал Горький. Трудности нашего роста показались ему черт знает чем. Паникер! У страха глаза велики. Не будь теперешних затруднений, не было бы и грандиозных успехов. Было бы совсем другое: жить или погибнуть Советской власти. Не зря объявлена чистка партии. Мы очищаемся от маловеров, нытиков, оппортунистов всех мастей и от тех, кто неправильно воспринимает наши трудности и разлагает великое единство. Кого поучает Гарбуз? Разве народный комиссар меньше его кумекает, как надо поднимать Магнитку?

Тошно слушать разглагольствования Быбы. Хватит! Молчать нет сил.

— Зачем вы мне все это говорите?

Быба отодвинул стакан с недопитым вином, натянул на красное лицо маску трезвости.

— Разъясняю, дорогой мой, обстановочку...

— Но при чем здесь Гарбуз?

— До сих пор ничего не понял?.. Два битых часа растолковываю ему, откуда берутся гниды, а он... Хорошо, еще кое-что добавлю. Недавно я взял у Гарбуза для ознакомления одну интересную книжицу. Сейчас я тебе ее покажу.

Быба принес из другой комнаты пухлую, затрепанную книгу.

— Вот, полюбуйся! Жан Поль Марат! «Цепи рабства». Читай строки, жирно подчеркнутые Гарбузом.

Читаю и ничего не понимаю. С каких это пор Марат стал опасным для нас? Почему Гарбуз не может увлекаться Маратом? Сто лет назад Белинский писал, что начинает любить человечество по-маратовски.

Быба взял книгу и, перелистывая туда и сюда страницы, стал читать отрывки из разных мест, вкладывая в слова Марата какой-то другой смысл.

— «Когда тирания устанавливается лишь исподволь, то чем она тяжелее, тем менее ощущают ее народы... видя государя правящим единовластно, они начинают считать именно его всем в государстве и кончают тем, что самих себя считают ничем... Охваченные страхом, обольщенные надеждами или же развращенные жадностью, историки вовсе не внушают нам ужаса перед тиранией. Они неизменно восхваляют деяния государей, если деяния эти велики и дерзки, как бы пагубны они ни были для свободы. Они всегда превозносят до небес преступные деяния, заслуживающие самой ужасной казни, и усердно распространяют заповеди порабощения».

Быба еще и еще «уличает» Гарбуза:

— «Сбитые с толку словами, люди не испытывают отвращения к наиболее гнусным вещам, приукрашенным красивыми именами»...—читает Быба отчеркнутое место.— Ясно тебе, дорогой мой, куда стреляет Гарбуз?

— Куда?

— Не понял?.. Посмотри надписи на полях! Сюда глянь: «Хм!», «Н-да!», «Вот-вот». Расшифровал?

— Ну и что? Все правильно. Это же Марат!

— Простоват ты, хлопче!.. Логика критиканства



толкает на такое... Вчера Гарбуз посмел нагло разговаривать с наркомом, а завтра посягнет... черт знает на что способен такой необузданный критикан, революционер из-под станка, перевоспитанный за океаном американским образом жизни.

Я не стал дальше слушать. Вскочил, хлопнул дверью.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Жду плавку.

Степан Иванович стоит на горячих путях и помолодевшими, сияющими глазами вглядывается в меня. Вернулся! Наконец-то.

— Здорово, механик. Ну, как жизнь?

— Понемножку. Как там Москва?

— Сейчас расскажу.

Он поднялся на Двадцатку, отобрал у Непоцелуева лопату.

— Отдохни, друг, а я покочегарю.

Вася взял масленку, спустился вниз, а Гарбуз занял его место. Все он умеет делать: сгоревшую фурму заменит, литейную канаву разделает так, что любо глянуть, закозленную глыбу чугуна расколет молотом. Интеллигент с золотыми руками мастерового.

Распахнул шуровочную дверцу и, защищаясь от ослепительного пламени поставленной на ребро лопатой, наметанным глазом кочегара осмотрел жаровую подушку. Порядок! Захлопнул дверцы, включил инжектор. С удовольствием послушал, как журчит вода, и сел на откидное кресло. Радость светится в его взгляде, в каждой морщинке, в каждом слове и движении. Ясно, все хорошо, но я жажду подробностей.

— Как съездили, Степан Иванович?

— О' кей! Прекрасно.

— Рассказывайте!

— Не знаю, дружок, с чего и начать. Столько всего!..

— Как принял нарком ваше письмо?

— Ну, а ты как думаешь?

— Думаю, нормально. Серго не из тех, кто боится правды.

— Но и не из тех, кто не принимает ее близко к сердцу,— быстро, энергично сказал Гарбуз, и его

сияющее лицо омрачилось.— Тяжело переживает наши беды. Как я только переступил порог его кабинета, он схватил меня за руку, потащил к столу, заваленному письмами. «Вот, Степан, сколько у тебя единомышленников. Пишут из Донбасса, с Урала, Сибири. И все бьют в одну точку: строим дорого, омертвляем капитал, разбазариваем материалы, обросли бюрократами, тонем в канцелярских бумажках, медленно повышаем производительность труда, страдаем комчванством, побеждаем на копейку, а хвастаем на целковый. Больше всего досталось вам, магнитогорцам. В каждом письме — крик души. Импортное оборудование киснет и ржавеет. Нет дорог, бань, дворцов культуры, клубов. Столовых мало, да и те заросли грязью, кишат паразитами, больше всего двуногими. В хлебных лавках обвешивают. Отделом рабочего снабжения заправляет шайка грабителей. Канализации нет. Ассенизационный обоз работает плохо. Дух отхожих мест и помоек сливается с ядовитыми доменными газами. Позор! Позор! Позор!» — Серго кричал, потрясая кулаками. Позор и преступление!..— Так он разволновался, что пришлось врача вызвать.

Светлее и светлее становилось у меня на душе от далеко не веселого рассказа Гарбуза. Все не так получается, как хотел Быба. Что теперь скажешь ты, клеветник, карьерист, доносчик?

— Отдышавшись, Серго позвонил в Магнитку, приказал Губарю немедленно выехать в Москву и созвал совещание, назначил специальную комиссию. Вечером увез меня к себе домой и до глубокой ночи допытывался, чем и как можно помочь нам. И утром Магнитка была у него на первом месте. Целую неделю не выходил я от него, помогал готовить приказ. Не вернется сюда Губарь. Хороший мужик, здорово поработал. Теперь не тянет. Притерпелся к недостаткам. Не видит и не слышит болячек Магнитки. Все представляется ему, как и многим,— о'кей. Кончилось хмельное время. Придется Якову Семеновичу трезветь и браться за ум на новом месте. Сильно разгневался на него Серго, но доверия все-таки не лишил. Послал поднимать Азовсталь. Прощаясь, Серго сказал: «Скоро приеду в чудо-город, оскорбленный задаваками, прохвостами, дураками и шапкозакидателями. Выправим, надеюсь, положение. А тебе спасибо за правду и критику. Вовремя ударил в набат, научил уму-разуму наркома. Почаще да погуще надо приводить в чувство вот этаким манером зазнаек всех мастей, от десятника до члена правительства».

— Так и сказал?

— Что ж тут удивительного? Серго беспощаден и к себе и к другим, если что не так. В двадцать девятом году, на объединенном пленуме ЦК и ЦКК, он дал отпор «непогрешимым», «неприкасаемым» деятелям. Никак я не согласен, говорил он, что членов Политбюро нельзя критиковать. Можно и должно критиковать, когда тот или другой член Политбюро отклоняется от партийной линии, или нарушает партийное постановление, или неправильно истолковывает партийную линию, или нарушает партийную дисциплину... Великие слова!

Гарбуз приоткрыл топку, подбросил угля.

— Ну, что еще тебе рассказать?.. Был на президиуме ЦКК. Серго предложил мою кандидатуру в председатели нашей городской комиссии по чистке партии. Утвердили. Дали суровый наказ: выбрасывать из партии двурушников, примазавшихся и тех, кто унижает человеческое достоинство, превращает трудовой энтузиазм масс в свою разменную монету.

Радость ударила мне в голову. Я засмеялся.

— Чего регочешь, дурень? В чем дело?

— Быбу вспомнил. Такого «коника» выкинул против вас, до такого договорился! Пока вы были в Москве, он ухаживал за мной напропалую. Умасливал и пугал.

— Говори залпом, без точек и запятых, покороче, все пойму. Давай!

Степан Иванович выслушал мой рассказ без всякого возмущения, поразительно спокойно. Даже улыбнулся. Не верит мне? Не придает значения наскокам Быбы? Зря!

— Он не только тебя запугивал и умасливал,— сказал Гарбуз.— Настрочил обстоятельное письмо наркому. В ЦКК просигналил. Со всех сторон заклеймил меня.

— На воре шапка горит.

— Вот именно. Точно такими же словами охарактеризовал Быбу и Серго, и Рудзутак, и Ройзенман. Все, доигрался с огнем! Придется тебе, Голота, быть пожарником.

Он достал блокнотик в кожаном переплете, заглянул в него.

— В инструкции Центральной комиссии по чистке есть такой пункт: цеховые комиссии имеют право привлекать в помощь членов партии для выполнения отдельных поручений, как по обследованию ячеек в целом, так и проверке сведений об отдельных партийцах, проходящих чистку... Первым привлекаю тебя. Сколоти небольшую группу боевых товарищей и действуй под ленинским девизом: ни слова на веру, ни слова против совести!

— Степан Иванович, если ни слова против совести, то раньше всего надо Голоту почистить. Ох, надо! И за рукоприкладство, и за музейную витрину, и за то, что был шишкой на ровном месте.

— Что ж, в принципе это правильно. Каждого из нас надо чистить время от времени. Нет непогрешимых. Проберем и Голоту. А пока возьмем за жабры Быбу. Этот пройдоха проверку должен проходить голеньким... Такого хлюста тебе не страшно ловить?

И до сегодняшнего дня я уважал, любил Степана Ивановича, а теперь даже не знаю, куда и как вознести его.

— Есть еще одна важная новость! — сказал Гарбуз.— В ЦКК считают, что все руководящие работники должны постепенно, но и не откладывая, подбирать и готовить себе достойную смену, прямых своих заместителей. И не из числа канцелярских. Речь идет о молодых рабочих. Талантливых. Энергичных. Совестливых. Полных свежих сил и желания испытать себя на государственном поприще. Неспособных ничего взять на веру, ничего сделать против совести. Не испугаться никаких трудностей. Готовых сказать правду кому угодно, в самых тяжелых обстоятельствах. Требования высокие, под стать обязанностям. Мне тоже как члену ЦКК предложено подыскать себе заместителя. И я нашел... Тебя выбрал, Голота! Надеюсь, не надо объяснять, почему, да как, да отчего? Решай, Саня, согласен или не согласен!

— Что ж тут решать? Люблю я вас. Уважаю. Предан вам. Но...

— Брось ты эти приседания... Личную любовь и преданность. Пусть Быба такими словами козыряет. Нам с тобой этого не надо. Коммунисты мы, а не идолопоклонники.

Суров старик. Только с Татьяной Николаевной да со своими ребятами, Петькой и Васькой, ласков. Завидно смотреть, как он с ними воркует.

Гарбуз выколотил из трубки пепел, зарядил ее новой порцией махорки. Непонятно, как он со своим небогатырским сердцем может выкуривать в

день чуть ли не целый фунт горлодеристого самосада.

— Говори по-деловому, Голота: согласен или не согласен.

— Нет, Степан Иванович! Вы же знаете, освобожденным секретарем комитета хотели меня выбрать— отказался. Не уйду с паровоза. Нет у меня этого самого... руководящей жилки. Рядовой! И вообще, нахватался звезд с неба, руки обжег. Хватит!

Я поспешил улыбнуться, чтобы смягчить свою чересчур твердокаменную тираду.

— Ладно, помогай пока так, без отрыва от паровоза, а потом посмотрим. Время терпит.

Входим к Быбочкину по одному: первым Родион Ильич, вторым Леня Крамаренко, третьим я. Все в спецовках, припудренных доменной порошей. Оставляем на роскошном ковре рыжие следы. Отработали смену и ввалились к мэру незваные и нежданные. Вежливо здороваемся и останавливаемся поодаль от стола, крытого зеленым сукном и заваленного бумагами.

Быба — хмуро улыбчивый, настороженный. Догадывается, зачем мы пожаловали. Развалился в кресле, а нас не приглашает сесть. Ладно, обойдемся и без приглашения. Я сажусь. Товарищи то же самое делают.

— Ну? — покровительственно-насмешливо вопрошает Быба. Руки его выложены на подлокотники и старательно, нервно полируют дерево.— В чем дело, друзья? Что вас привело сюда?

— Самая острая, самая неотложная нужда,— говорит Атаманычев и толкает Леньку.— Давай, горновой!

Крамаренко бойко и толково перечисляет все претензии рабочих к «отцу города». Ремонтировать бараки, приходящие в негодность! Строить новые дома, бани, клубы! Вычистить из столовых грязь и паразитов, а из отдела рабочего снабжения — жуликов! Осветить улицы! Увеличить количество рейсовых автобусов! Пустить трамвай!

Не понравилась Быбе речь Крамаренко. Длинное лицо его побагровело.

— Что это вы так ультимативно разговариваете? Разве я старорежимный Тит Титыч, а вы пролетарии, предъявляющие проклятому хозяину ультиматум?

Быбочкин презрительно усмехнулся и посмотрел на меня.

— Ну, а ты, потомок, что скажешь?

— Все то же. Где мы живем? В какое время? Не Собачеевка наш город, а рабочая столица пятилетки. Такие домны, такие блюминги отгрохали, а ютимся в балаганах, едим и пьем кое-что, кое-как, кое-где.

— Интересное критиканство. Как две капли воды скидается на заграничные сплетни. Ну, а вы, божий человек, что скажете? — Быба ткнул пальцем в сторону Атаманычева.

Родион Ильич поскреб сивую, коротко подстриженную голову.

— Я мало чего скажу... С первых дней жизни приучен я к чистоте. Каждый вечер купала меня мама: укладывала в корыто, кутала в пеленки и поливала, как цветок, теплой водичкой. Добро! Русского человека встречают на этом свете мытьем и на тот свет провожают мытьем. Хороший обычай. Когда у тебя кожа чистая, то душа еще более. Свежий и чистый видит зорче грязного, бежит дальше и проворнее, чем замурзанный. Чистый и правду любит больше. И честью дорожит. И на кривую дорожку реже сбивается.

— Мне надоела ваша банно-прачечная лекция.

Быба захлопнул стальную дверь несгораемого шкафа, которая преграждала ему дорогу. Выскочил из-за стола и раза два прошвырнулся по кабинету, из угла в угол, пугая мух, дремавших в складках штор. Остановился перед Атаманычевым.

— Кто вы такие? Делегаты какие-нибудь или так себе... отсебятиной занимаетесь? Я спрашиваю, кто вас послал сюда? От чьего имени разговариваете со мной?

— От собственного,— сказал Атаманычев.

— Только и всего? Значит, лебедь, рак да щука!

Быба вернулся за стол, сел в кресло, где он чувствовал себя увереннее. Полировал ладонями дубовые подлокотники и внимательно изучал нас, будто определял, кто рак, кто лебедь, кто щука.

— Вон вы куда нацелились! Брезгуете городом, который изумляет весь мир своей трудовой отвагой, героизмом, красотой человеческих отношений? Замахиваетесь на большевистский порядок? Интересно!

Атаманычев вздохнул.

— Давай, отец родной, стращай мух! Ишь, как разлетались, разжужжались!

Мы с Леней не стерпели, засмеялись.

— Вы что, в цирк пришли? — заорал Быбочкин.— Клоуна из меня делаете?

Атаманычев еще раз вздохнул — совсем безнадежно.

— Много на себя берете. Клоун смешит людей, а вы унижаете.

Тут и лопнуло терпение Быбы. Вскочил, закричал:

— Я вас больше не задерживаю. Прощайте!

— Рано прощаешься, голова! Еще раз суждено нам с тобой поздороваться. Перед столом комиссии по чистке. Вычистим — тогда и распрощаемся. А когда тебя выкинут, я подам заявление в партию.

— Что вы говорите, Атаманычев?! Кому?! Вот так справедливый человек! Охолонь, дорогой мой! Один у нас с тобой враг — империализм. Одно трудное и великое дело делаем — Магнитку строим. Да и Москва не сразу строилась. Конечно, есть у нас неполадки. Ваше требование, товарищи, мы срочно обсудим,— бормотал Быба виновато и заискивающе.— В самое ближайшее время соберу сессию исполкома и доложу о ваших требованиях.

Атаманычев посмотрел на меня, на Крамаренко, подмигнул:

— Ну что, лебедь, рак да щука, мы свое дело сделали?

Бывалые люди говорят, а ученые пишут, что самая злая собака не укусит человека, трусливо подожмет хвост, если он не побежит от нее, если бесстрашно посмотрит в ее бешеные глаза.

В тот же день, несколько часов спустя, к бревенчатому лабазу лихо подкатил уральский тарантас. Кучер, в ядовито-желтой рубахе, в картузе с лакированным козырьком, с аккуратно подстриженной и расчесанной бородой, загремел басом:

— Тпру-у-у, милай!

Буланый жеребчик, сытый и холеный, как и кучер, закусил удила и, зло кося глазом, натянул ременные вожжи.

Из плетеной ивовой кошевки тарантаса выпрыгнула краснощекая и грудастая Быбиха. Несмотря на свою толщину, она легко и быстро шагала. Только что цокала туфельками по тротуару — и уже в лаба-

зе, куда простым смертным вход заказан. Была она там долго. Появилась на улице с ворохом свертков. Алеша Атаманычев преградил ей дорогу. Ленька Крамаренко и Вася Непоцелуев стали слева и справа. А я остался у нее за спиной.

— Гражданка, что это у вас за покупки? — строго, но вежливо спросил Алеша...

— А вам какое дело?! — сразу же, с места в карьер, разгневалась Быбиха. Голос у нее властный, басистый, как у кучера.— Чего пристали, охальники? Пошли прочь!

Алеша показал удостоверение, выданное городской РКИ, и попросил гражданку вернуться в магазин, где будет составлен акт на ее покупки.

Щеки ее стали белее мела, губы затряслись.

— Какой акт? Зачем? Паек это. Карточки отоварила на весь месяц.

— Сколько у вас было карточек? Дюжина? Две?

— Да чего вы пристали? Знаете, кто я такая? Жена председателя горсовета. Я на помощь позову.— И Быбиха стала кричать благим матом.

Сбежались люди, больше женщины, окружили нас и сразу разобрались, что к чему. Себе на беду раскричалась. Не было долгих расспросов, что, да как, да почему. Не помогли ей ни слезы, ни заступничество кучера, ни наша самая искренняя попытка ввести справедливую людскую ярость в какое-то русло. Худенькая женщина в комбинезоне, заляпанном засохшим цементом, отхлестала Быбиху по щекам селедкой, приговаривая:

— Вот тебе, бесстыжая, вот, вот!.. Жри в три горла!

Нехорошо получилось. Не хотели мы доводить дело до такого накала. Не рассчитали!..

Вечером я пришел к Гарбузу и доложил о чрезвычайном происшествии.

— Ты, как я понимаю, удручен этой историей? — спросил Степан Иванович.

— Да, очень! Надо было действовать хитрее, а мы оскандалились.

— Каешься, что при всем честном народе схватил хапугу? Думаешь, втихомолку надо разоблачать жуликов?

— Не так я думаю, конечно, однако...

Степан Иванович долго смотрит на меня. В душу мне заглядывает, старается понять, что там происходит.

— Скажи, Саня, какова цена пророку, если он сам топчет то, что проповедует? Разве могут люди, доверие которых подорвано и оскорблено, гневаться прилично?

Гарбуз ждал, что я скажу.

Ничего я не сказал. Отмолчался.

— Если какой-нибудь деляга возомнил себя пупом земли, если мы вовремя не даем ему по шапке, то обманутые и униженные люди чинят над ним суд и расправу по своему усмотрению, без всяких правил. Легче всего свалить вину на подстрекателей и пережитки. Если бы деляги типа Быбы не превратились в хапуг, если бы они были людьми, я уже не говорю коммунистами, то самые искусные подстрекатели ни на кого бы не воздействовали. Женщины возмутились потому, что они советские женщины. В самые ближайшие дни будем чистить Быбу [1].

[1] Комиссия по чистке партии, работавшая в клубе горняков горы Магнитной, вынесла решение об исключении из партии председателя городского Совета Магнитогорска. На другой день он, как не оправдавший доверия трудящихся, был лишен мандата депутата. Об этом сообщала «Правда» в сентябре 1933 года. Тогда же были исключены из партии и отданы под суд начальник орса и два его заместителя.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Сижу на подоконнике и, обхватив колени, положив на них голову, смотрю на сине-розовые, полосатые, как радуга, уральские горы, на закат, полыхающий вполнеба, на гордые дымы Магнитки, на озеро, полное холодного огня, на недостроенные железные каркасы, облитые пушистым светом угасающего дня,— смотрю на все это и еле-еле сдерживаюсь, чтобы не разреветься. В такие вот минуты, когда жизнь поворачивается ко мне всеми своими таинственными гранями, я почему-то особенно остро тоскую по Ленке.

Выгорела трава на курганах. Солнце всходит позже, а заходит раньше. Холоднее и тяжелее стали утренние росы. Чаще и гуще поднимаются в долине туманы. Дожди и ветры дуют и льют почти по-осеннему, иногда несколько часов кряду. Совсем пожухла, порыжела Магнит-гора. Ярче, на осенний лад, разгораются августовские звезды. Быба вычищен. Антоныч прислал большое, хорошее письмо. Вспыхнули наши первые мартеновские печи. Построен Беломорско-Балтийский канал. Устанавливаются дипломатические отношения с Америкой. Волжские «газики»-вездеходы преодолевают непроходимые и непроезжие пески Каракумов. Знаменитый летчик Чарльз Линдберг, впервые в мире совершивший беспосадочный перелет через Атлантический океан, побывал в Москве.

Столько событий произошло в мире, а мы с Ленкой все еще не помирились!..

Я раз десять и так и сяк, всерьез, с повинной головой, с шутками и прибаутками, с хитростью и будто невзначай, с помощью друзей, пытался пробиться к ней. Куда там! И близко не подпустила.

Раньше она правильно, по заслугам, лупила дуролома по мордасам, но теперь... Давным-давно я уже не «крысавец». Это могут засвидетельствовать и Гарбуз, и Алеша, и все Атаманычевы, и Вася Непоцелуев. И даже Кваша. После того, как мы помогли комиссии по чистке партии разоблачить Быбу и его приспешников, он здоровается со мной приветливо. И все работяги горячих путей, движенцы и доменщики, опять повернулись лицом ко мне. Одна Ленка не хочет сменить гнев на милость. Стремлюсь к ней всем сердцем, чистый, как после большой бани, битый и поумневший, а она...

Что я вижу? Наваждение? Мерещится? Сон среди белого дня? Чудо? Или это на самом деле Ленка? Она! Несется на велосипеде, как и раньше, по нашей дорожке. Не от меня, а ко мне. Блестят спицы! Сияют педали и руль. Весело звенит звоночек. Горит, переливается в лучах солнца золото волос. Скрылась в туманности веков и вернулась на землю.

Постой, постой!.. Не рано ли я радуюсь? Может, мимо пронесется?

Милая, не заблудись, не проскочи на другую улицу!

— Ленка! — кричу я так, что меня, наверно, и в Америке услышали.

Она круто, на полном ходу, сворачивает к моему одиннадцатому корпусу и, забыв притормозить, соскакивает на землю. Велосипед летит в одну сторону, она — в другую.

Слава тебе, Ленка, отныне и вовеки!

Высовываюсь на улицу больше, чем до пояса, едва держусь на покатом подоконнике, неистово размахиваю белым флагом. Никто его не видит, а Ленка... Иди, любимая, властвуй! Как хочешь, сколько хочешь. Безоговорочно капитулирую. Давай, милая! Давай, Босоножка.

— Телеграмма! «Молния»! — не своим голосом, надорванно кричит Ленка и размахивает над головой клочком бумаги. Лицо ее сияет ярче самого солнца. Любит. Обожает. Все забыла, что было в ту страшную ночь. Ни за одну свою слезинку не требует вознаграждения.

— Что за «молния»? — вопрошаю я сверху, с четвертого этажа.— Откуда?

Ленка беззвучно смеется, откашливается и беспомощно показывает на горло. Совсем голос потеряла дивчина. Вот как ошеломлена какой-то радостью.

Хочется прыгнуть к ней прямо отсюда, скорее обнять и расцеловать потерянную и найденную.

Скатываюсь вниз со скоростью курьерского. Один лестничный вираж, другой, третий, четвертый. Свистит ветер. Железные перила сдирают с ладоней кожу. Кто-то, оказавшийся у меня на пути, падает, сбитый с ног, матерится. Ничего! По такому случаю можно и похулиганить. Потом повинюсь. Любое наказание приму.

Выбегаю на улицу, хватаю Ленку в охапку, обнимаю, целую щеки, волосы, руки. Вернулась! Простила!

Ленка тихонько смеется, нерешительно отбивается.

— «Молния»! — говорит она и машет перед моим лицом бумагой.

Наплевать мне на «молнию», если она даже от самого господа-бога, из райской канцелярии. Никто и ничто не может меня обрадовать больше, чем мир с Ленкой. Вглядываюсь в ее милые, родные черты и блаженно улыбаюсь. Воскресла, любимая. Опять в моих руках! Теперь крепко держу ее, никакая сила не вырвет. Всю жизнь будем вместе.

— Читай! — требует Ленка.— Одолел маловеров. Слава победителю!

Не я победил, а меня победила Ленка. Еще и еще целую ее. Вот она, моя райская «молния». Примчалась. Вытащила из бездны, человеком сделала.

Ленка смеется, шлепает меня твердым телеграфным бланком по одной щеке, потом по другой. Я перехватил ее руку, покрыл поцелуями.

— Пусти, чумной! Слушай, что тебе говорят! Телеграмма! Из Москвы! Александру Голоте! Не понял? Тюлень ты все-таки, Санька. Такое счастье ему привалило, а он.— Тычет мне в лицо вонючий, одубелый от клея телеграфный бланк.— Знаешь, что здесь написано?

— Знаю!

— Ну?

— Антоныч просит отложить нашу свадьбу до его приезда.

— Нет! Гадай еще! Да смелее! Больше фантазии!

— Саша Косарев сделал тебя своим заместителем?

— Не обо мне речь.

— Ты признана первой красавицей России?

— Перестань!

— Ленке Богатыревой присвоено звание Человека.

— Я же тебе сказала: не обо мне речь. На свой аршин меряй счастье.

Я беру ее за плечи, долго смотрю ей в глаза и тихо и очень серьезно говорю:

— Ты мое счастье, Ленка.

Поверила. Дошло!

Перестала смеяться. Внимательно, блестящими глазами вглядывается в меня. Рука с бумажкой забывчиво опущена.

Склоняется ко мне, тихонько прикасается своими мятными губами к моим губам. Ничего не сказала. И не надо нам никаких слов. Смотрим друг на друга, и все нам ясно на сто лет вперед.

— Ну что там? — спрашиваю минуту спустя, когда мы поднялись наверх, в мою комнатушку.

Ленке передалось мое состояние великого покоя и уверенности. Самым обыкновенным голосом, даже вроде с насмешкой она произнесла:

— Писанина Голоты горячо одобрена в Кабинете рабочего автора и в издательстве, срочно готовится к печати.

Нет, не дурака валяет милая. Такими вещами и самый лютый враг не посмеет пошутить. Чистую правду говорит Ленка.

— Рукописью заинтересовался Алексей Максимович Горький.

— Горький?! — закричал я.

— Прочитал. Одобрил. Печатает в своем альманахе «Год XVI». Вот обо всем этом и сказано в телеграмме.

Я взглянул на телеграфные строчки и тут же уткнулся лицом в колени Ленки. Не могу смотреть ни на любимую, ни на белый свет — больно глазам. До ослепления больно. Ленка тихонько перебирает мои волосы и терпеливо ждет, пока я приду в себя, немного освоюсь с новым положением. Да разве к этому привыкнешь? Ударник, призванный в литературу! Автор! Писатель! Крестник Алексея Максимовича! Всю жизнь буду удивляться, радоваться, верить и не верить, что сам Горький одобрил мою писанину.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Поезд делает последний поворот — и вот она, долгожданная Магнитка! Так рвался к ней, два часа в окне торчал, выглядывал, боялся пропустить момент, когда покажется, обрадует своими северными воротами со щитком Алеши «Шапку долой, товарищ! Ты находишься на переднем крае пятилетки», а она встретила... Солнца нет и в помине. Земля раскисла, в мутных лужах. По небу туда и сюда перемещаются облака, громадные, грифельного цвета, круглые, похожие на бурьян перекати-поле. Магнит-гора спряталась под черным малахаем дождевой тучи. Заводские дымы ползут по крышам цехов, цепляются за мачты высоковольтных линий. Воздух насыщен влагой, туманом и дымом.

А бараки с их черными толевыми крышами, с их облупленными, обшарпанными, в ржавых серых, черных и желтых потеках, стенами, с наглухо закупоренными, грязными, бельмастыми окнами, с уродливо торчащими трубами показались мне, после Москвы и Ленинграда, просто страшными.

Ленинград с его Зимним дворцом, Эрмитажем, аркой Генерального штаба, Сенатской площадью, улицей Растрелли, решеткой Летнего сада, набережной Невы — и бараки, халупы, землянки Магнитки!..

Ну и ну! Да разве мы, строители нового мира, менее, чем князья и графы, нуждаемся в удобствах, в красоте, в чудесных жилых дворцах?

Вот и наш знаменитый вокзал. Смотрю на него незатуманенными, чистыми глазами, глазами Антоныча. Да, неказист. Вагон, кажется, еще больше врос в землю, одряхлел. Две недели назад все окна теплушки были застеклены, а сейчас две рамы забиты фанерой. Надпись «Магнитогорск» наполовину изгрызли дожди, ветры, солнце.

На вокзальной площади, на захламленной, ухабистой десятине, кишмя кишит толпа встречающих, провожающих, отъезжающих и прибывших. Все спешат, каждый пересекает дорогу другому, все толкаются, наступают друг другу на ноги. Никто не считает себя виноватым, когда саданет тебя углом тяжелого,

окованного сундука или гузырем мешка, набитого всяким добром. Никому нет дела до того, откуда и с чем ты приехал. Принимают за такого же, как сами, сезонника, завербованного, ищущего свое место под солнцем.

Неприкаянно стою в самой гуще этой базарной толкучки, где даром раздают свое и даром расхватывают чужое человеческое достоинство, и готов расплакаться. Где же Лена? Куда запропастилась? Почему я не сразу увидел ее? Ищу ее глазами и злюсь на себя. Раньше в одно мгновение выхватывал ее взглядом из тысячной толпы, а сейчас не могу различить среди сотен людей. Может быть, до того нагляделся на картины Эрмитажа, на мраморные статуи и фонтаны Петергофа, на банкетный зал гостиницы «Астория», на красное дерево и плюш спальных вагонов специального поезда, на зеркала и паркет особняка миллионера Рябушинского, до того нагляделся на все это, что нажил бельмо на глазу и неспособен отличить мою родную Ленку, раскрасавицу, от чужих обыкновенных лиц? Если так, плохи мои дела.

Не так! Наговариваю на себя.

Нет, так! Где-то здесь она, Ленка, а я ее не вижу, не чувствую.

Мордастый, с жиденькой порослью на висках и подбородке, искатель счастья подходит ко мне и, воровато оглядываясь, спрашивает:

— Слухай, паренек, как попасть на Тринадцатый участок?

— Садись на автобус или на попутную и двигай прямо до центра, спрашивай Тринадцатый.

— Ну, а как там, ничего?

— В каком смысле?

— С голоду не пропадешь? Можно заработать?

— Еще и детишкам на молочишко останется.

— А ты не заливаешь?

— А какой интерес?

— Кто тебя знает! Слухай, паренек, а где лучше: на Коксохиме или на Магнит-горе?

— Везде у нас неплохо.

Он недоверчиво, приценивающимся взглядом базарного покупателя оглянул меня с ног до головы. Понравились ему мои новые туфли, новый, еще держащий фабричную глажку костюм, сиреневая рубашка с галстуком. И большой, с никелированными замками чемодан произвел на него впечатление. Зауважал и позавидовал.

— А сам ты где устроился?

Не вытерпел я, засмеялся. Ну и речи! Паренек! Голод!.. Заработки!.. Устроился!.. На каком языке он со мной разговаривает? За кого принимает?

Ошибся, искатель. Не похож я на тебя. Давно нашел свою долю. Да еще какую!

— Ты чего скалишься?

— Интересно!

— Что тебе интересно?

— А вот это... твои вопросы.

— Какие?

Даже не понимает, откуда он, с какого света пришел, чем нашпигован.

— Чего ж тут особенного? — обижается парень.— Я спрашиваю, где ты работаешь?

— Ну, а как ты думаешь?

— Видать сову по полету. Чистенький, сытый. Значит, немало зашибаешь. Плотник, да? А то и столяр?

Я отрицательно качаю головой.

— Шофер?.. Пекарь?.. По электрическому делу специальность нажил?

— Писатель! — неожиданно говорю я и жду, что будет. Первый раз такое сказал о себе вслух.

— Писарь? — Мой собеседник пренебрежительно машет на меня рукой.— Тоже, специальность! Не завидую.

Утратил всякий интерес ко мне. Заскучал, отвернулся. Оглядывается, ищет человека, с которым можно было бы потолковать с большей пользой.

Давай, катись, темнота!

Случайная эта встреча вдруг отрезвила меня от длительного и глубокого опьянения. Понял я, что ничего особенно не произошло. Думал, что в Магнитке всем и каждому уже известно, что я возвращаюсь домой писателем. Думал, все будут оглядываться вслед мне и перешептываться: «Писатель! Сам Горький его расхвалил и напечатал!»

Никто не увидел. Никто не догадался, что привез я в чемодане десяток экземпляров альманаха «Год XVI» с моей повестью.

С грохотом, разбрызгивая грязь и воду, визжа тормозами, на площадь врывается грузовик. Из кабины выпрыгивает Ленка. Быстро и зорко оглядывает тысячную толпу и сразу же находит меня. Еще до того, как я успеваю откликнуться. Не опоздала все-таки, встретила!

— Саня! — кричит она и со всех ног бежит к таратайке.

Налетела на меня, бросается на шею. Прижалась всем телом, повисла и замерла. Ни одного слова не сказала. Молчит. Брызжет смехом, но молчит. Не хочет обеднять того, о чем так хорошо говорят сияющие глаза, опаленные огнем щеки.

— Здравствуй! — говорю я.

— Здравствуй! — отвечает она.

Короткое, обыкновенное, привычное слово прозвучало, как длинное и нежное признание.

— Ну как, привез?— спрашивает Ленка и смотрит на мои руки, а потом на чемодан.

— Лады! — говорю я.— Потерпи, дома покажу. Садись, поехали!

Она вскакивает в тарантас, и мы трогаем.

Сидим рядышком на тугой охапке сена, как на престоле, крепко держим друг друга за руки, улыбаемся, молчим. Хорошо! Упоительно хорошо, дальше некуда!

— Ну? — шепотом, опуская глаза, спрашиваю я.

— Лады! — отвечает она и кладет ладонь на живот.— Зреет сынок.

Ты гений, Ленка!

Сын!.. Ни с чем не сравнимое счастье. Мальчик, непохожий на тех, что были и будут появляться на свет. Будущий машинист или поэт. Шахтер или звездоплаватель. Чем бы и кем бы ни стал он, прежде всего будет человеком.

В честь Лены и ее маленького, в честь семейного праздника Голоты я выброшу над своим домом флаг победы. Буду хвастаться, что родился Никанор, правнук того самого. Смугленький, большеглазый, большелобый, золотоволосый, как мама.

И Двадцатку украшу цветами и флагом. Ох, как я буду таскать чугуновозы, наяривать гудком и сигналить колоколом! Выше, смелее, сильнее стану. Отец!.. Батько!.. Папа!.. Тато!.. Здорово позавидуют мне холостяки, мужики перекати-поле, всякие порхающие бабочки и жуки-сердцееды.

Маленький Никанор войдет в мою жизнь с криком и слезами, а я отвечу ему ликующим «Ура!». Вся вселенная услышит меня. Еще крохотуля, а уже повелитель. Комочек плоти и знамя моего счастья! Безусловно, это будет самый счастливый человек из всего рода Голоты.

— Как он там, наш человечек, не стучится? — допытываюсь я.

— Какой ты нетерпеливый! Жду со дня на день.

— Как долго вызревает!

— Все хорошее не скороспелка. Ты жил двадцать пять лет, пока таким стал.

— Каким?

— Вот таким.

— А все-таки?

— Курносым и кудрявым.

Обнимаю, целую ее и уже не выпускаю. Пусть смотрят. Это красиво — влюбленные. Через века, войны, мор и темноту пронесли люди красоту любви. Понесем и мы с Ленкой.

— Правильно действуешь, товарищ комиссар! — говорю я.

— О чем ты?

— А об этом самом... о твоем идейном руководстве. Не давай и дальше зазнаваться! Как только начну задирать голову, сразу щелкай по носу. Да побольнее, чтобы искры из глаз посыпались.

Ленка клюет меня ногтем в самый кончик носа.

— Так?

И хохочет, заливается на всю улицу. Извозчик больше на меня и Ленку посматривает, чем на свою лошадь. Давай, дядя, смотри, завидуй, вспоминай молодость!

Въезжаем в соцгород, останавливаемся на Пионерской. Длинная была дорога, а мы и не заметили.

Дома Ленка крепко обняла меня, припала своими влажными горячими губами к моим губам, взахлеб утоляла жажду и никак не могла напиться.

— Больше никогда не будем разлучаться! — сказала она и опять чмокала: в губы, в щеки, в нос, куда придется, как сладкого младенца.

Но вот она проворно вывернулась из моих чересчур цепких объятий и бросилась к чемодану.

— Где же твоя книга? Давай. Скорее!

Руки ее дрожат. Губы тоже дрожат. Лицо побледнело. В глазах отчаяние. Боится, что скажу ей: никакой книги пока еще нет, великие дела, мол, не сразу делаются.

— Ну, Саня.

А я не спешу. Вываливаю из чемодана подарки — Ленке, будущему сыну, мачехе, усатому бате. Ставлю на стол две бутылки вина. Коробку настоящих шоколадных конфет. Мандарины.

— Саня, покажи! — умоляет Ленка. Теперь и голос ее дрожит.

Двумя руками беру со дна чемодана пухлую и тяжелую в твердой светло-коричневой обложке книгу, свеженький новоиспеченный горьковский альманах «Год XVI» и торжественно преподношу Ленке.

— Вот! Твоя. Наша!

Ленка схватила журнал, быстро-быстро перелистала, нашла нужную страницу, посмотрела на нее и вдруг разревелась, но не долго плакала. Слезы еще катятся по щекам, а она уже смеется. Кружится по комнате, как угорелая, хлопает в ладоши, ликует:

— Поздравляю! Поздравляю!! Поздравляю!!

Боже мой, что она со мной делает! До чего же мне повезло! С такой женой до края света дойду. Горы магнитные вместе свернем, выработаем всю руду до последнего камня. Море ладошками вычерпаем. Сто тысяч новых страниц накропаем. Любые испытания выдержим, даже испытание счастьем!

— Ну, Босоножка, теперь давай обмоем первенца.

— Давай.

Раскупориваем бутылку и начинаем пировать. Вдвоем мы, а шумим и радуемся, как целая ватага. Себе я налил полный стакан густого, бордового, с искрой вина, а Ленке чуток плеснул. Хватит ей и этого. Оказывается, мало. Надула губы, еще требует:

— Лей щедрее, победитель, не жалей!

Добавил немного, а она выхватила у меня бутылку и налила сколько хотела.

— Братство! Равенство!

— Но тебе же нельзя, Ленка!

— Нельзя быть веселой, счастливой?

— Ты и без вина счастлива.

— Еще больше буду счастливой. Выпьем, Саня! — Она чокается своим стаканом с моей посудиной.

Все вино, до капли выдула. Ну и мама! И сразу охмелела и расхохоталась. Смеется так, что и мертвых можно заразить весельем, а ей все мало.

— Я хочу смеяться! Я хочу смеяться!

Смотрю на нее и тоже смеюсь! Прелесть! Смейся, любимая, празднуй. Долго серьезничала в одиночестве, хочет отвести душу.

Она вскочила, подхватила меня, закружилась в вальсе.

— Я хочу смеяться! Я хочу смеяться!

Давай, кто тебе мешает! Хохочу вместе с ней, а она свое твердит:

— Я хочу смеяться!

Ну и ну! Никогда такой не была. Обрадовала и напугала. Вот до чего доводит человека великая радость — до буйного веселья, до умопомрачения.

Ленка внезапно перестала и танцевать и смеяться. Рухнула на кровать и не захотела подниматься. Лежала с закрытыми глазами, бледная, и тихонько улыбалась.

Опускаюсь перед нею на колени, целую ее прохладные руки, лоб, волосы, а она ищет мои губы.

Всю ночь были вместе, только перед утренним гудком разбежались: Ленка — к себе, в доменный, а я — на горячие пути.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

На паровоз поднимается Ася. Она в черной с желтыми розами юбке, перехваченной на талии кожаным, с медным набором пояском. Кофточка в пышных оборках и самодельных кружевах. На голове бухарский семицветный платок.

— Доброе утро, механик! Как ночевал, кого на какой руке держал?

— Не тебя, краля.

Вася хватает масленку и скатывается вниз. Зря деликатничаешь, парень. Не лишний ты, хоть и третий.

— В чем дело? Что тебе понадобилось?

Строгость моих слов и нахмуренное лицо нисколько не смущают Асю. Она смотрит на меня, цветет в улыбке, будто медовые речи услышала.

— Керосину хочу раздобыть. Дашь?

— Наливай.

— Расплескать боюсь. Подсоби, Шурик, подсоби, миленький!

— Некогда с тобой шуры-муры разводить. Бери керосин и будь здорова.

— Шурик, как же это, а? Забыл, как мы с тобой песни играли? До сих пор в моих ушах бубенчики гремят.

— Брось, Аська! Старую, заигранную пластинку крутишь. Давно не действует на меня. Поняла?

— Поняла, миленький, и не горюю. Терпеливая я, как дождевая капля. Махонькая она, а камень долбит.

Я схватил бидон с керосином, доверху налил жестяную банку, гаркнул:

— Все! До свидания!

Она не уходила и с веселым недоумением смотрела на меня.

— Чего это ты ни с того, ни с сего очерствел и



огрубел, Шурик? Всю нашу семью любишь, а меня одну ненавидишь.

— Ладно, иди.

— Иду!.. Ой, кто это тебе голову посолил кострицей?!

Она поставила жестянку с керосином, обхватила мою голову. Я не успел ни отклониться, ни отбросить ее руки. Тут как раз и подкатила Лена. Все увидела! Ей показалось, что мы с Аськой... И ослепла, оглохла, онемела. И разум потеряла. И сил лишилась. Вместе с велосипедом рухнула на горячие пути.

— Ленка!..— закричал я.

Оттолкнул Асю, бросился вниз. Не добежал.

Ленка вскочила на велосипед и умчалась к переезду. В это мгновение от доменных печей, в том же направлении, с ветром и свистом, вызванивая колоколом, летела Шестерка Атаманычева. Паровоз и велосипед неслись наперерез друг другу. Я это ясно видел, но не мог остановить их. Кричал, но голоса моего не было слышно почему-то.

Столкнулись. Загрохотали на всю Магнитку. Заглушили океанский гул воздуходувки и пушечную пальбу Магнит-горы.

Велосипед отброшен на глинистый откос железнодорожной выемки. Руля нет, переднее колесо расплюснуто, а заднее вертится, шелестит спицами, мотает по кругу синий лоскут.

Воет сирена.

Горит красный крест.

Люди в белых халатах что-то поднимают с земли, кладут на носилки, куда-то бегут...

Какой-то человек с сумасшедшими глазами трясет меня за плечи.

— Ты видел, как все произошло. Скажи им, скажи!.. Будь человеком! Судьба Атаманычева в твоих руках.

Какая судьба?.. Какие руки?

— Атаманычева подозревают в убийстве. Слышишь?.. Скажи!

Зеленые, с огненными кристалликами глаза впились в меня, сверлят.

Темное небо. Звезды. И среди них огромное, как луна, око сумасшедшего. Буравит мою душу.

— Скажи! Скажи!!

Рассвет, день, а око все торчит на небе, требует:

— Скажи, будь человеком!

Какие-то люди берут меня под руки, ведут домой. Укладывают в кровать, поят чем-то горьким и потихоньку, на цыпочках, уходят. Слава богу! Один. Поднимаюсь. Шагаю из угла в угол, от стола к двери. Сижу. Стою. Грею спину, прижавшись к ледяной стене. Охлаждаю лоб, уткнувшись в оконное стекло. Не на Магнитку смотрю, а вниз, на землю. Притягивает она к себе. Хочется ринуться туда, где скрылась Ленка. Высовываюсь в окно, но меня останавливает зеленое око сумасшедшего:

— Куда ты собрался, дурак? Не надо! Не догнать тебе Ленку. Сама вернется. Жди!

Жду.

Взошло и зашло солнце. Как быстро оно проходит свою дневную дистанцию! Только что показалось на краю неба, над степью, и уже прячется в горах.

Жду.

Дверь открывается, и порог переступает Лена. Волосы распущены, лежат на плечах. Синее платье разорвано. Ноги мокрые, оставляют на полу алый след.

— Здравствуй! Почему тебя так долго не было? Где пропадала?

Лена смеется, указывает рукой в пространство, чернеющее за ее спиной.

— Я была там, где Макар телят не пас. До чего же интересно! Никто еще оттуда не возвращался, а я вот пришла. Если бы ты не считал себя виноватым... Я узнала, что ты считаешь себя виноватым, потому и вернулась. Посидим на подоконнике, Саня! Нет в мире лучшего места. Подоконник счастливых молодоженов. Давай помечтаем, Саня!! Каким будет наш сынок?

— Самым лучшим из самых лучших.

— Почему самый лучший? — насторожилась Лена.

— Такая любовь, как наша, не может породить замухрышку... Что с тобой?

— Обиделась... «Всякого буду любить, даже замухрышку». Вот как должен был сказать, а ты...

— Если он и в самом деле будет замухрышкой, я этого не увижу.

Лена засмеялась.

— Верно, любовь слепа!

— Неправда. Я хорошо знаю, за что люблю тебя. Ты справедливая.

— Да, справедливая. Но почему во сне ты видишь меня другой?

— Откуда ты это знаешь? Я тебе ничего не рассказывал о своих снах.

— А я видела во сне твой сон. Понимаешь? Сон во сне. Твой. В моем. Будто бы я погибла на горячих рельсах. Три дня и две ночи меня хранили на льду. Резали. Потом положили в большую, без крышки, красную шкатулку, засыпали цветами, укрыли флагом и выставили в большом зале рабочего клуба. Плакал духовой оркестр. Плакали доменщики. Все плакали. Только ты один молчал. Тебя вовсе не было в клубе. Почему не пришел попрощаться? Я очень была удивлена. И все удивлялись. Так любил, а не захотел даже постоять в почетном карауле. Почему?

— Не верил в твою смерть. Тебе ведь было только двадцать. И ты еще не родила Никанора.

— Умирают и двадцатилетние. Нет меня в жизни, «крысавец». Не ищи ветра в поле... Не сон это был, а правда.

И пропала. На том месте, где она только что была, стоит, подперев ладонью голову, моя сестра Варя. Смотрит на меня, просит:

— Выпей молочка, Саня!

— Где Лена?

— Выпей!

Куда она ушла? Следы ног остались на пыльном полу. Синяя тень отпечаталась на известковой стене.

Я слышу ее дыхание. Она где-то здесь. Шелестят ее шаги. Идет! Живая!

Открывается дверь, и порог переступают какие-то обросшие мужики. Усаживаются. Один на табурет, в углу, другой прямо на койку. Тот, что сидит на койке, проводит по щекам ладонью, сдирает с морщинистого лица седую щетину. Теперь видно, что это Гарбуз. Он наверняка знает, куда ушла Лена. Степан Иванович, где она? Опускает голову, молчит. Еще раз спрашиваю. Он вытирает кулаком глаза. Плачет? Вот это да! Сто лет не видел слез на огненном лице Гарбуза. Последний раз он плакал, когда хоронил свою Полю.

Перевожу взгляд на человека, который затаился в углу на табурете. Тоже, оказывается, свой. Губарь! Как он попал сюда? Ведь он директор «Азовстали».

Еще один появился. Толстые белые усы, как у деда-мороза. И волосы белые. Богатырев?

Он протянул мне руку, и я вижу на темной натруженной рабочей ладошке сияющее обручальное кольцо. Золото на коричневой коже.

— Возьми! Не суждено тебе, замухрышке, обручиться с гением чистой красоты. Ищи себе такую же, как сам.

Накинул мне на шею кольцо, а не уходит. Стоит, смотрит, еще что-то хочет сказать...

Говори, добивай!..

— Не место тебе, «крысавец», среди нас. Не ко двору пришелся. Магнитке с тобой не по пути. Иди своей княжеской дорогой. Шкандыбай.

И растаял, как белый дым.

Гарбуз все слышал, что сказал Богатырев. Вступился:

— Оставайся с нами, Саня! Да, ты шкандыбаешь. Но не спотыкаются только святые, ибо они безработные, баклуши бьют. Живи в Магнитке, работай! Трудно будет. На каждом шагу встретишь сопротивление. Но все, что движется, встречает сопротивление. Это закон жизни. Нельзя роптать на встречный ветер. Ропщи на попутный — он ослабляет волю, делает мускулы дряблыми. Живи, Санька! Несчастье крепко бьет, но оно учит уму-разуму. Это хорошо знали еще древние. Живи! И не обижайся на друзей. Плох тот друг, кто умалчивает о твоих недостатках. Хорош тот недруг, кто ткнул тебя мордой в твои же слабости...

Гарбуз и Губарь ушли. Их сменила Ася. Вошла в мою комнатушку, посмотрела на меня сквозь слезы и спросила:

— Лежишь? Придуриваешься?

Я вскакиваю, кричу:

— Что тебе надо?.. Уходи сейчас же!

— Не к тебе, мыльный пузырь, пришла, а к твоей совести. Почему не скажет она, что не виновен Алеша в гибели этой женщины?

— Какой женщины?

— Этой самой.

— Почему не называешь ее по имени?

— А у нее нет имени.

— Как нет? Есть!

— Нету.

— Есть!

— Назови! Ну? Чего ж ты молчишь?

Не могу вспомнить, как ее зовут. Людмила?.. Лю-

ба?.. Люся?.. Лада?.. Ужасно. Родное имя выветрилось из головы.

Стрелочница смотрит на меня и смеется.

— Так оно и должно быть. Клин клином вышибают. Ее забыл, а меня век будешь помнить. Ася!.. Ася!.. Ас...с...с... Буду медово жужжать над тобой днем и ночью, если братеника из тюрьмы вызволишь. Не виноват Алешка. Не он ее зарезал, а я. Думаешь, зря я тогда в голове твоей стала копаться? Увидела, как Ленка подкатила. Позлить ее захотела. Ишь какая! Одна баским парнем владеет! Несправедливо! Теперь все выдается по норме. Равноправие так равноправие. И мне чуток должно перепасть. Не думала я и не гадала, что ее кровью умоюсь. Я так и сказала следователю. Не поверил. Не имеет права верить сестре обвиняемого. Подозревает, что хочу пожертвовать собой, выручить из беды брата. Шурик, засвидетельствуй мою правду. Тебе, знатному, поверят.

— Не сообщник я тебе, ведьма!

Поднимаю кулак, чтобы убить убийцу, но она исчезает.

И тут опять появилась Лена. Теперь она невидимка. Не вижу ни ее лица, ни рук, ни синего платья, ни босых ног. Слышу ее голос, тихий, скорбный, оттуда, издалека:

— Так вот ты какой!.. Подпустил ведьму, позволил гадать на своих мозгах... Что ты наделал, Саня? Как будешь жить? Кто скажет тебе правду? Пропадешь и без правды и без меня.

— Не уходи, Лена!

...Ушла!.. Навсегда.

Заглохло, растаяло, исчезло в тишине эхо ее голоса.

Потом явился Ваня Гущин. Вошел и, не поднимая глаз, сразу начал заполнять блокнот крупными, с торчащей во все стороны щетиной, ежастыми буквами. Исписал все страницы и, так и не посмотрев на меня, скрылся.

Был и Быбочкин. Его холодная, сырая тень накрыла меня. Стоял у моего изголовья с траурной повязкой на рукаве и, заглядывая в шпаргалку, произносил речь:

— Мы должны почтить память... Мы должны увековечить... Мы обязаны... Наш долг...

Был и Тарас. Подмигнул по-свойски, показал редкие зубы, расхохотался, пропел:

— Сегодня я, а завтра ты!..

Был и Атаманычев-старший. Топтался у порога, качал головой, вздыхал:

— Вот какой я прицельный оказался. Сам не рад. Всю жизнь вот так: без промаха бью, наповал. Остерегаюсь теперь предсказывать людям судьбу. Себе одному только говорю: раки любят, чтобы их живыми варили.

Был и Антоныч. Подошел, положил теплую руку на холодный мой лоб, отчеканил:

— Пришло время, когда ты сам себя можешь судить. Давай, Саня!..

Был еще кто-то в сапогах, в ремнях, с кожаным портфелем, не то милиция, не то военизированная заводская охрана.

Были ребята из комитета. Смотрели на меня с сочувствием, смущенно перешептывались, положили на подоконник кульки с яблоками, шоколадные плитки и ушли.

Идут и идут люди. Пришел и следователь. Мой хороший знакомый, а не узнает. Разложил бумаги, пытает:

— Фамилия! Имя и отчество? Год и место рождения?

— Да разве вы не знаете?

— Знаю. И еще кое-что знаю. Время не терпит. Извольте отвечать на вопросы. Фамилия?.. Имя?.. Отчество?.. Год и место рождения?.. Род занятий?.. Так-с, записано!.. Что вам известно о гибели гражданки Богатыревой Елены Михайловны на горячих путях доменного цеха?

Я долго обдумываю ответ. Ни одно мое слово не должно повредить Алеше. Придвигаю к себе стопку бумаги, подаренную Ленкой, и на верхнем листе рисую схему железнодорожного переезда, разветвления горячих путей, исходные позиции паровозов № 20, № 6 и велосипедистки. А на другом листе отвечаю на вопрос следователя.

Он долго изучает все, что я начертил и написал.

— Так-с,— говорит он.— Приложим к делу. Пойдем дальше. Вы утверждаете, что гражданка Богатырева была в невменяемом состоянии.

— Я написал иначе: она была чем-то потрясена.

— Хорошо. Чем же именно?

Не твое это собачье дело! Молчу.

— Отказываетесь отвечать?.. Пойдем дальше! В каких отношениях вы были с обвиняемым Атаманычевым?

— Он мой друг.

— Друг?.. Странно. Очень странно! Скажите, в каких отношениях были обвиняемый Атаманычев и погибшая гражданка Богатырева?

— Не понимаю.

— До вас не доходили слухи, что Атаманычев и гражданка...

— Сплетнями не интересуюсь, а вот вы... Убирайтесь вон, кумушка!

Я схватил пятьсот листов бумаги и швырнул в голову блюстителя.

И побежал.

Бегу, бегу и вдруг останавливаюсь.

Узкий, неглубокий котлован. Звон лопат. Буханье кайла. Нет, это не строительная площадка. Не поднимется здесь ни башня домны, ни труба мартеновской печи. Не заблестит обкатанный теплый рельс. Опустят в эту желтую щель ящик, обтянутый красной материей, засыплют глиной. И все!

Кладбище. Сиротское. Никакой ограды. Голый выгон, всем ветрам открытый. На отшибе, вдали от Магнитки. Почему живые так старательно прячут мертвых подальше от себя? Льют слезы, засыпают цветами и прячут.

Лена завалена георгинами, полевой ромашкой, ночной фиалкой, укрыта еловыми лапами. Откуда столько цветов и хвойной зелени в безлесной Магнитке?

Рыдают медные трубы. Плачут женщины. Сморкаются мужчины. Все население барака, где жила Лена, пришло проводить ее. Стоят поодаль, пригорюнившись. Пришли все, кто набирался ума-разума под ее присмотром в ликбезе: бородатые грабари в неподпоясанных рубахах, в лаптях. Пришли подруги. Пришла моя сестра. Скрестила на груди руки, ласково-слезно упрекает Лену:

— Светлая головушка, умница, что же ты наделала?.. Цветочек алый, на кого же ты нас оставила?

Пепельноголовый Атаманычев стоит рядом с женой и не слышит, как она надрывается. Не понимает, что кого-то хоронят. Смотрит на спящую Ленку, ждет ее пробуждения. Ни единой слезинки в глазах. Не верит ни рыданию оркестра, ни тяжелой надгробной плите.

Кто-то выплавил чугун. Кто-то отвез плавку в мартеновский цех. Кто-то сварил сталь, превратил молоко металла в слиток. Кто-то доставил блюмс, еще пышущий жаром, к нагревательным колодцам, опустил в преисподнюю. Кто-то раскатал рольгангами сол-

нечный брусок, превратил его в упругую ленту. Кто-то выкроил из нее продолговатую, тяжелую плаху и выбил слова: «Елена Богатырева, первая комсомолка Магнитки».

Руда, кокс, воздух и вода, огонь, электричество, труд доменщиков, сталеваров, прокатчиков стали твоей могильной плитой, Ленка. Сделана из огня, но холодит мои руки, заставляет сотрясаться, будто насыщена электрическим током.

«Зачем моя любовь пережила тебя?..» Где-то, когда-то, на какой-то могиле видел я такую надпись — черные буквы на белом камне. Увидел и забыл, а теперь вспомнил.

Пожилые женщины в старинных полушалках, в темных кофтах навыпуск и широченных юбках стоят неподалеку от меня и печалятся:

— Такая белая, такая легкая, а добровольно легла в сырую землю.

— А ее невенчанный муж умом тронулся. А первая любовь — в тюрьме.

— А вы гляньте, чего ейный муж в гроб положил. Книгу!

— Заместо цветов? Или как?

— Он сообча с покойницей сочинил эту книгу.

— Жалко все-таки бедолагу. Как же он теперь без нее жить будет?

Шепот баб глохнет в звонких раскатах неудержимого, веселого смеха.

«Наливай доверху! Я хочу смеяться! Я хочу смеяться!!»

У края ямы стоит широкогрудый, с кудлатой головой, с обушком в могучих руках дед Никанор. Крупный град катится по его ржавой бороде. Сходил с ума, умирал и воскрес!.. Отворачивается от Ленки, с печальной укоризной смотрит на меня.

— Не сберег! Эх ты, паршивец!

И тут же доносится ласковый и ясный, как шелест березы на майском ветру, голос:

— Не отчаивайся, Саня! Мы еще много-много раз увидимся. В каждый твой сон приду. В каждое воспоминание. И завтра. И через год. И через десять. И всю жизнь. Тебе будет тридцать, пятьдесят, семьдесят, а мне всегда двадцать...

Двадцать!.. Только двадцать!

Кто-то командует оглушительным басом:

— Попрощаемся, товарищи!

Уже?.. Падаю на георгины, на мертвую ночную фиалку, на твердые холодные губы, на атласную, березовую шею и кричу, захлебываюсь, давлюсь слезами.

— Куда же ты, Ленка?.. Почему?.. А как же я?.. Один!.. Без тебя. Возьми с собой.

— Держите его, товарищи!

Шуршат, стучат, барабанят, сотрясают землю ледяные ядра глины. Скрежещут лопаты. Кто-то слева и справа, впереди и сзади держит мои руки, плечи, спину, голову. Кто-то пытается погасить огонь икоты, вливает в меня воду.

Все это неправда, что слышу и вижу. Обман. Наваждение. Сон. Всегда меня преследовали кошмары. Всю жизнь страдал от чрезмерного воображения, от дурных снов. Вот и теперь... Сейчас, сию минуту кто-нибудь разбудит лунатика. Открою глаза и увижу любимую. Ее теплая ладонь легонько шлепнет меня по щеке, ее родной голос насмешливо прозвучит над моим ухом: «Вот как разоспался, соня,— до умопомрачения. Вставай!» Я вскочу, запою, обниму Ленку, поцелую, зажмурюсь. От нестерпимого блаженства. От жаркого сияния. Оттого, что любимая и светит и греет.

Разбудите меня, люди, будьте милостивы!

Хмуро отворачиваются люди: Антоныч, Алеша, Гарбуз, Вася, Варя, Родион Ильич, Губарь. Нет у них для меня милости.

Такого человека потерял!

С Магнит-горы, со склонов Уральского хребта, где мы жгли свой новогодний костер, с нашего подоконника, с горячих путей, с доменных башен медленно, тяжело, с угрюмым шорохом падают черные хлопья снежинок — оледеневшие слезы. Небо совсем темное. Земля еле-еле проглядывается: голые тополи, церковные шпили, заводские трубы, небоскребы, Памир, Эйфелева башня. Чуть поблескивают блюдца морей и океанов. Чадит, желтеет, истекает последними каплями солнечный огарок.

Все! Конец! Прощай, любимая!





Симон Чиковани

Дорогой читатель! Перед тобой стихи прекрасного поэта, человека щедрой и благородной души, столь безвременно ушедшего от нас.

Симон Чиковани... Его книги широко известны и популярны в нашей стране и далеко за ее пределами. В плеяде замечательных поэтов Грузии его имя по праву занимает достойное место.

Жизненный путь С. Чиковани оборвался, когда поэт был в расцвете творческих сил. Это тяжелая утрата для советской поэзии. Но, сколько бы ни минуло лет, всегда будет волновать сердце людей его прекрасный и чистый голос, над которым не властны ни забвение, ни смерть.

Стихи из цикла «Ганджинская тетрадь»

☆

На ложе твое прикорнули стихи,
Апрельских садов прикорнули метели.
Оденься туманом, как будто Метехи,
Созвездьями волосы туго стяни!

Но стягивать волосы не по тебе —
Тебе ни меня, ни тумана не надо,
Не надо ни рая, не надо ни ада,
Ни звезд, хоть останься все небо во тьме.

Приданое ревности лучше сожги!
Пусть кончики пальцев легко и прозрачно
Ко лбу моему прикоснутся просяще
И скажут дрожаньем своим: «Помоги!»

И я обыщу закоулки ночей,
Все руки о звезды себе исколовши,
И тихо приду к твоему изголовью
С охапкою хвороста лунных лучей.

Но каждый твой волос, как лунная нить.
Для этих волос мой подарок — он лишний.
Испевшейся птицей ночною неслышной
Из них я хотел бы гнездо себе свить.

Дорогу к тебе я найти не могу,
Но мягкой походкою, тонущей в листьях,
Ты бродишь в моем воспаленном мозгу,
Как будто по улочкам узким тбилисским.

На ложе твоем прикорнули стихи,
И радуги край за балкон зацепился.
И сам я сомнений своих застыдился —
Сомнения мне отпусти, как грехи!

Пускай на открытые раны мои
Прольются волос холодящие струи,
Пускай твое горло, свирелью воркуя,
Журчит, как журчат соловьи и ручьи.

Но это уже невозможно... В тоске
Я пел тебе песню блаженства и муки,
Но сумрак застиг меня на полузвуке,
И в ночи запутался я, как в силке.

Первое послание любимой

Писал он, что когда твои глаза
Его души коснулись нежно-нежно,
Они внезапно стали цвета неба,
И этот цвет переменить нельзя,
Что помнит он все муки, забытье
И за роялем пение твое.

И он писал: «Зачем тот синий цвет,
Песнь под сурдинку, бесконечность мигов,
Когда тобой в Ганджу отпущен с миром,
Но мира в мире мне отныне нет!

Так шелестеть деревьям удалось,
Как шепчешь ты. Бросаюсь я на шелест,
Как сокол с полусвернутою шеей,
Запутавшись в сетях твоих волос.

Да, твой манок меня зачаровал
И синевой глаза мои подернул!
И бьются соловьи в ночных потемках,
Друг друга убивая наповал.

Вокруг трава от крови их сыра.
Ты их бросаешь в бой движеньем перстня.
Со мной играет шало твоя песня,
Как будто с тенью собственной серьга.

Сквозная алазанская лоза,
Жару и холод ты осилишь, стерпишь.
Твои глаза растут в траве на стеблях,
На дне ручьев лежат твои глаза.

А я, как дервиш, по земле хожу
И к истине дорогу проторяю,
Но по ночам с укором повторяю:
«Зачем тобой отпущен я в Ганджу!»

Среди чужой, крикливой толчеи
Ищу твой голос тихий
и печально
Перебираю звезды машинально,
Как будто четки вечные мои...»

Перевел Евг. ЕВТУШЕНКО.

С грузинского

СЛОВО ВЕТЕРАНАМ РЕВОЛЮЦИИ

А. И. МИКОЯН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

XI АРМИЯ ИДЕТ В БАКУ

Во второй половине апреля 1920 года я возвращался с группой товарищей из Москвы в Баку, чтобы участвовать в организации вооруженного восстания бакинских рабочих против помещичье-буржуазного правительства Азербайджана, державшегося там у власти при поддержке англичан. Ехать пришлось через Ташкент и Красноводск, который в то время был уже освобожден Красной Армией. М. В. Фрунзе, командовавший войсками Красной Армии в Средней Азии, выделил, по нашей просьбе, винтовки, которые матрос-коммунист Сторожук нелегально доставил на моторном баркасе через Каспий в Баку, где они были розданы рабочим. На другом баркасе отплыли из Красноводска мы. В море компас у нас испортился, мы сбились с пути и долго не могли определить, где находимся. Но вот показались береговые огни. Одни считали, что это огни маяка иранского порта Энзели (Пехлеви), другие — что это огни Дагестана. С нами находился опытный матрос Семенов; по скалам он определил, что мы у берегов Дербента. Однако высадиться в этих местах Семенов считал невозможным, тем более что погода была неспокойная.

Решили идти в сторону Петровска (ныне Махачкала). Мы знали, что Красная Армия уже подходит к Дагестану, но где именно она сейчас находится, нам было неизвестно. Ранним утром стали приближаться к Петровску. Рассуждали мы при этом так: если в порту судов нет,— порт освобожден, белые ушли. Вскоре мы увидели, что на рейде и в порту никаких плавсредств нет: значит, путь свободен. Но вот вопрос: не минирован ли порт? Поэтому мы подходили к причалу медленно, осторожно.

Пришвартовались благополучно. Нас встретили красноармейцы. От них мы узнали, что штаб XI Армии находится тут же, в поезде. Мы направились в штабные вагоны. Здесь оказались Г. К. Орджоникидзе и С. М. Киров, которых я раньше знал, командующий XI Армией М. К. Левандовский и член Военного совета XI Армии Механошин, с которыми меня тут же и познакомили. Это было в конце апреля 1920 года, когда Красная Армия разбила деникинские части на Северном Кавказе (белогвардейцам удалось закрепиться на Крымском полуострове). Освободив Северный Кавказ, XI Армия подошла к границе с азербайджанским буржуазным государством. Левандовский подготовил армию к дальнейшим боевым действиям, расположив передовые части по левому берегу реки Самур и сосредоточив отряд бронепоездов.

К этому времени Бакинское Бюро Кавказского крайкома РКП(б) установило связь с Орджоникидзе и со штабом XI Армии через своего представителя — Бесо Ломинадзе, прибывшего нелегально из Баку. В 1919 году Ломинадзе вел большую, активную работу по изданию газеты бакинских коммунистов. Он пользовался уважением и любовью партийцев. Мы с ним были близкими товарищами, хотя иногда и расходились во мнениях при обсуждении тактических вопросов работы в Баку.

Бесо был искренним, правдивым человеком и, когда после «словесного боя» убеждался, что он не прав, а прав его оппонент, открыто и прямо признавал это. Такие споры никогда не портили наших отношений. Мы особенно подружились с ним во время майской всеобщей забастовки 1919 года, оба мы участвовали в работе центрального стачечного комитета, были вместе арестованы, вместе сидели в бакинской тюрьме.

Левандовский ознакомил нас с приказом командующего Кавказским фронтом Тухачевского и члена Реввоенсовета фронта Орджоникидзе о том, чтобы 27 апреля наши войска пересекли границу Азербайджана и вышли на помощь бакинским рабочим. Мы поручили Ломинадзе возвратиться через фронт в Баку, чтобы сообщить бакинским товарищам о дне выступления Красной Армии и согласовать действия бакинских рабочих с действиями наших войск.

Левандовский информировал нас об обстановке. Согласно разведывательным данным, мусаватское правительство Азербайджана располагало 30-тысячной армией, из которых 20 тысяч были размещены у границ Армении, а 10 тысяч рассредоточены по гарнизонам ряда населенных пунктов. В самом Баку находилось до 2 тысяч человек пехоты, юнкерское училище и артиллерия. Непосредственно же на линии соприкосновения с нашей армией было немногим больше 3 тысяч человек. Таким образом, у мусаватского правительства не было значительных сил, которые могли бы оказать серьезное сопротивление XI Армии на ее пути в Баку. Это давало нам возможность без упорных боев выполнить волю бакинских рабочих, оказав им помощь в установлении Советской власти. Конечно, при дальнейшем про-

движении Красной Армии для полного освобождения Азербайджана мусаватские войска, в основном сосредоточенные на границе с Арменией, могли создать для нас трудности, что и случилось в действительности.

С нами возвращался в Баку член Бакинского Бюро крайкома партии Леван Гогоберидзе, нелегально выезжавший в Закаспье. Он договорился с командованием XI Армии о своем назначении комиссаром кавалерийской дивизии.

У меня с Гогоберидзе были братские, товарищеские отношения, и мы оба радовались, что едем на освобождение Баку. Мы сблизились на революционной работе в Бакинской партийной организации, знали друг друга с 1918 года. Во время английской оккупации Баку в 1919 году Гогоберидзе был председателем постоянной Бакинской рабочей конференции. Некоторое время мы с ним сидели в одной камере мусаватской тюрьмы в Баку. Это был простой, задушевный, жизнерадостный, неутомимый и бесстрашный человек. Припоминаю такой эпизод. Летом 1919 года мы с Леваном намеревались ехать в Тбилиси на заседание краевого комитета партии. Но неожиданно стало известно, что прибывшая из Астрахани лодка с литературой и группой партийных работников задержана азербайджанской полицией. Гогоберидзе был оставлен на один день в Баку, чтобы добиться освобождения этих людей с помощью начальника контрразведки Азербайджанского правительства, которым тогда был наш законспирированный товарищ коммунист Мусеви, в свое время тайно вступивший в ряды Коммунистической партии. Задача была ими успешно решена, но азербайджанским властям удалось раскрыть подлинную деятельность Мусеви, и одному офицеру было поручено его убить. Войдя в столовую, где находились Гогоберидзе и Мусеви, этот офицер выстрелил подряд пять раз в Мусеви. Тогда Леван, как тигр, бросился на офицера и сунул палец перед курком револьвера. Офицер перестал стрелять, но вскоре ему удалось вырваться из рук Левана и выстрелить дважды в Гогоберидзе. Лежа на полу в луже крови, Леван слышал, как щелкнул еще раз револьвер, но пуль в нем уже не было. Несмотря на тяжелые ранения, Леван выжил благодаря помощи, оказанной ему опытным врачом Окиншевичем, который к нам хорошо относился, хотя и был меньшевиком.

Желая поскорее попасть в Баку, я обратился к Левандовскому с просьбой помочь мне войти в город с первыми воинскими частями. Он сказал, что первым в Баку должен вступить отряд бронепоездов. Именно этому отряду дано задание прорваться в Баку впереди остальных войск. «Поэтому,— сказал Левандовский,— если вы хотите попасть в Баку раньше, то вам следует отправиться с этим отрядом». Я попросил члена Реввоенсовета XI Армии С. М. Кирова назначить меня комиссаром отряда бронепоездов. Просьба моя была удовлетворена.

С нами в Баку направлялась тогда активная руководительница бакинских рабочих организаций Ольга Шатуновская. Это она вместе с Агамировым и Бархашевым была главной застрельщицей создания Союза рабочей молодежи в Баку. Помню, как Ольга по совету Степана Шаумяна в первые недели после Февральской революции обращалась ко мне за советом — как лучше наладить работу этого Союза.

Перед отъездом из Москвы, когда мы еще рассчитывали, что попадем в Баку раньше частей Красной Армии, Елена Дмитриевна Стасова подала мне идею — заняться по приезде в Баку организацией разведки, чтобы добытые сведения передавать командованию Красной Армии. По рекомендации Стасовой я побывал в Разведупре, где меня проинструктировали и снабдили необходимыми для разведывательной работы материалами, шифрами, денежными средствами и ценностями. Все это я вез с собой в Баку, но никто из ехавших со мной товарищей об этом не знал. Брать такое имущество в бронепоезд, которому предстояла боевая операция, было рискованно. Вот почему мы с Орджоникидзе решили ввести в курс моих дел Ольгу Шатуновскую и поручили ей доставить все ценности в Баку. Под видом сестры милосердия Шатуновская благополучно пронесла эти ценности через Самурский лес, станцию Ялому, доставила их в Баку и сдала казначею Кавказского краевого комитета партии И. И. Довлатову.

С другими частями XI Армии в Баку шли товарищи Кахиани и Иванов-Кавказский. Они вели до этого партийную работу в Замоскворецком районе Москвы и направлялись теперь на нелегальную работу в Грузию. В пути мы крепко с ними подружились как с хорошими товарищами-революционерами. С нами ехала также коммунистка Завьялова, которая была рекомендована для нелегальной работы среди женщин в Баку.

С XI Армией шли из Астрахани товарищи Мусабеков и Г. Джабиев, видные азербайджанские коммунисты, которые после падения Советской власти в Баку в 1918 году отступили в Астрахань. Они уже прошли некоторую школу практической работы при Советской власти в России и рвались на родину. Это были преданные партии деятели, энтузиасты, способные партийные работники, сразу же по прибытии в Баку занявшие руководящие посты в Советском Азербайджане.

С ними направлялся из Астрахани в Баку и коммунист Мусеиб Шахбазов с женой, тоже коммунисткой, Любой. Мы их временно оставили в Дербенте для налаживания там партийной работы. Впоследствии Шахбазов стал наркомом просвещения Азербайджанской республики.

Выехав из Петровска к месту стоянки бронепоездов, я встретился в районе Дербента с командующим группой бронепоездов Михаилом Григорьевичем Ефремовым. Бронепоезд «III Интернационал», на котором находился командный пункт Ефремова, стоял в 200—300 метрах от моста через пограничную с Азербайджаном реку Самур, маскируясь в лесу. Поэтому с другого берега его не было видно.

Был теплый весенний день, деревья уже покрылись листвой.

Ефремов прочитал приказ командования, подписанный Левандовским. Приказ был очень короткий и необычный. Приказывалось 27 апреля выступить, лихим налетом прорваться в Баку, закрепиться на бакинских нефтепромыслах и, опираясь на поддержку рабочих отрядов, охранять промыслы от возможных поджогов до подхода основных сил XI Армии.

— В котором часу мы выступаем? — спросил я Ефремова.

— В приказе назван только день выступления,— ответил он,— а час выступления не указан, а раз не указан, то, значит, нам предоставляется право самим решить этот вопрос.

— Ну и когда же мы выступим?

— Ночью, в пять — десять минут первого. Чем раньше, тем лучше.

Как же был выполнен этот приказ командарма Левандовского?

Мы ознакомились с состоянием готовности бронепоездов, побеседовали с бойцами. Наша разведка донесла, что на противоположном берегу реки расположен отряд азербайджанских войск и недалеко

курсирует блиндированный поезд, командиром которого был офицер-грузин.

Обсудив с Ефремовым обстановку, мы решили попытаться вступить в переговоры с командиром этого поезда, постараться разведать, не заминирован ли мост, где проходят телефонные и телеграфные провода, связывающие караульный отряд моста с соседней станцией.

Мост был «ничейным». На одном его конце стоял наш часовой, на другом — азербайджанский. Мы подошли к азербайджанскому часовому и попросили его передать командиру блиндированного поезда нашу просьбу — прийти для беседы с нами на мост. По вызову часового пришел начальник караульного отряда и сказал, что поезд ушел на другую станцию и что поэтому просьбу нашу передать командиру нет возможности. Мы попросили сделать это, когда поезд вернется. Он обещал.

Начальник караула производил впечатление человека, неплохо к нам настроенного, и мы решили рискнуть на большее — попытаться пройти дальше на территорию за мостом.

К нам подошли азербайджанские солдаты. Поздоровались. Чтобы побольше замаскировать цель своего посещения, усыпить их бдительность, мы решили создать впечатление о себе как об офицерах, ищущих возможность выпить, и, чтобы еще больше расположить к себе, завязали такой разговор:

— Мы командиры Красной Армии. Пришли к вам в гости. Вот только водки у нас нет — она у нас запрещена. Может быть, у вас есть коньяк?

— Коньяку нет. Но купить можно, деньги только нужны,— ответил начальник караула.

— Значит, если мы дадим вам деньги и завтра в такое же время придем, то коньяк будет?

Я дал им пачку денег, которые мы специально взяли с собой на такой случай (деньги были царские, у нас они никакой ценности не имели, а в Азербайджане шли даже лучше, чем местные).

Мы стали говорить солдатам, что войны не будет, что азербайджанская делегация во главе с членом парламента Пепиновым выехала в Москву для переговоров, что будет подписан мирный договор.

Спросили их, как они живут. Нам ответили:

— Если хотите, посмотрите.

Мы пошли к караульному помещению, находившемуся в нескольких метрах за мостом. Тут же были небольшие казармы, на 50—60 человек.

По пути мы с Ефремовым внимательно ко всему присматривались и убедились, что мост не заминирован и что провода связи с тылом проложены вдоль железнодорожной насыпи.

Идем, беседуем с азербайджанскими солдатами, ведем себя с ними по-товарищески. Они отвечают нам тем же. По всему было видно, что на азербайджанской стороне весьма мирная обстановка.

Вдруг показалась смена караула. Солдаты идут под музыку. Играет зурна, и бьет барабан.

«Наша вылазка может обернуться плохо,— подумали мы.— Ладно, если начальник нового караула — такой же простой человек, как и солдаты. А если это реакционный офицер,— вдруг возьмет да и задержит нас?» Чтобы не вызвать подозрений, мы усиленно шутили и, раз уж играла музыка, стали даже танцевать. Наши усилия не пропали даром — солдаты стали проявлять к нам все большее расположение. К счастью, новый начальник караула оказался человеком разговорчивым, покладистым. Все же мы поторопились уйти на свою сторону, опасаясь, что они могут спохватиться и задержать нас. На прощание мы сказали им, что завтра придем снова — пусть готовят коньяк.

И вот мы снова на нашей стороне моста. Рискованная вылазка закончилась вполне благополучно. Да и узнали мы немало. А если бы нас вдруг задержали да взяли бы в плен? Создалось бы невероятно тяжелое положение. Ведь этой же ночью, через несколько часов, нам предстояло выступать. Но все хорошо, что хорошо кончается.

Не прошло и двух-трех часов, как нам докладывают, что командир блиндированного поезда азербайджанцев прибыл на встречу с нами.

Мы вышли на середину моста. Сюда подошел и командир их поезда, человек высокого роста, возрастом старше Ефремова, с усами, глубоким шрамом на лице, чуть полный, но бравый. Вел он себя строго, официально. Познакомились. Он отрекомендовался штабс-капитаном царской армии Лордкипанидзе. Стремясь ослабить его настороженность, расположить его к себе и к тому же узнать, что он за человек, мы в ходе разговора сказали ему:

— Войны не будет. Вы штабс-капитан царской армии, опытный командир, если бы служили у нас, то получили бы командование дивизией, так как у нас офицеров мало. Переходите, мы охотно вас примем.

До этого офицер был спокоен, говорил сдержанно. Но, услышав наше предложение, повысил голос:

— Как вы можете мне это предлагать! Чтобы я, дворянин Кутаисской губернии, офицер русской армии, получивший ранение на войне,— он показал шрам на лице,— перешел на сторону большевиков? Этому не бывать!

— Что вас так разволновало, штабс-капитан? У нас много офицеров, которые раньше были в царской армии, а теперь служат у нас.

— Нет и нет,— ответил он.

— Как хотите, дело добровольное.

Расстались мы все-таки мирно.

Наша цель была достигнута: нам удалось усыпить бдительность азербайджанских офицеров и солдат, не дать им почувствовать, что мы готовимся к выступлению.

...Ночь на 27 апреля. Погода стояла теплая, тихая, ярко светила луна.

Ефремов провел беседу с командирами бронепоездов, дал им необходимые указания. В половине двенадцатого устроили митинг экипажей бронепоездов и десантного отряда. Митинг открыл Ефремов. Он разъяснил оперативную задачу, поставленную командованием армии перед бронепоездами. Его выступление заняло не больше пяти—семи минут. Столь же кратко мною было разъяснено политическое значение нашего выступления, значение Азербайджана, как ворот на Восток, для победы мировой революции, значение бакинской нефти для всей экономики нашей страны. Мы должны быть готовы на любые жертвы, чтобы выполнить историческое задание: лихим налетом пробиться в Баку.

Красноармейцы заняли свои места в вагонах.

Мы с Ефремовым находились на орудийной площадке бронепоезда. Впереди поезда была прицеплена платформа, на которой стояли два заранее проинструктированных красноармейца.

Ефремов держал часы в руках и ровно в ноль часов десять минут дал приказ начать движение.

Двигались тихо, осторожно, чтобы не быть преждевременно обнаруженными. Въехали на мост, подходим к азербайджанскому посту. Там ничего не понимают.

— Что происходит? — спрашивают.

— Едем в Баку. Хотите, поедемте с нами,— отвечаем им.

Тем временем два красноармейца соскочили с

передней платформы, осмотрели места, которые им указал Ефремов, перерезали телефонные и телеграфные провода, идущие от караульного помещения к станции Ялома.

Выслушав рапорт красноармейцев о выполнении задания, Ефремов громко скомандовал:

— Десантному отряду высадиться!

Азербайджанские солдаты разбежались. Кто-то из них открыл огонь, но вспыхнувшая было стрельба быстро прекратилась. Минут через пятнадцать бронепоезд пошел вперед.

По данным разведки, слева по ходу поезда, недалеко от станции Ялома, в лесу, был расположен отряд жандармерии. Чтобы его обезвредить, высадили десант с заданием пробраться лесом к казармам и окружить жандармов. Наши орудия сделали несколько выстрелов по казармам. Произошли короткие стычки, жандармы разбежались. Десантный отряд, состоявший из латышских стрелков, потерял при этом троих убитыми, несколько человек было ранено.

Но возникла новая опасность. На путях у станции Ялома стоял паровоз под парами. Ефремов высказал опасение, что его могут пустить нам навстречу, чтобы столкнуть с нашим бронепоездом и сорвать операцию. Он дал команду ударить по передним колесам паровоза. У нас были хорошие артиллеристы: уже третий снаряд попал прямо в цель, и паровоз уткнулся в землю.

Подъехали к станции. Никого нет. Ефремов и я сошли с бронепоезда с карабинами на плечах. Я хотел войти в здание вокзала, но Ефремов остановил меня.

— Нет, так не делают,— сказал он и, вытащив для предосторожности гранату, открыл дверь. Вошли. В зале никого. Открываем дверь в соседний зал и видим: за столами, стульями спрятались человек пятнадцать железнодорожников и несколько пассажиров. Железнодорожники там были в большинстве русские. Обращаемся к ним:

— Почему прячетесь? Вы что, против Советской власти?

— Нет,— говорят.

— Красная Армия идет, железнодорожники должны быть на местах.

Среди присутствовавших был толстый азербайджанец в форме чиновника лесничества. Он очень волновался и спросил, может ли он уйти в свой служебный вагон. Ему, конечно, разрешили: мы стремились создать атмосферу мирного похода, а не военной обстановки.

Поговорив с железнодорожниками, поручили им поддерживать полный порядок на станции Ялома. Оставили там двух красноармейцев.

Когда уже рассвело и наступил день, мы с движущегося поезда видели, как по обеим сторонам железнодорожного полотна крестьяне обрабатывают свои поля, пашут, сеют. Поезд наш шел с поднятым красным стягом. Крестьяне неизменно приветствовали нас возгласами и поднятием рук. Мы восклицали в ответ: «Да здравствует Советский Азербайджан!», «Да здравствует дружба между азербайджанским и русским народами!».

У станции Худат дал о себе знать мусаватский блиндированный поезд. Из-за холма он открыл огонь по нашему бронепоезду, но стрелял неметко — не было ни одного попадания. Мы не отвечали: видимости цели не было, расходовать снаряды понапрасну не хотелось.

Двигались осторожно, опасаясь, не минирована ли дорога. Мусаватский поезд продолжал стрелять, уходя все дальше. Вскоре он вообще скрылся. На станции Худат я вызвал по телефону соседнюю станцию, спросил, не находится ли там азербайджанский блиндированный поезд и его командир Лордкипанидзе. Через некоторое время к телефону подошел Лордкипанидзе. Говорю ему:

— Зачем вы решили сопротивляться и воевать с нами? Мы не хотим воевать. Переходите на сторону Красной Армии.

— Я офицер царской армии, дворянин и к большевикам переходить не намерен.

На этом разговор наш прервался.

Подходя к станции Хачмас, мы увидели, что большой отряд рабочих ремонтирует поврежденное железнодорожное полотно. Нас глубоко тронула и обрадовала забота рабочих о продвижении Красной Армии. Мы получили возможность продолжать путь без задержек. По прибытии нашего поезда на станции возник митинг с участием всех, кто там был. Говорили о значении установления Советской власти, о дружбе народов, о необходимости соблюдать полный порядок.

Вдруг кто-то со слезами радости на глазах бросается ко мне на шею. Узнаю бакинского коммуниста Перевердиева, с которым вместе работали в подполье. Обнялись. Помню, я сказал ему, что сейчас не время для слез, что нужно работать. Его тут же, на митинге, объявили председателем ревкома Хачмаса.

Подходим к станции Сумгаит. Ефремов регулярно посылал с дороги донесения Левандовскому о нашем продвижении. Командование знало, где мы находимся, и, видимо, было довольно нашими действиями. Неожиданно в Сумгаите мы получили телеграмму Левандовского о том, что бронепоезд «III Интернационал» далеко оторвался от основных частей, что есть угроза его уничтожения, поэтому нужно несколько отойти назад и держаться ближе к своим войскам.

Телеграмма была неприятной. Мы не понимали, чем вызвано изменение прежнего приказа, какая информация могла послужить поводом для этого. Никакой другой причины, кроме осторожности, мы себе не могли представить. Стали обсуждать создавшееся положение. Если двинемся назад, противник подумает, что мы отступаем, и может разрушить железнодорожное полотно. Как поступить? Ответили Левандовскому, что находимся в Сумгаите и, следовательно, прибрежный участок железной дороги уже прошли. В случае нашего отхода назад каспийская флотилия мусаватского правительства может расстрелять нас с моря. А ведь эту опасность мы уже миновали. Считаем, писали мы в завершение донесения, что теперь двигаться вспять уже невозможно, а надо продолжать выполнять приказ прорваться в Баку, что и делаем.

Так как указание о нашем отходе было изложено Левандовским не в очень строгом тоне, мы решили, не ожидая ответа на нашу телеграмму, двинуться дальше.

Еще на станции Хачмас нам в руки попала свежая бакинская газета, из которой узнали, что 27 апреля вечером азербайджанское правительство устраивает в Баку прием для иностранных представителей.

— Хорошо было бы нам занять Баладжары[1] и перекрыть дипломатам путь по железной дороге из Баку и не дать им бежать в Тбилиси,— сказал я Ефремову.

Он посмотрел на часы, подумал и сказал:

— Наверное, успеем. Они не смогут удрать.

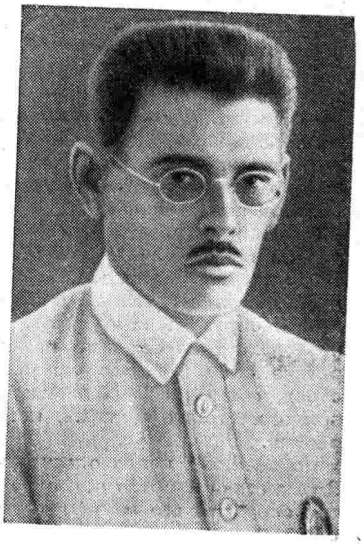
[1] Баладжары — узловая железнодорожная станция, от которой отходит тупиковая линия на Баку.



Леван Гогоберидзе (1919 год).



М. К. Левандовский.



Н. Ф. Гикало.

— Знаете, почему важно задержать иностранных дипломатов в Баку? — спросил я Ефремова.— Если они там застрянут, мы смогли бы их арестовать в качестве заложников с тем, чтобы потом обменять на революционеров, арестованных англичанами.

Ефремов меня поддержал. Дипломаты не успели выехать из Баку и были нами арестованы. Однако через некоторое время Чичерин прислал телеграмму с требованием освободить их, и нам пришлось это требование выполнить.

Случай с дипломатами напомнил мне о другом эпизоде, происшедшем за год до этого — во время бакинской майской всеобщей забастовки в 1919 году.

Между делегацией рабочих и хозяевами промыслов шли переговоры в присутствии «арбитра» — мусаватского министра Сафикурского. В зале находился также представитель английских оккупационных войск — разведчик капитан Валтон. В переговорах он не участвовал, но ход их контролировал. Я подошел к нему и как бы в шутку спросил, как ему понравились наши листовки, распространенные в день забастовки на английском языке среди солдат английского гарнизона в Баку. С типичным английским юмором он ответил: «Что содержание плохое, сказать я не могу; перевод же на английский отвратительный». В том же тоне я сказал: «Насчет плохого английского языка вы правы. У нас нет хорошего переводчика. Но скоро Советская власть победит в Баку, и мы сможем взять вас в качестве переводчика, как превосходного знатока английского и русского языков!» Мы обменялись улыбками и разошлись.

Теперь, год спустя, разговаривая с Ефремовым в бронепоезде о задержке дипломатов, я рассказал ему этот эпизод, и мы шутили, что было бы хорошо в Баку среди дипломатов встретить Валтона и предложить ему стать нашим переводчиком.

...Когда подходили к Баладжарам, уже стемнело. По нашему поезду был открыт артиллерийский огонь. Ефремов приказал десантному отряду высадиться и продвигаться вдоль железной дороги по обеим сторонам бронепоезда. Впереди поезда шли несколько красноармейцев и проверяли, не минирован ли путь. Поезд шел медленно, и в полночь прибыл в Баладжары.

Здесь мы провели краткий митинг, на который пришло много рабочих. Затем собрали коммунистов местной ячейки — их было человек 30 — и раздали им винтовки. Назначили из местных рабочих ревком станции Баладжары.

Ефремов получил сведения о том, что азербайджанское правительство попросило у грузинского меньшевистского правительства прислать на помощь бронепоезд. Грузинское правительство дало указание выделить бронепоезд и еще какие-то другие силы. В связи с этим Ефремов принял решение: одному из наших бронепоездов углубиться километров на 150—200 в сторону Елизаветполя (ныне Кировабад). Если по дороге появится бронепоезд грузин, стычек с ним избегать, а взорвать лежащий на его пути мост, чтобы задержать его продвижение на двое суток, пока подойдут наши главные силы. Остальным бронепоездам обеспечить продвижение частей XI Армии.

Ночью мне позвонил из Баку легендарный Камо и сообщил, что мусаватское правительство Азербайджана, сознавая безнадежность своего положения, предложило мирно сдать власть коммунистам, освободив арестованных деятелей компартии при условии, что члены правительства не будут преследоваться. Это условие было принято.

Я сказал Камо, что мы выезжаем из Баладжар и рано утром будем в Баку. Поезд двинулся вперед. Шли медленно, так как опасались минирования полотна. К 6 часам утра 28 апреля прибыли на бакинский вокзал.

Когда мы ехали в автомашине по городу, то видели, что на стенах домов было расклеено обращение Азербайджанского Военно-Революционного Комитета:

«ВСЕМ, ВСЕМ, ВСЕМ!!!

Москва, Ленину.

Временный Военно-Революционный Комитет Азербайджанской советской независимой республики,



М. Г. Ефремов (справа) со своим отцом — Г. Е. Ефремовым. (Снимок до 1922 года.)

ставший у власти по воле революционного пролетариата г. Баку и трудового крестьянства Азербайджана, объявляя старое мусаватское правительство изменниками народа и врагами независимости страны, порывает всякие отношения с Антантой и с другими врагами Советской России.

Не имея возможности собственными силами удержать натиск соединенных банд внешней и внутренней контрреволюции, Военно-Революционный Комитет Азербайджана предлагает правительству Российской Советской Республики вступить в братский союз для совместной борьбы с мировым империализмом и просит немедленно оказать реальную помощь путем присылки отрядов Красной Армии.

Военно - Революционный Комитет Азербайджанской республики: Нариман Нариманов, Мирза Давуд Гусейнов, Гамид Султанов, Алимов и Али Гейдар Караев».

Мы подъехали к зданию Азербайджанского парламента, где уже несколько часов заседали члены Военно-Революционного Комитета и ЦК Компартии Азербайджана. При входе в здание нас охватило острое, радостное чувство. В моей памяти ожила картина событий, которые проходили у этого же здания ровно год назад.

Тогда в Баку хозяйничали английские оккупационные войска. Неподалеку от этого места разместился их штаб, рядом были казармы с английскими солдатами. 1 Мая состоялась грандиозная демонстрация трудящихся, организованная нашей партией, работавшей в нелегальных условиях. 50 тысяч рабочих из разных районов тесными колоннами прошли по главным улицам Баку, по набережной. По пути они останавливались в нескольких местах, где с грузовиков, служивших трибунами, произносились краткие речи. Демонстранты прошли и перед зданием штаба английских войск, на балконе которого в это время стояли английские генералы и штабные офицеры. Состоялся краткий митинг. С грузовика я выступил с речью против английских оккупантов, против установленного ими полицейского режима в Баку, за их немедленный уход с Кавказа, за свободу и демократические права рабочего класса, за Советский Азербайджан. Выступление мое переводил на английский язык молодой участник демонстрации, так что находившиеся на балконе англичане также могли понимать, что говорилось. Затем шествие остановилось перед Азербайджанским парламентом. Выступая здесь с грузовика, я обратился к стоявшим на балконе членам парламента: смотрите, какая сила идет по улицам Баку. Знаете ли вы, что через год в этом здании будете заседать не вы, капиталисты и помещики, а Совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Азербайджана?

Как было радостно вспомнить все это сейчас, год спустя, накануне первомайского праздника, когда в том же здании заседало рабоче-крестьянское правительство Советского Азербайджана! Мечта бакинских революционеров, высказанная год тому назад, сбылась даже досрочно — на два дня раньше 1 Мая.

Две ночи мы не смыкали глаз: не было времени, да и желания. Радость и жажда деятельности переполняли нас. 30 апреля в Баку стали входить части XI Армии. Начались народные торжества, в которых приняли участие прибывшие в город член Реввоенсовета Кавказского фронта Орджоникидзе, члены Реввоенсовета XI Армии Киров, Левандовский, Механошин. Они посетили также стоянку бронепоезда «III Интернационал», поздравили бойцов с успешным рейдом. Орджоникидзе вручил Ефремову боевой орден Красного Знамени.

Вспоминаю, что награждению Ефремова мы все радовались не меньше, чем он сам. Тогда редко кому вручался орден Красного Знамени, единственный тогда боевой орден. Это было признанием больших заслуг Ефремова как красного командира.

Всего два-три дня, проведенных вместе с Ефремовым, оставили глубокий отпечаток в моем сознании. Бывают в борьбе, в жизни такие моменты, когда за несколько дней узнаешь человека лучше, чем иногда за много лет совместной работы. Я проникся глубоким уважением и товарищеской любовью к этому ранее незнакомому мне человеку, обаятельному в обращении с людьми, бесстрашному в бою, спокойному и решительному, внушающему к себе доверие товарищей и подчиненных. Таким навсегда остался в моей памяти образ этого красного командира-героя.

...В Баку власть Советов победила мирно, без кровопролития. Но уже в мае разбежавшиеся мусаватские министры, помещики, купцы, реакционное офицерство организовали опасное вооруженное восстание в Елизаветполе, выступили против стоявших там наших войск. В результате боев на улицах города восставшие потерпели поражение. Вскоре контрреволюционные мятежи вспыхнули в Карабахе и в двух других уездах, но и они были подавлены. Боевые операции по разгрому этих мятежей, в которых участвовали и дислоцированные здесь мусаватские войска, осуществлялись частями XI Армии под командованием Левандовского вместе с Военно-Революционным Комитетом Азербайджанской республики.

Хочется поделиться впечатлениями об этом незаурядном человеке. Всегда подтянутый, вдумчивый, скупой на слова, он говорил обычно кратко, но всегда продуманно и содержательно.

Михаил Карлович Левандовский запомнился мне как решительный и волевой командир. На вид он был суровым человеком, но имел доброе сердце. Он никогда не оставался безучастным к нуждам

красноармейцев и командиров. Особенную заботу он проявлял о рядовых. Наряду с этим он был требовательным и твердым в исполнении принятых решений.

Большие организаторские способности, выдающийся талант военачальника, беспредельная преданность Коммунистической партии и советскому народу — главные черты этого замечательного человека.

В ЧЕЧНЕ

В период работы в Ростове секретарем Юго-Восточного Бюро ЦК мне часто приходилось бывать на заседаниях Реввоенсовета округа, в состав которого входил и я. Командующим войсками Северо-Кавказского военного округа тогда был К. Е. Ворошилов, его помощником — М. К. Левандовский.

Реввоенсовет заседал регулярно. В числе обсуждавшихся Советом дел были и актуальные тогда вопросы о борьбе с проявлениями бандитизма в крае. Помню, Левандовский принимал самое активное участие в разработке этих мероприятий.

В январе 1923 года мы с ним участвовали в поездке в Чечню, входившую тогда в состав Горской республики. Ездили мы туда для провозглашения автономии чеченского народа.

Чеченцы — самая большая по численности национальность среди северокавказских горских народов. По уровню развития Чечня в то время была, пожалуй, наиболее среди них отсталой. В аулах господствовал патриархально-родовой быт с непререкаемой властью стариков, духовенства и племенных вождей, между которыми шли бесконечные распри и раздоры. Если не считать нескольких открытых к тому времени при Советской власти школ в плоскостной Чечне, остальные школы были религиозные, мусульманские, с преподаванием на малопонятном для чеченцев арабском языке. Чеченский язык не имел своей письменности. Судебные дела вершились духовными лицами в шариатских судах с их унаследованными со времен средневековья нормами мусульманского феодального права. Других народных или государственных судов в Чечне не было.

Несмотря на малоземелье, низкий жизненный уровень населения, чеченцы не стремились в город Грозный, расположенный в центре Чечни, второй тогда после Баку, быстро растущий нефтяной район нашей страны. Ко времени событий, о которых идет речь, в составе грозненских рабочих чеченцев почти не было. Лишь через год после предоставления чеченцам автономии, в результате принятия особых мер по привлечению их в нефтяную промышленность, число нефтяников-чеченцев достигло нескольких сот человек.

Положение в Чечне к моменту нашей поездки было тяжелое: там орудовали остатки антисоветских, реакционных элементов, которые провоцировали чеченцев на выступления против Советской власти, организовывали банды, нападавшие на предместья Грозного, на нефтепромыслы, железнодорожные станции. Были случаи убийств советских работников в чеченских селениях.

На основании одних воспоминаний трудно, конечно, дать точную оценку тогдашней обстановки в Чечне. Однако сохранилась запись выступления председателя Чеченского ревкома Таштемира Эльдерханова о положении в Чечне к моменту провозглашения ее автономии. Выступал Эльдерханов в феврале 1924 года, то есть спустя год после провозглашения автономии, на заседании Чечревкома, где и мне пришлось принимать участие.

Вот эта запись выступления Эльдерханова, какой она сохранилась в архиве:

«Нужно сказать, какое наследство новая власть автономной Чечни получила от Горреспублики. Здесь нужно указать, что на всей территории автономной Чечни отсутствовала не только твердая власть, но и вообще какая бы то ни было Советская власть. Бандитские шайки, руководимые атаманами,— крупные бандитские шайки не только не давали покоя в самой Чечне, но свои действия перебрасывали на соседние государственные образования, на казачьи станицы и, в общем, создали полный террор. Были покушения на транспорт, железную дорогу. Не было почти ни одной школы, которая является базой благополучия населения. Нужно было на местах создать власть. Здесь ревком сталкивался с самыми неблагоприятными обстоятельствами для создания такой власти, которая отвечала бы советскому строительству».

В соответствии с пожеланиями коммунистов и передовых людей Чечни, чтобы приблизить Советскую власть к населению, вырвать его из-под влияния реакционного духовенства, ВЦИК принял 30 ноября 1922 года декрет об образовании Автономной Чеченской области. Для осуществления этого мероприятия в январе 1923 года мы и направились туда с К. Е. Ворошиловым. Вместе с нами ехали также С. М. Буденный, работавший заместителем командующего войсками Северо-Кавказского военного округа, и М. К. Левандовский.

Участие в этой поездке Левандовского было весьма кстати, потому что он лучше нас знал и Грозный и всю Чечню, был хорошо знаком с обычаями чеченского народа. Активный участник гражданской войны в Терской области, Левандовский, возвратившись в начале 1918 года из армии в Грозный, сразу же оказался в гуще борьбы за Советскую власть, с головой ушел в работу по созданию красногвардейских отрядов, а затем красноармейских частей. После отступления войск Красной Армии в Астрахань в начале 1919 года на его долю выпала тяжелая и ответственная обязанность по формированию 33-й Кубанской дивизии, куда вошли остатки XI Армии. Революционных чеченцев тогда возглавлял коммунист Асланбек Шерипов, который затем пал в бою с белогвардейцами. В борьбе с деникинской контрреволюцией в Терской области гремело имя Николая Гикало, руководителя партизанских соединений и партийных организаций, охватывавших как революционных рабочих, так и чеченские партизанские отряды. О подвигах Гикало, о том, какое доверие питали к нему чеченские партизаны, ходили буквально легенды.

Рассказывали, что как-то партизанскому отряду нужно было перейти в наступление. Однако в отряде среди чеченцев появились колебания. Гикало не смог убедить партизан и поднять их дух к наступлению. Тогда он заявил чеченцам: «Поскольку имеются разногласия, я спрошу у Ленина, как нам поступить». Он отошел за деревья, воткнул большую палку в землю, что-то приставил к уху и стал громко говорить, чтобы было слышно отряду: «Москва, Москва, товарищ Ленин, это говорит Гикало. У нас разногласия — наступать или нет. Как быть — дайте указания». Затем несколько раз повторил: «Да-да»,— как будто он на самом деле слушал Ленина. «Значит, товарищ Ленин, говорите, что наступать? Понял, понял, наступать».

Отряд пошел в наступление и добился успеха. В тот период многие горские чеченцы о телефон-



В Чечне (1923 год).
Стоят (справа налево): А. И. Микоян, К. Е. Ворошилов, С. М. Буденный и Таштемир Эльдерханов.

ной, а тем более о радиосвязи имели представление только понаслышке. Тем не менее сколько нужно было смелости и мужества, чтобы рискнуть на такой метод «убеждения» колеблющихся!

Я близко познакомился с Николаем Федоровичем Гикало, когда приехал работать на Северный Кавказ. Он оказался не только легендарным партизаном и несгибаемым революционером, но и опытным, политически подготовленным партийным работником. Гикало работал секретарем Горского обкома РКП(б), затем одним из секретарей Северо-Кавказского крайкома партии. Во время нашей совместной партийной работы на Северном Кавказе Гикало еще больше вырос как руководящий партийный деятель.

Левандовский хорошо знал и Асланбека Шерипова и Гикало. Он знал также многих других местных революционных работников.

Чтобы привлечь внимание чеченского народа к провозглашению автономии как акту большой важности, чтобы поднять авторитет автономного ревкома Чечни, заручиться поддержкой автономной власти со стороны чеченцев, было решено объявить об автономии Чечни в торжественной обстановке на съезде чеченского народа. Конечно, речь не могла идти о съезде в обычном понимании. Фактически был намечен созыв большого представительного митинга, на котором присутствовали бы наиболее влиятельные жители чеченских аулов.

Съезд надо было по идее провести в центре Чечни — в Грозном. В этом городе Советская власть уже держалась крепко, а в аулах Чечни она была еще очень слабой. Но между Грозным и аулами общения почти не было. Больше того, существовала отчужденность Чечни от Грозного, так как чеченцы боялись наказания за нападения на предместья города. Поэтому возникло опасение, что представители многих чеченских аулов не приедут на съезд в Грозный. Стало ясно, что если съезд созывать в Грозном, он мог бы провалиться.

Решили провести съезд в самом большом селении Чечни — Урус Мартане, находящемся примерно в 30 километрах от Грозного. Решение это было нами принято по прибытии в Грозный, с участием местных чеченских и грозненских руководящих работников, после всестороннего обсуждения вопроса. Конечно, поездка в Урус Мартан была связана с большим риском: там нас просто могли уничтожить бандитские группы. Незадолго до нашего приезда в Чечне был убит председатель Ревтрибунала Андреев. Но другого выхода у нас не было, иначе все это важное мероприятие могло сорваться. Надо было ехать в Урус Мартан.

Климент Ефремович предложил обставить эту поездку с большим внешним эффектом.

— Чеченцы любят эффект и помпезность. Возьмем с собой два духовых оркестра, чтобы они попеременно играли,— сказал Ворошилов.

— Это верно, оркестранты будут одновременно и скрытой охраной,— дополнил Левандовский.

Так и решили. С нами ехал также Эльдерханов — коммунист, чеченец по национальности. Декретом ВЦИК от 30 ноября 1922 года об образовании Чеченской автономной области он был назначен председателем ревкома области. Ехали с нами также и другие члены ревкома.

Буденный оделся в полную военную форму. На боку висела шашка эмира Бухарского, сверкавшая серебром и разноцветными камнями. Широкая красная лента, перекинутая через плечо, ярко бросалась в глаза. В общем, Семен Михайлович своей подтянутостью и некоторой торжественностью производил эффектное впечатление, не говоря уже об осанке и натуральных буденновских усах.

Направляясь в Урус Мартан, мы по дороге устраивали остановки у могил, в которых были похоронены чеченцы и наши русские товарищи, погибшие от рук белоказаков. Сходили с коней, склоняли головы, а оркестранты исполняли траурную мелодию. Уважение к погибшим товарищам высоко ценится у кавказских народов. Весть о нашем поклонении могилам быстро распространилась по аулам, из которых все новые и новые сотни всадников, вооруженных кинжалами, шашками, винтовками, револьверами, присоединялись к кортежу и вместе с нами двигались в Урус Мартан. По мере нашего продвижения местные жители все почтительнее приветствовали нас. Мы почувствовали, что чеченцы относятся к нам хорошо. С нами был фотограф, который производил съемки наиболее важных эпизодов нашего пути. Чеченцам нравилось, когда их фотографировали, и у

фотографа едва хватало пластинок на всех желающих сфотографироваться.

В Урус Мартан въезжали с подъемом, торжественно. Впереди ехали верхом на конях два наших оркестра, со знаменами, с пиками, на которых были прикреплены красные флажки. Шествие замыкали около двух тысяч примкнувших к нам по пути чеченских всадников.

Урус Мартан—большое село, за ним виднелось зеленое поле, подготовленное для проведения собрания. Стояла только что сооруженная небольшая трибуна. Перед трибуной несколько рядов скамеек для стариков. Народу собралось около десяти тысяч человек. Одни сидели на траве, другие стояли, многие были на лошадях. И вся эта масса народа расположилась вокруг трибуны, оказавшейся, таким образом, в самом центре.

Первым выступил Ворошилов, который сказал примерно следующее.

После славной победы Октября помещики и капиталисты начали гражданскую войну против рабоче-крестьянского правительства. Их поддержали иностранные капиталисты, которые прислали в помощь белогвардейцам вооружение и свои армии. Контрреволюционные войска были разбиты, интервенты изгнаны из пределов нашей Родины. Уже третий год на всей территории страны Советская власть все более набирает сил, становится все крепче. Наша Красная Армия дала предметный урок капиталистам. Международный авторитет Советской России растет с каждым днем. Экономическая блокада нашей страны ликвидирована, капиталистические страны налаживают торговлю с нами, а с некоторыми из них устанавливаются дипломатические отношения.

Далее Климент Ефремович говорил о мирном созидательном труде, о том, что завоеванный мир дает нам возможность, продолжая оставаться начеку и укрепляя Красную Армию, посвятить теперь все силы хозяйственному и культурному строительству.

Потом я говорил о национальной политике Советской власти.

В первые же дни после Октябрьской революции Ленин объявил о равных правах всех народов страны, о праве наций на самоопределение. Наряду с Советской Россией возникли другие советские республики, они тесно сотрудничают друг с другом, составляя одну семью советских народов. Самоопределились и горские народы Северного Кавказа, образовав Дагестанскую республику и многонациональную Горскую республику. Затем из Горской республики выделились автономные области — Кабардинская, Карачаево-Черкесская и Адыгее-Черкесская. Теперь Советское правительство, прислушиваясь к голосу чеченского народа, в соответствии с его желанием, приняло решение о провозглашении автономии Чечни. Партия большевиков и Советское правительство надеются, продолжал я, что чеченский народ, объединенный ныне в автономной области, имея свою национальную чеченскую власть с местопребыванием в городе Грозном, занимающем центральное положение в отношении всех районов Чечни, достигнет больших успехов в деле укрепления советского строя, подъема хозяйственной жизни, налаживания кооперативной торговли, в деле развития культуры и здравоохранения.

Затем выступил Буденный. С большим подъемом он рассказал о подвигах Красной Армии в гражданской войне, о победах, одержанных над Деникиным, Врангелем, Колчаком, обрисовал мощь советской кавалерии, артиллерии, беззаветную храбрость пулеметчиков на тачанках, бывших тогда на вооружении Красной Армии. Так сильна, так хорошо организована наша Красная Армия, сказал он, что она в состоянии разбить любого врага, который посягнет на Советскую страну.

Чеченцам явно импонировал вид Буденного, они с интересом и симпатией смотрели на него, внимательно слушали. Было слышно, как то здесь, то там чеченцы с восторгом произносили на своем языке: «Большой генерал!»

Затем выступил Эльдерханов. Он благодарил Советскую власть за предоставление автономии Чечне и призывал чеченцев всемерно поддерживать власть Советов. Он говорил об организации работы сельских Советов, районных органов власти, об укреплении революционного порядка в Чечне, налаживании хороших отношений между чеченцами и жителями Грозного, с населением соседних казачьих станиц, с народами Дагестана и Горской республики, остановился на том, как экономически отстал чеченский народ, как плохо он еще живет. Нет до сих пор ни одной нормальной школы, нет больниц, нет развитой торговой сети; дороги и мосты находятся в плохом состоянии. Можно ли терпеть такие факты, обращался он к горцам, как нападения на железные дороги, нефтяные промыслы, грабежи, которые позорят чеченский народ, мешают его развитию и дружбе с другими народами — русским, дагестанским, осетинами, ингушами? Чеченский ревком берет на себя полную ответственность перед Москвой, сказал он, за установление твердого советского порядка в области и надеется на поддержку чеченского народа.

В самом начале выступления Эльдерханова старики чеченцы неожиданно пали на колени, видны были их спины. Мы недоумевали: не является ли это демонстрацией недоверия или протеста против высказываний Эльдерханова? Но чеченские товарищи объяснили нам, что наступило время намаза (молитвы), и вот старики стали молиться. Кстати сказать, Левандовский, будучи фотолюбителем, заснял много интересных сцен из этой поездки, и в частности момент, когда старики чеченцы молились на митинге. Он показывал мне потом эти снимки.

Митинг завершился выступлениями нескольких стариков чеченцев, которые в пышном восточном стиле выражали благодарность Советской власти за предоставление автономии. Они при этом высказывали надежду, что смогут сохранить свои старинные традиции и обычаи. Со своей стороны они обещали помощь в установлении мира и порядка в области.

Митинг закончился во второй половине дня. Мы намеревались и фактически имели возможность засветло вернуться в Грозный, но старики окружили нас и стали уговаривать:

— Раз приехали в гости, оставайтесь ночевать. Мы обидимся, если уедете.

Было ясно: если мы уедем, горцы сочтут, что мы струсили. А горцы очень не любят трусов.

Посоветовавшись между собой, дали согласие остаться ночевать. Чеченцы обрадовались, разместили нашу группу в двух больших комнатах одного дома, а рядом, в других домах,— оркестрантов, а также товарищей, присоединившихся к нам в Грозном.

Эльдерханов предложил устроить вечером танцы, чтобы поближе познакомиться с молодежью.

Наступил вечер. Заиграла гармонь. Несколько парней и девушек пустились в пляс.

Решили устроить конкурс с денежными призами: мужчинам за лучшее исполнение танца, а девушкам и за исполнение танца и за красоту. В конкурсное «жюри» вошли Буденный, Левандовский и я. Танцевали очень хорошо. Не выдержал и гармонист: он од-

новременно играл на гармони и танцевал, причем выделывал такие коленца, что вызывал всеобщее восхищение.

Взыграла кровь и у Семена Михайловича. Неожиданно для всех он ворвался в круг и пустился в пляс, лихо танцевал лезгинку, как настоящий горец. Чеченцы в восторге начали дружно хлопать в ладоши и выкрикивать: «Асса!», «Асса!»

Яркая картина охватившего всех веселья и сейчас живо встает перед моими глазами, словно это было вчера. Вспоминается и такой эпизод, курьезный, но характерный для темперамента горцев. Климент Ефремович поручил Левандовскому проинструктировать оркестрантов, то есть охрану, и других сопровождавших нас товарищей о том, как следует себя вести на случай стрельбы или какой-либо другой неожиданной суматохи, которая может подняться в селе ночью. При открытии чеченцами стрельбы наши сопровождающие должны воздержаться и не прибегать к оружию, за исключением случаев крайней необходимости в целях самозащиты. В числе других слушал эти указания Климента Ефремовича и председатель Чеченского ревкома Эльдерханов, интеллигентный, солидный, располагающий к себе и, по тогдашним нашим понятиям, пожилой человек. И вот Эльдерханов, под впечатлением огненной пляски Буденного, вызвавшей в нем прилив неподдельного энтузиазма, выхватил револьвер и трижды выстрелил в потолок дома, где мы находились. Мы только переглянулись,— неудобно было делать ему замечание в присутствии многих чеченцев. Поздно вечером, когда закончилось веселье и чеченцы ушли, мы удивленно спросили Эльдерханова, как мог он нарушить столь простую и ясную инструкцию. В свое оправдание он только развел руками и сослался на нахлынувшие на него чувства радости и общего подъема. Добавлю, чтобы не вызвать ненужных домыслов, что никаких спиртных напитков тогда никто из нас не пил.

Вечером, после ухода приглашенных чеченцев, мы обменялись впечатлениями о митинге, о настроениях чеченского народа и были довольны хорошим ходом событий. Нам сообщили, что среди присутствовавших на митинге чеченцев находился некий Али Митаев, известный духовный вождь одной из религиозных сект, настроенный реакционно, антисоветски. У него — собственный вооруженный отряд преданных ему горцев-мюридов. На митинге они находились среди тех, кто был на конях верхом. После митинга Али Митаев и его люди не уехали в свое село, а остались ночевать в Урус Мартане. Остались на ночь в Урус Мартане и другие главари вооруженных отрядов чеченцев.

Мы решили воспользоваться случаем, поговорить с этим человеком и поручили Эльдерханову через местных чеченцев пригласить его к нам для беседы, так сказать, «с глазу на глаз». Мы сидели на коврах и подушках: в помещении не было стульев. У каждого из нас был маузер, лежавший под подушкой. Ждали прихода Али Митаева. Вдруг двустворчатые двери шумно распахнулись. Появились два вооруженных с головы до ног чеченца, которые в глубину комнаты не вошли, а остались стоять у двери. Через несколько секунд спокойной походкой вошел Али Митаев— стройный мужчина в чеченской одежде, вооруженный кинжалом, шашкой, револьвером. Мы пригласили его сесть. После этого два охранника Али Митаева вышли из комнаты. По-русски он не говорил. Переводил Эльдерханов. Мы сказали, что хотим побеседовать откровенно, как представители Советской власти, с человеком, который, как мы знаем, пользуется влиянием у чеченцев и который борется против Советской власти. Мы хотели бы услышать от него, чем он недоволен, чем именно не нравится ему Советская власть.

Выслушал он нас спокойно, подумал и, не горячась, ответил:

— Почему я должен быть доволен Советской властью? Моего отца в свое время русское правительство арестовало и отправило в ссылку, где он умер. Я же прячусь от Советской власти, ибо, если попадусь, меня тоже арестуют. Иными словами, мне уготована та же судьба, что и моему отцу. Вот почему я, защищая себя, свой народ и свои обычаи, борюсь против Советской власти.

Мы ему разъяснили, что Советское правительство не отвечает за действия старого, царского правительства. Более того, коммунисты свергли царизм, сняли всех его чиновников. Поэтому неправильно ответственность за действия этих чиновников приписывать Советскому правительству, которое вышло из народа и стоит за равенство и дружбу всех народов страны, в том числе и чеченцев. Мы сказали ему: как официальные представители Советской власти, против вас лично и ваших товарищей ничего не имеем и готовы гарантировать вам всем полную свободу, если, разумеется, вы прекратите борьбу против Советской власти и ее представителей.

Далее мы подробно объяснили ему смысл объявления автономии Чечни, которая дает чеченскому народу возможность жить своими традициями, развиваться и строить новую жизнь. В ходе беседы выяснилось, что Али Митаева заинтересовала возможность примирения с Советской властью при условии, если будет сохранено его влияние в своем районе и ему будет разрешено держать при себе отряд верных людей.

И мы пошли еще на один шаг.

Дело в том, что для тогдашней сложной обстановки в Чечне характерным было большое влияние, которым пользовались среди чеченцев местные духовные князьки. Опираясь на еще живучие в то время религиозные и родовые традиции, они были фактическими вершителями всех дел среди чеченской массы населения.

Выделялись тогда в Чечне три главные реакционные группировки. Одна из них была влиятельной в районах плоскостной Чечни, где под воздействием близости города Грозного общий уровень развития был сравнительно выше, чем в других чеченских районах. К Советской власти эта группировка относилась, в общем, неплохо. Такие настроения были в некоторых самых бедных горных районах. Была другая, крайне реакционная группировка, господствовавшая в горных районах Чечни, особенно на границе с Дагестаном. Во главе этой последней стоял непримиримый враг Советской власти имам Нажмутдин Гоцинский, претендовавший на лидерство во всех районах Чечни, Дагестана и у других народов Северного Кавказа. Его резиденция находилась в труднодоступных горах, он располагал большим числом вооруженных мюридов, складами вооружения. Во время гражданской войны Гоцинский со своими отрядами выступал против Советской власти. В 1918 году он со своими вооруженными мюридами собирался вкупе с турецкими войсками идти в поход на Советский Азербайджан. Он вынашивал бредовые претензии на устранение Советской власти на Кавказе, который он объявил «своим государством». Требовал ухода Советской власти до границы, которая, по его «скромным» замыслам, должна была пройти где-то около Ростова. Лелеял мечты о присоединении к «своему государству» — ни мало ни много — Крыма и Туркестана,

угрожал зажечь пламя войны, если не будут приняты его условия. Теперь же Гоцинский отсиживался в своей резиденции и ни в какие отношения с представителями Советской власти не входил. Не приехал он, конечно, и на съезд в Урус Мартан. По имевшимся у нас данным, он был связан с разведкой западных стран через турецких и английских агентов.

Али Митаева и его секту, по их отношению к Советской власти, можно было бы поставить между этими двумя группировками. Али Митаев, как это выяснилось из его действий, оставаясь враждебным к Советской власти, стремился все же как-то прикрыть свои антисоветские настроения. Его группировка враждовала с другими и в отдельных случаях склонялась в сторону сотрудничества с советскими органами.

Учитывая все это, мы опасались, что наличие таких влиятельных в то время реакционных сил может серьезно мешать утверждению власти ревкома Чеченской автономной области. Поэтому мы решили пойти на эксперимент, который, как мы полагали, дал бы возможность вбить клин между этими группировками и привлечь одну из них хотя бы на временное тактическое сближение с Советской властью в теперь уже автономной Чечне. Думали мы также, что это в какой-то мере поможет в борьбе против банд, нападающих на железную дорогу и нефтяные промыслы. Это был, конечно, довольно рискованный эксперимент, предпринятый для того, чтобы найти выход из трудного положения. Мы заявили Али Митаеву:

— Вы человек молодой, способный и пользуетесь у чеченцев своего района определенным влиянием. Почему бы вам не участвовать активно в строительстве автономии чеченского народа? Вас утвердят членом Чеченского ревкома, то есть автономного правительства, с тем, чтобы вы могли под руководством Эльдерханова вести работу по повышению культуры и жизненного уровня чеченского народа.

Вначале это предложение удивило его: он не совсем верил в его серьезность. Но после дальнейших разъяснений, хотя все-таки и не без сомнений, он дал согласие быть членом ревкома. Мы расстались с ним по-хорошему.

...Ночь прошла спокойно. Правда, на всякий случай бдительный Левандовский дал оркестрантам приказ: один спит, другой бодрствует.

С наступлением утра мы отправились в обратный путь. Из села нас провожали как самых лучших друзей; много народа вышло на улицу. Несколько сот чеченцев верхом на конях сопровождали нас почти до самого Грозного. Возвращались мы с полной уверенностью, что сделали хорошее и нужное дело.

Мы сообщили в Москву о нашем предложении Али Митаеву, и вскоре он был назначен ВЦИКом членом ревкома Чеченской автономной области.

Став членом ревкома, Али Митаев раз в неделю приезжал в Грозный на заседания ревкома. Его сопровождали до самого здания ревкома около 30 всадников и ждали там конца заседания. Али Митаев выходил, садился на коня и в сопровождении своих людей возвращался в аул. Так продолжалось несколько месяцев. Но скоро стало известно, что он ведет двойную игру, продолжая враждебно относиться к Советской власти, и использует свое положение в антисоветских целях. Создалась опасная ситуация. Поступали сведения о том, что он укрепляет свои вооруженные отряды и замышляет в подходящий момент поднять восстание. Подтверждались данные о подрывной деятельности Али Митаева, о его прямых связях с имамом Гоцинским. Прятать свою деятельность ему становилось все труднее. Он прекратил свои поездки в Грозный на заседания ревкома. ОГПУ, встревоженное этим, добилось согласия ВЦИКа на его арест. Это произошло через год с лишним после введения его в состав Чечревкома.

Говоря об эксперименте с Али Митаевым, предпринятом с известным риском, надо отметить некоторые выгодные для Советской власти стороны. Этот эксперимент позволил Чечревкому укрепить свое влияние среди чеченских масс в районе, где действовал Али Митаев, а также и в других районах, которые стали постепенно поддерживать ревком. Было внесено некоторое успокоение в Чечне. Али Митаев и другие группировки вынуждены были действовать уже осторожнее, перестали открыто противодействовать советским органам. Вместе с тем было выиграно и время, за которое сформировались преданные Советской власти национальные кадры.

После образования автономии положение в Чечне стало улучшаться, хотя и медленно. Укрепление Советской власти было сопряжено с большими трудностями. Организация местных Советов осложнялась тем, что все делопроизводство до этого велось на русском языке, а чеченцев, хорошо знающих русский язык, было очень мало, их не хватало для замещения административных постов в советских органах. Другая часть местной интеллигенции прошла арабскую школу. Духовенство настаивало на том, чтобы делопроизводство и культурная работа в Чечне проводились на арабском языке — в противовес русскому. Мусульмане, которые знали арабский язык, и часть интеллигенции поддерживали эти настроения. А народ не знал ни арабского, ни русского языков.

В таких условиях, без национальной письменности, невозможно было ликвидировать безграмотность взрослого населения, поставить дело образования молодого поколения, наладить работу советских органов и вовлечь в нее трудовые слои народа.

Вот почему подлинно революционным событием явилось введение письменности на чеченском языке. Стало налаживаться издание учебников на чеченском языке, организовались курсы обучения чеченской письменности. Это дало свои плоды: через год в народных школах Чечни училось уже более 1 500 человек.

Весьма положительным фактором являлось то, что Чеченский ревком состоял из чеченцев, представлявших все районы Чечни. Они ездили в районы, встречались с народом. Стали проводиться мероприятия по землеустройству, строительству небольших мостов, открытию врачебных и фельдшерских пунктов. Были созданы органы государственной торговли с филиалами в районах. Чеченцы безбоязненно стали ездить в Грозный, торговать на базаре. Около 800 чеченцев удалось устроить за год работать на промыслах, где до этого чеченцы не работали. Чеченцы из районов стали охотно приезжать в Чеченский ревком и обычно обращались к тем членам ревкома, которые были из их района.

Но до нас дошли сведения, что между членами Чеченского ревкома нет спаянной работы, многие были настроены против председателя ревкома Эльдерханова. Каждый стремился насадить в аппарат своих сторонников из родственников и знакомых.

В связи с этим примерно через год после провозглашения автономии Чечни мне вновь пришлось побывать в Грозном, чтобы вместе с членами ревкома и бюро областного партийного комитета обсудить создавшееся положение. После откровенного обмена мнениями мы добились нормализации отношений между членами ревкома во главе с Эльдархановым. У него, конечно, были свои недостатки, за которые его сильно критиковали. Поддерживая справедливые

критические замечания и сдерживая необоснованные нападки отдельных членов ревкома, я в товарищеском плане поправлял их. В результате удалось приостановить разлад между ними и убедить, что все они должны работать на своих местах, что никого снимать мы не собираемся.

Крайне затруднительным было тогда финансовое положение в Чечне. Ревкому не хватало средств для проведения культурно-хозяйственных мероприятий, строительства школ, дорог, не говоря уже о содержании управленческого аппарата. Дотации, выделявшиеся ревкому из краевых средств, не могли покрыть огромных потребностей Чечни. В самой Чечне не было промышленных предприятий, торговая сеть только зарождалась, кооперация была еще очень слаба.

Грозный же был самостоятельным городом, и от его промышленности Чеченский ревком никаких отчислений не получал. В этих условиях многие чеченцы рассматривали Грозный как чуждый им город. Грабежи, которые здесь многократно совершали бандитские элементы, не вызывали у чеченцев осуждения. Зачастую бандиты свободно разгуливали по деревням, расценивая свои бандитские налеты как удальство.

Совершенно естественно, что назрела забота, как изыскать для Чеченского ревкома источники доходов, как заинтересовать чеченцев в успехе работы промыслов Грозного и привлечь их к активной борьбе с бандитскими элементами. Стало очевидным, что без вовлечения чеченских советских органов и самого чеченского народа в борьбу с бандитизмом грабежи не прекратятся. Обсудив все это с Эльдархановым и другими членами ревкома (среди них были Заурбек Шерипов, Джемал Токаев, Даут Арсанкулов), я поехал в Москву.

Доложив ЦК и правительству о создавшемся положении в Чечне, я внес предложение о том, чтобы материально заинтересовать чеченцев в успешной работе грозненской нефтяной промышленности. Предложение это получило одобрение, и было принято решение установить отчисления в пользу Чеченского ревкома с каждого пуда нефти, добытой в Грозном. Но одновременно было решено, что ущерб за грабежи, совершаемые чеченскими бандитами в Грозном, будет покрываться из этих отчислений Грознефти в пользу Чеченского ревкома. Такой мерой поступления в бюджет ревкома ставились в прямую зависимость от успехов борьбы с грабежами на промыслах.

Чечревком стал обращаться к чеченскому народу с призывами бороться с бандитскими вылазками, убедительно доказывая, что фактически бандиты грабят не Грозный, а бюджет автономной области, являющийся единственным источником строительства школ, дорог, больниц и прочего.

Все это привело к положительным результатам. Доходы Чечревкома увеличивались, влияние его укреплялось, расширялась культурно-хозяйственная работа, чеченцы успешно вовлекались в борьбу с бандитскими элементами.

Вот как об этом сказано в выступлении председателя ревкома Эльдерханова, записанном в протоколе заседания первого съезда Советов Чечни в июне 1924 года:

«Первой ударной задачей ревкома была ликвидация бандитизма. Наряду с этим ревком занялся строительством. При скудных средствах ревкому удалось построить несколько мостов, провести канал, открыть школьную сеть. Линия политики ревкома была взята та, которая предначертана Центром в соответствии с программой Коммунистической партии и в условиях чеченской действительности. Введен родной язык и национальная письменность в школах. Организовано мануфактурное товарищество «Чечпайторг» с отделениями на местах для снабжения трудящихся мануфактурой по дешевым ценам.

Борьба с бандитизмом достигла больших успехов: выслано до 60 бандитов, конфисковано 200 лошадей, арестовано до 500 бандитов. Главари бандитов почти все явились».

Прекращение грабежей свидетельствовало о большом оздоровлении обстановки в Чечне. Оно облегчило сближение между городом Грозным и чеченской деревней. В ходе борьбы с бандитизмом удалось лучшие элементы, особенно молодежь из крестьян, бедняков, середняков и интеллигенции, вовлечь в активную советскую работу.

Однако нападения на железные дороги все еще продолжались. Тогда мы решили пойти на новый рискованный эксперимент. Посоветовавшись с местными людьми, пригласили для беседы одного бывшего главаря бандитов (из числа явившихся в Чечревком с повинной; мы в таких случаях амнистировали их за прежние дела и предоставляли полные гражданские права), который имел своих сторонников — вооруженных людей, раньше участвовавших в нападениях и грабежах. Предложили ему набрать доверенных людей и возглавить охрану железной дороги. Договорились, что охране будет выплачиваться зарплата, а он, как начальник, будет получать больше остальных. Всем им предоставим право бесплатного проезда по железной дороге на чеченской территории. Железнодорожной администрации вменим в обязанность оказывать им всяческую помощь.

«Берете ли вы на себя при таких условиях ответственность за ликвидацию нападений на дороге?» — спросили мы его.

«Вожак» был высокого роста, красивый мужчина лет 40—45. По-русски говорил плохо, но понять его можно было. Он обрадовался такому к себе доверию и дал слово, что, если ему будет поручено, он подберет нужный состав охраны и ликвидирует нападения на железные дороги. «Я знаю, кто занимается этими нападениями,— сказал он,— и мои люди с ними справятся».

Мы выразили ему доверие, хотя, конечно, беспокоились, чем все это закончится (тем более, что наши чекисты были против этого «опыта»). Но через некоторое время выяснилось, что наш эксперимент оправдал себя: грабежи на дорогах действительно прекратились. При моем очередном приезде в Грозный вожак охраны представился мне — подтянутый, с шашкой, кинжалом и револьвером, он взял под козырек и на ломаном русском языке доложил, что всякие нападения на железные дороги прекращены и на дорогах Чечни полный порядок. Он очень был доволен тем, что я похвалил его и поблагодарил.

В конце июля 1924 года в Грозном состоялся первый областной съезд Советов Чеченской автономной области. До этого происходили выборы аульских и окружных Советов. В процессе выборов в советские органы выдвигались новые революционные элементы из чеченцев, из которых и создавался советский актив.

Постепенно старики потеряли монопольное право решать все дела в деревне. Советский актив, особенно из молодежи, стал играть все более руководящую роль в деятельности Советов.

На первом областном съезде Советов присутствовало около 400 делегатов. Многие из них приехали из самых отдаленных чеченских аулов. Знаменательно, что впервые на этом съезде была образована фракция РКП(б) в количестве 50 человек—это было серьезным шагом вперед в деле укрепления влияния ком-

мунистов в Чечне. Кроме того, среди делегатов съезда было уже 27 комсомольцев.

Эльдерханов убедительно просил меня прибыть на съезд и принять в нем участие. Крайкомом партии было признано целесообразным использовать эту встречу с чеченцами для укрепления позиций Советской власти в автономной области.

Вместе со мной на съезд поехал представитель ОГПУ на Северном Кавказе Ефим Георгиевич Евдокимов—опытный, способный чекист, пользовавшийся полным доверием Дзержинского. Евдокимов был тверд в делах, но благоразумен, выдержан, руководствовался прежде всего чувством партийного долга и ответственности.

Прилетели мы в Грозный на небольшом двухместном самолете немецкой фирмы «Люфтганза», обслуживавшей тогда на правах концессии пассажирские авиалинии, в частности на Северном Кавказе. Летчиком был также немец.

Съезд проходил в одном из городских клубов. Делегаты съезда приняли нас хорошо. Мне было предоставлено слово, и я подробно рассказал об успехах внешней и внутренней политики Советской власти, говорил о задачах Чеченской автономной области в деле укрепления Советской власти, налаживания народного образования, поднятия сельского хозяйства, развития торговли и кооперации на селе.

Двое выступавших после меня делегатов-чеченцев из стариков подняли вопрос об освобождении Али Митаева. Один просил освободить его из-под ареста во имя «великого исторического для трудящихся Чечни момента сбора плодов революционной борьбы». Другой просил освободить Али Митаева на поруки 60 делегатов съезда. Мне пришлось разъяснить, что арест Али Митаева вызван государственными соображениями, что ведется следствие, по окончании которого выяснится вопрос об освобождении его или о дальнейшем направлении дела.

Это происходило на первом заседании съезда, и у меня создалось впечатление, что этими моими разъяснениями вопрос был исчерпан. Но не тут-то было. После окончания первого дня съезда было созвано совещание совета старейшин для обсуждения вопроса о составе будущего исполкома области. Совещание длилось почти всю ночь. Видимо, группа стариков, сочувствовавших Али Митаеву, сговорилась воспользоваться этим совещанием, чтобы вновь поднять о нем вопрос. Чеченские делегаты выступали степенно, с характерной для них церемонностью, хвалили Советскую власть, говорили приятное и лично в мой адрес. Это были принятые на Востоке вежливые фразы, отражавшие скорее укоренившийся традиционный ритуал, чем действительные оценки.

Я благодарил выступавших за хорошие чувства, проявленные к Советской власти, за хорошее отношение ко мне, хотя подчеркивал, что моя роль и значение преувеличены, что их добрые слова в мой адрес отношу всецело к нашей партии и Советской власти.

В таком духе прошло несколько выступлений ораторов, а затем каждый выступавший стал завершать свои пышные речи просьбой ко мне — освободить из-под ареста Али Митаева.

Мои разъяснения, что таких прав я не имею, что сделать этого не могу, не производили нужного впечатления. Речи в защиту Али Митаева продолжались, причем некоторые из ораторов говорили долго, с горячностью и напряжением, даже доходили до экстаза. Страсти накалялись, и Евдокимов стал заметно беспокоиться. Он хотел даже «на всякий случай» вызвать человек десять охраны, опасаясь расправы надо мной, но это я ему, конечно, запретил. После каждых нескольких ораторов мне приходилось вновь выступать и в разных выражениях убеждать и уговаривать делегатов, доказывая невозможность освобождения Али Митаева до окончания следствия.

Вдруг в зале появляется старая чеченка (а обычно женщин на такие собрания чеченцы не допускали). Это была мать Асламбека Шерипова, погибшего в 1918 году от рук белоказаков. Она тоже начала с пышных фраз, а затем именем своего сына, отдавшего жизнь за Советскую власть, стала умолять освободить Али Митаева.

Высказав уважение к ней, как матери, родившей и воспитавшей храброго революционера, отметив заслуги ее сына, геройски погибшего в битве за Советскую власть, память о котором продолжает жить в наших сердцах, я повторил ей то же, что говорил прежде,— о невозможности без суда и следствия освободить Али Митаева.

Наконец участники совещания убедились, что дальнейшее обсуждение этого вопроса бесполезно.

Мы простились. Евдокимов был очень доволен, что все окончилось благополучно. Хочется к сказанному добавить еще и такую характерную деталь: открытие учредительного съезда автономной Чечни сопровождалось пением и «Интернационала» и молитвы Шамиля.

Когда мы вышли из клуба, где проходил съезд, уже начинало светать. Сели в самолет и полетели в Ростов. Я попросил летчика лететь вдоль Кавказского хребта на возможно близком расстоянии от снежных гор. Утренняя заря, синее небо и сверкающие в солнечных лучах снежные вершины гор хорошо успокаивали после столь бурного и трудного заседания...

Мой рассказ затянулся, но, думается, пришедшие на память эпизоды проливают свет на ту сложную и трудную обстановку, в которой приходилось устанавливать Советскую власть в отсталых национальных окраинах нашей страны. На пути укрепления Советской власти здесь стояло тогда много укоренившихся веками пережитков — родовых, племенных и религиозных..

По существу, происходил прыжок от патриархально-родового быта чеченского народа, минуя некоторые стадии общественных формаций, к советской системе. В истории Чечни это был период подлинного вовлечения чеченского народа — разбросанного в горных аулах, оторванного от культурных жизненных условий — в дело строительства социализма. Создавалась и росла национальная по форме и социалистическая по содержанию культура чеченского народа. При Советской власти чеченский народ впервые получил собственную письменность на чеченском языке. Началось проведение землеустройства, развитие государственной и кооперативной торговли, строительство дорог, жилья и бытовых учреждений.

Все это вызвало огромный подъем у чеченского народа, выходившего на широкую дорогу новой жизни в общей многонациональной семье равноправных советских народов.

В 1934 году Чеченская и Ингушская автономные области слились воедино, а в 1936 году Чечено-Ингушская область была преобразована в Чечено-Ингушскую автономную советскую социалистическую республику — в составе Российской Федерации.

СТИХИ



Владислав Фатьянов

☆

Секатор щелкает на вишне.
Рука садовника тепла.
И все, что было в кроне лишним,
Шурша, ложится у ствола.
В вишневом море тонут хаты.
Необозримы берега.
Деревья, как стада сохатых,
Туман поддели на рога.
Мне жалко резать. Отступаю
С ножом под купол шалаша.
А жалость глупая, слепая
Острей садового ножа.

☆

Превозмогая горечь нареканий,
В село родное я тебя зову,
Туда, где ивы тонкими руками
Кидают листья в желтую траву.
Ты приезжай, в избе зажгутся мальвы,
И запоют под окнами скворцы.
Еще не всю калину обломали
В моем дворе мальчишки-сорванцы.
Ты приезжай скорее. Неужели
Следы шагов затеряны в Крыму!
Здесь все шмели свои виолончели
Настроили к приезду твоему.



Евгений Антошкин

☆

Фотограф был бесстрастный иллюстратор.
Снимал то в профиль, то, шутя,— анфас.
Смотрел на нас сквозь свой иллюминатор
И открывал мгновенно черный глаз.

Мы всем селом в тот день запечатлелись:
Толпа старух, десятка два детей.
Глазами сорок третьего глядели
Фигурки неподвижные людей.

Мы взрослые уже и зря не плачем.
Но чтоб навек запомнить этот год,
Фотограф снял тогда худую клячу —
Корову, что пахала огород.

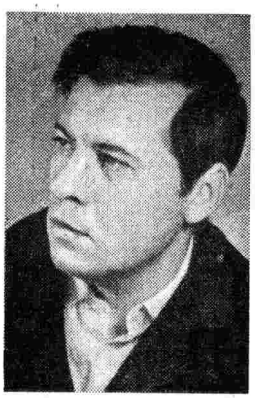
Фотограф был бесстрастный иллюстратор.
Фотограф не напрасно щурил глаз.
Закрой, фотограф, свой иллюминатор!
Я видел сам все это много раз.

Русская речь

Нетороплив наш русский слог,
Сошлись в нем песенность и живость.
С ним речь крестьянская сдружилась,
Прошла по тысячам дорог.

Недаром дед учил беречь
Земли родной скороговорки,
Пословицы и поговорки,
Крестьянскую простую речь.

И недоступна, и проста,
Она обнажена, открыта,
И пахнет вечностью и житом,
И, как росиночка, чиста.



Юрий Смирнов

☆

Над берегами облака
Стоят, очерченные четко.
Сравнений к облакам до черта.
Вон то — похоже на быка.

Взволнованный иной судьбой,
Гляжу, мне с берега виднее,
Как «Академик Веденеев»
Толкает баржу пред собой.

Ну что он, оторопь берет,
В сравненье с этакой махиной!
Но тарахтит своей машиной
И все же движется вперед.

...Красавец нефтеналивной,
Весь серебристо-белый танкер,
И музыка, как будто танцы,
Вот только пары ни одной.

Ползет музейный экспонат.
Кряхтит. Поскрипывают плицы.

И даже за рулем — девица,
А был хорош сто лет назад.

И мимо потемневших крыш
Все проплывает. Уплывает.
Звенит оса. Собака лает.
Гудок гудит. И снова тишь.



Вадим Рабинович

Был разлинован день косым дождем,
В нем все, что я увидел, поместилось:
Собачья будка, и хозяйский дом,
И сверх того все то, что мне приснилось.

Я днем заснул. Как я кричал «Чур мне!»
Во сне, увидев яблоки в корзине,
Но мне не доставалось, разине,
Тогда я понял кое-что вчерне.

Я говорил себе: «Растормошись,
Ведь не сидеть же по два года в классе,
Ты щедр, как будто у тебя в запасе
Еще одна неначатая жизнь».

Вадим Рабинович

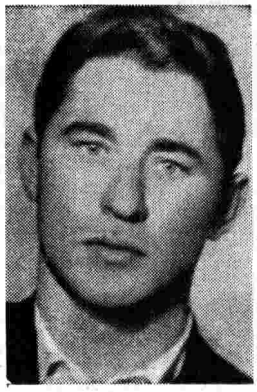
Когда в минувшую войну
отец мой умирал под Керчью,
он вспомнил женщину одну
за три минуты перед смертью.

То было матери моей
лицо с прической довоенной,
живое среди тьмы смертей,
единственное во вселенной...

А ты, любимая моя,
а ты, которая далеко,
скажи, ты вспомнишь про меня,
когда мне будет одиноко!..

Не вспомнишь ты, так вспомню я,
когда мне будет очень круто.
Тогда еще одну минуту
я буду частью бытия.

И в стороне от всех дорог
пускай я рухну...
Но бессмертны
твоих ладоней солнцепек,
волос твоих степные ветры.



Юрий Лакербай

Старый Званба пустился в пляс

Старый Званба отару пас
В котловине зеленых гор.
С неба ястреба рыжий глаз
На отару смотрел в упор.

На вершинах сверкает лед,
Далеко вокруг ни души.
И Нико в обожженный рот
Опрокинул желтый кувшин.

Выпил весело до конца,
Поглядел на сосуд Нико —
Грянул оземь кувшин в сердцах —
Черепки летят далеко!

Серый ястреб рванулся ввысь,
Зашатался зеленый вяз,
Водопад загремел —
Держись!
Старый Званба пустился в пляс!

Начал в полдень плясать абхаз,
Кончил — мылась в ручьях заря,
И качал головою вяз,
За лезгинку благодаря...

Топал Званба к жене домой
По ручьям, сокращая путь.
И бараны брели гурьбой,
Пританцовывая чуть-чуть.

Состязание

Вот дорога!
Подъем,
поворот...
Наша «Волга» шуршит по гудрону.
Жеребенок рванулся вперед
И по краю дороги — к Афону!
Состязание нам предложив,
Он копытами цокает звонко...
Придержи, шофер, придержи,—
Я хочу проиграть жеребенку.
Ради тихой абхазской струны,
Ради славных имен на кинжале,
Ради прошлого этой страны,
Где всегда лошадей уважали!

Феликс Кузнецов



На встречу IV Всесоюзному съезду писателей

К ЗРЕЛОСТИ

2. ОТ ИСПОВЕДАНИЯ — К ИССЛЕДОВАНИЮ

Наша прошлая статья[1] была посвящена так называемой «исповедальной» повести и ее герою — юноше, вчерашнему школьнику, студенту, начинавшему путь к жизненной зрелости на переломе 50-х годов.

Не сразу скажешь, почему так получилось, откуда возникло это заблуждение, однако среди какой-то части читателей и критиков до сих пор живет уверенность, будто именно характер «рефлектирующего юнца», как окрестила его недоброжелательная критика, и является чуть ли не ведущим, основным в прозе тех, кто вошел в нашу литературу между двумя писательскими съездами.

Но, когда начинаешь поверять это, казалось бы, привычное и потому бесспорное убеждение реальностью литературного материала, возникает парадоксальная ситуация: первые повести А. Кузнецова, В. Аксенова и А. Гладилина — вот, собственно, и исчерпаны реали, на основании которых выросло убеждение, будто проза молодых писателей чуть ли не полностью посвятила себя воспеванию неких «рефлектирующих юнцов». А если вдуматься в то обстоятельство, что ни героев «Коллег», ни героя «Продолжения легенды» под эту категорию никак не подведешь, то что же остается?.. В известной степени роман «Звездный билет» да слабые, подражательные повестушки, так и не задерживавшиеся надолго в памяти читателя... И поистине громадный к сегодняшнему дню массив произведений молодых прозаиков, в которых постигается народная жизнь.

ЗНАМЕНИЕ ВРЕМЕНИ

«Исповедальная» повесть с ее специфическим героем была, как я доказывал в первой статье, лишь началом, самым первым шагом молодых и не исчерпывала, повторяю, всего разнообразия молодой прозы. От исповедания молодые неумолимо, в силу внутренних законов художественного творчества, должны были перейти к исследованию, от постижения себя — к постижению народной жизни. Движение от исповедания к исследованию, от постижения себя к художественному освоению социальной действительности было трудным и непрямым. Это движение к зрелости не всем дается одинаково легко; одних сдерживает ограниченность таланта, недостаток писательской культуры, других — бедность жизненного, душевного опыта. Однако тенденция этого движения едина: она в углублении внимания писателей к тому, что в старину называлось миром народной жизни, в постижении характеров и типов, которые этот мир составляют и выражают. Впрочем, такова общая тенденция в литературе последнего десятилетия, более того, такова традиция классической русской и советской литературы. И если выделять в общем развитии последнее десятилетие, то можно говорить лишь об углублении демократизма нашей прозы, о все более тесном сближении ее с народными началами жизни.

Еще в сороковых годах прошлого века Белинский призывал русскую литературу «обратить все внимание на толпу, на массу, изображать людей обыкновенных, а не приятные только исключения из общего правила...». Нравственное достоинство русской литературы, ее высокий гуманизм заключались в ее последовательном демократизме, во внимании к повседневной жизни людей, при этом писатели-классики всегда помнили о том, что, говоря словами Гоголя, «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Литература социалистического реализма в лучших своих образцах не просто восприняла, но углубила, сделала всеобъемлющей эту демократическую традицию прошлого. Трудящийся человек стал главным предметом ее исследования. Изменился сам угол зрения на него. В прозе времен Белинского «обыкновенный» означало прежде всего «маленький» человек. Необходим был гигантский опыт советской литературы, чтобы современный исследователь мог сказать: «Есть выражение «простой человек». Но ведь простой человек—большой человек, потому что простой человек своими руками строит жизнь. Рассказать про простого человека...— это очень трудно.

Сходили леса и вырастали заново, падали и вырастали города, покамест простой человек был описан в истинной своей сложности».

Виктор Шкловский, которому принадлежат эти слова, написал их по поводу характера Аксиньи в «Тихом Доне» М. Шолохова. Но они в равной степени относятся к героям А. Малышкина и А. Серафимо-

[1] См. «Юность» № 11, 1966.

вича, А. Фадеева и А. Платонова, В. Гроссмана и А. Макаренко, А. Твардовского и Л. Леонова, В. Пановой, В. Некрасова и многих других.

В советской литературе и в те времена, когда ее развитие сдерживалось путами догматизма, всегда одерживало верх глубоко гуманистическое отношение к человеку, наполненное не состраданием, но верой в него, истовым уважением к нему. В лучших своих произведениях она бежала бездушно-отвлеченного отношения к народу, в чем бы оно ни проявлялось — в формах ли казенно-бюрократического мышления или бездушии модернистских абстракций,— и устремлялась к живой душе человеческой, памятуя: личность, сколь бы неприметной она ни была, если суметь проникнуть в нее,— всегда огромный, бездонный мир.

Всеобъемлющее внимание к человеку — во всех без ограничения жизнепроявлениях его — в этом суть нашего общественного и художественного миросозерцания.

Одной из примечательных особенностей прозы последних лет является все более пристальное внимание к жизни тех, чьим повседневным трудом держится все на земле. Пафосом творчества все большего числа прозаиков становится исследование народной жизни во всей ее полноте и истинности, народной психологии в противоречиях ее современного становления и развития. В таких произведениях, как «Поденка — век короткий» В. Тендрякова, «На Иртыше» С. Залыгина, «Войди в каждый дом» Е. Мальцева, «Память земли» В. Фоменко, «Утоление жажды» Ю. Трифонова, и многих других мы встречаем истинно народные типы и характеры, помогающие осмыслить сегодняшнюю жизнь народа в ее глубинах.

В полном соответствии с аналитическим духом времени читательское признание сегодня получают прежде всего произведения исследовательского пафоса, социального анализа действительности, произведения, постигающие правду жизни в противоречиях ее реального развития.

Литература спешит расквитаться как с бедами эмпирического описательства, особенно пышно распустившегося в пору сороковых годов, так и с поветрием ложного модерна — односторонней реакцией на ползучий натурализм, вполне родственной ему по своим истокам и устремлениям. От разноликой, но одинаково равнодушной к жизни народа поверхностности она идет к первоосновам духовного, нравственного уклада жизни нашего общества.

Этой тенденции, как я уже говорил, не избежали и те, кого еще несколько лет назад мы называли молодыми. Целый мир жизни киргизских дехкан в его реальных противоречиях открывает нам своим творчеством Ч. Айтматов. Повседневная трудовая жизнь народа, ее современные коллизии, резко обозначенные в свете и тени характеры, их вечный бой— таково содержание творчества В. Липатова. Люди подчеркнуто обыкновенные, даже обыденные в своей повседневной жизни и труде и необыкновенные в другом — в том, что каждый из них самобытная и неповторимая индивидуальность,— таковы герои В. Войновича, которым отдано его сердце, его писательская любовь. Этот перечень можно продолжить, назвав, скажем, моряков и изыскателей, немногословных, деловых покорителей пространств в книгах В. Конецкого и Г. Горышина, людей трудной судьбы, потерявших себя и трудно обретающих вновь в повестях В. Максимова, голубоглазых «пыщуган», жителей села Пыщуг, в лирических миниатюрах Ю. Куранова и т. д. Возьмем ли мы творчество Ю. Казакова или Г. Семенова, Г. Владимова или Э. Шима, рассказы В. Аксенова или последние произведения А. Кузнецова, их главный и исчерпывающий интерес все там же: в глубинах народной жизни, заново открываемых читателю современной литературой.

Еще недавно критика отмечала бедность и однообразие жизненного опыта большинства писателей, начинавших свой творческий путь в середине пятидесятых годов. В доказательство тому приводились, скажем, данные анкеты «Молодые о себе», опубликованной в журнале «Вопросы литературы» (сентябрь 1962 года). На вопрос анкеты: «Какой жизненный опыт предшествовал началу вашей литературной работы?» — молодые писатели чаще всего отвечали примерно так: «Жизненного опыта, предшествовавшего литературной работе, опыта в смысле «моих университетов» не было. Сразу после десятилетки поехал учиться в Литературный институт...»

Исключения—Ч. Айтматов, В. Липатов, В. Астафьев, В. Войнович — были сравнительно редки.

Я далек от мысли возводить в абсолют богатство жизненного опыта, предшествующего началу литературной работы,— сколь бы ни была богата биография писателя, сама по себе она еще не заменит культуру и талант.

Более того, я вполне согласен с Юрием Казаковым, который в своем ответе на ту же анкету журнала «Вопросы литературы» писал: «Опыт мой, вероятно, тот же, что и у большинства моих сверстников. В детстве и юности — война, жизнь мрачная и голодная, затем — учеба, работа и опять учеба... Словом, опыт не особенно разнообразен. Но я склонен отдавать предпочтение биографии внутренней. Для писателя она особенно важна. Человек с богатой внутренней биографией может возвыситься до выражения эпохи в своем творчестве, прожив в то же время жизнь, бедную внешними событиями...»

Важно, чтобы эта биография — внутренняя или внешняя (оторвать одну от другой невозможно) — была. Жизненный или душевный, но обязательно собственный опыт писателя — те естественные соки, которые питают талант, определяют во многом своеобразие его. Не случайно на вопрос: «Каким материалом преимущественно вы пользовались в своем творчестве?» — М. Горький в свое время отвечал: «Преимущественно материалом автобиографическим».

Вне всякого сомнения, начало творческого пути писателей, входивших в литературу в пятидесятые годы, было более трудным в сравнении с дебютом молодой литературы двадцатых годов еще и потому, что они не прошли той жизненной школы, тех «университетов», которые выпали на долю Фадеева, Фурманова, Макаренко, Шолохова и других. Молодые начинали с того, что было сутью их короткого жизненного опыта; объем его зачастую измерялся фразой: «Сразу после десятилетки я поехал учиться в Литературный институт...» А если вдобавок сразу же начиналась ранняя и неумная профессионализация, ограничивающая их связи с миром аудиториями Дома литераторов да читательскими конференциями по первым книгам, это иногда было началом конца. Конца, который едва опережал настоящее начало.

Вот почему отрадным, многообещающим, с моей точки зрения, фактом в движении литературы последних лет является приход писателей, чьи первые произведения отмечены не только талантом, но и доскональным, биографическим знанием народной жизни.

Первым в этом ряду, с моей точки зрения, по праву следует назвать вологжанина Василия Белова, опубликовавшего три книги рассказов —«Знойное лето» (1963), «Речные излуки» (1964), «Тиша да Гриша» (1966) — и повесть «Привычное дело» (журнал «Се-

вер», № 1, 1966). Жизнь русского, крестьянского Севера не была обойдена вниманием в литературе последних лет. Всем памятен «Северный дневник» Ю. Казакова, многие рассказы этого мастера психологической прозы, посвященные северной деревне. Пронзительность и свежесть взгляда в этих рассказах во многом объяснялась тем, что мир северной сельщины был первооткрытием для Ю. Казакова. Он смотрел на него глазами горожанина.

В лице В. Белова в литературу пришел прозаик высокого уровня мастерства и таланта, всем существом принадлежащий народной, крестьянской жизни, выражающий ее органично и естественно, как свою собственную жизнь.

В литературу пришли сибиряк по корням своим В. Шукшин, уралец В. Астафьев, курянин Е. Носов, краснодарец В. Логинов, ростовец В. Семин. Наша критика в ажиотаже литературных споров вокруг заслуженно оказавшихся в центре ее внимания имен незаслуженно обходит стороной многих, кто начинал более скромно, но не менее основательно. Так, в 1958 году в Курском издательстве вышла первая книжка рассказов «На рыбачьей тропе» Евгения Носова. С тех пор у Е. Носова вышло еще несколько книг, но критика не баловала вниманием писателя. Вот почему такой неожиданностью и для критики и для читателя оказались опубликованные «Новым миром» его рассказы «Объездчик» и «За долами, за лесами», отмеченные зрелой правдой жизни, глубиной проникновения в новые, неизведанные ее пласты.

Уже несколько книг рассказов и повестей принадлежит Анатолию Ткаченко. Он пишет много, порой неровно: сказывается недостаток писательской культуры. Но в лучших его рассказах, таких, как «Рыжий сивуч», «Повариха Антонида», «Сезонница», ощущается завидный напор жизни, переданной во всем колорите и самобытности. Как и у Е. Носова, у А. Ткаченко своя жизненная тема, свой родной писательский край, своя тревога и любовь: люди Сахалина и Курил — зверобои, мореходы, рыбаки. «Земля среди шторма» — так называется его последняя книга. А. Ткаченко, рассказы и повести которого давно ждут внимания критики, с разной степенью удачи, последовательно, неутомимо исследует свой писательский материк.

Сколько перьев сломали критики и фельетонисты, доказывая неоспоримую мысль: не может быть литературы о пожарниках или милиционерах, бухгалтерах или разнорабочих. Доказывали с такой достоверностью, что сама постановка вопроса о разнообразии жизненного материала кажется кой-кому ни с чем не сообразным примитивом. Дескать, неважно, о чем писать, важно, как писать. Последнее, конечно, важно, но вот так ли уж неважно первое?

Нет, я не призываю литературу вновь вернуться к жанру «производственного» романа, как он сложился в тридцатые годы. Речь о другом. Пафос исследования сегодняшнего уклада народной жизни требует от художников знания разнообразных, глубинных ее пластов.

Недавние семинары молодых, точнее, начинающих писателей Сибири, Урала и Дальнего Востока обнаружили немало новых талантов. И произошло это потому, что творческие встречи молодых, начинающих писателей, пробивающихся в литературу из глубин действительности, были подготовлены временем. В них нашел естественное выражение все углубляющийся процесс активизации творческой энергии, начало которому положил XX съезд партии.

Мы познакомились пока что с самыми первыми произведениями молодых прозаиков, чье творчество обсуждалось на упомянутых выше областных семинарах. В «Юности» были опубликованы повести «Бегу и возвращаюсь» Вячеслава Шугаева и «Синее море, белый пароход» Геннадия Машкина (которая получила вторую премию Всероссийского конкурса на лучшее произведение для детей и юношества к пятидесятилетию Советской власти). Вышли две первые книги рассказов талантливого курганского прозаика В. Потанина. В журнале «Сельская молодежь» напечатаны рассказы Вл. Битюкова, повесть «Дом» А. Якубовского (1966, №№ 10—11), опубликовавшего ранее повесть «Мшава» («Сибирские огни», 1965, № 12) и книгу рассказов «Чудаки» [1].

«Аскольд Якубовский,— пишет в предисловии к повести «Дом» В. Астафьев,— человек серьезный, серьезно идущий в литературу, с серьезными намерениями и солидным жизненным багажом, с большой культурой и начитанностью. Он много сделает, я в это верю. Но ему будет очень трудно, ибо заявил он о себе «Мшавой» сильно, самобытно, а ведь чем выше идти, тем тяжелее».

Схожую оценку возможностей другого молодого прозаика, Вл. Битюкова, в связи с публикацией в «Сельской молодежи» его рассказа «Доченька» дает Г. Бакланов: «Владимир Битюков по профессии инженер. Он уже зрелый, сложившийся человек... Владимир Битюков сейчас еще в самом начале своего писательского пути. Но вы запомните это имя. Я верю, оно встретится вам еще не раз. И вы отличите его среди других имен».

Отметим то, что сближает в этих оценках двух таких разных писателей: глубокая вера в будущее молодых прозаиков, вера, основанная на той серьезности отношения к жизни и литературе, которую уже в первых произведениях проявляют Вл. Битюков и А. Якубовский. Они и в самом деле пришли в литературу зрелыми, сложившимися людьми, со своей темой, со своим жизненным багажом, а главное, как справедливо пишет Г. Бакланов, «с обостренным чувством правды: самого прекрасного, что есть в книгах».

В ГЛУБИНЫ ЖИЗНИ

Наивно думать, будто исследовательский пафос современной литературы направлен только вширь и самоцельно подчинен задаче художественного освоения новых, неизведанных пластов народной жизни. Само стремление к максимально широкому охвату жизненного материала, пробивающее себе дорогу в современной литературе, выражает потребность все более глубокого постижения человеческой сущности, всей сложности связей и взаимоотношений современного человека с миром.

«Основной конфликт современности, привлекающий мое внимание,— отношения личности и коллектива»,— формулирует свою творческую задачу В. Липатов.

«Мне кажется, что каждый писатель, имеющий смелость причислять себя к настоящей литературе, занят всю жизнь одним и тем же кругом проблем. Счастье и его природа, страдания и преодоление их, нравственный долг перед народом, любовь, осмысление самого себя, отношение к труду, живучесть грязных инстинктов — вот некоторые из проблем, которые меня занимают. Эти-то проблемы, по-разному поставленные, я постоянно встречаю в произведениях

[1] Более подробно о творчестве А. Якубовского и других прозаиков, начинающих творческий путь одновременно с ним, я писал в статье «Движение вглубь» в «Литературной газете» от 22 ноября 1966 г.

всех наших наиболее талантливых прозаиков и поэтов»,— пишет Ю. Казаков.

Вечные темы? Да, но в конкретно-историческом преломлении современности. Эти вечные проблемы каждая эпоха решает в соответствии с новыми обстоятельствами жизни, с новыми возможностями прогресса общества и личности.

И, когда мы говорим об этом пафосе современной литературы, мы отнюдь не имеем в виду, что предшествующая литературная традиция развивалась вне нравственности, вне человеческой души. Это противоречило бы самой сути художественного творчества, которое Маркс определял как духовно-практическое освоение мира. Дело не только и не столько в том, что сегодняшнюю литературу в большей, чем когда бы то ни было, степени занимают вопросы общественной нравственности (это качество обязательно для любой подлинной литературы), дело в новом, временем обусловленном качестве этого интереса, в новых, типичных для нашего времени, современных коллизиях, конфликтах и характерах, которые она открывает в действительности. Литература стремится выполнять свою всегдашнюю святую обязанность: она исследует, я бы сказал, аккумулирует, духовный, нравственный потенциал жизни современного общества.

Коренным вопросом человеческого бытия является вопрос о смысле жизни. Человеку трудно, невозможно жить без осознания смысла собственного существования, такая жизнь означала бы распад личности. Здесь узел духовных проблем: добра, счастья, нравственного долга, личной и гражданской совести. Здесь истоки миросозерцания человека будущего.

Я не случайно употребил именно это слово: миросозерцание. Не случайно в нашем языке существуют разные эквиваленты развития человеческого самосознания: миросозерцание, мировоззрение, убеждения. Одно растет из другого и обусловливает другое — не разорвешь эту естественную связь. Я не верю в убеждения, не выработанные в горниле мировоззрения, не выношенные сердцем и разумом; я не верю в высокие слова, если они не выражают истинно человеческого миросозерцания, нравственной высоты. Декларации и слова в наш век часто бывают еще одной изощренной формой мимикрии эгоизма и бездуховности.

Новый, коммунистический человек начинается с первооснов нравственности, вот почему столь серьезное значение приобретают для нашей литературы и общества изначальные моральные ценности. Мы слишком хорошо знаем цену забвения первоэлементов человечности, упрощенного подхода к общечеловеческому содержанию нравственности. Может быть, поэтому современная литература с такой остротой и пристальностью исследует нравственные коллизии современности. Впрочем, причины тому, пожалуй, более глубокие.

Осмыслили ли мы всерьез подлинные масштабы того исторического эксперимента, который мы называем формированием нового человека? Ведь речь идет в конечном счете о новом качестве нравственного бытия глубинных народных масс, о преодолении духовного, а точнее, бездуховного наследия тысячелетней давности.

Мы, естественно, отказались от мифа религии и построили общество на началах материалистических и атеистических, взяв на себя тем самым великую историческую ответственность выработки новой философии человека, качественно новых духовных начал. Таких высоконравственных начал, которые определялись бы не мифами, но реальностью существования, реальностью борьбы за земное счастье людей. Эти новые духовные начала личности вырабатываются жизнью, новыми общественными отношениями. Они вырабатываются в преодолении того, что искажает и уродует человеческое в человеке, обесценивает духовные и нравственные ценности.

Один из основных конфликтов современной, в том числе и молодой прозы,— противостояние двух психологий, двух философий жизни: психологии и нравственности и психологии, которая формируется социалистическими отношениями. Исследованию бездуховного мира собственничества и корысти в современных формах его существования много внимания уделяют Ю. Казаков и В. Аксенов, А. Кузнецов и В. Липатов, а из более молодых, скажем, тот же А. Якубовский. В подтверждение этой мысли назову хотя бы характеры Кисточкина в пьесе Аксенова «Всегда в продаже», «супермена» Олега в его романе «Пора, мой друг, пора...» или Аленочкина и механика Изюмина в повестях «Черный яр» и «Глухая Мята» В. Липатова.

Критический пафос современной литературы достаточно определенен: он направлен прежде всего против того, что обесчеловечивает человека, снижает нравственные и духовные ценности. Современная проза стремится к точности прицела, она преодолевает упрощенность и примитивизм нравственных оценок.

Ей недостаточно констатации, она идет в глубь противоречий действительности, исследует социальные характеры в реальной диалектике их развития. Критика немало писала о противоречивости, скажем, таких характеров, как Виктор Пронякин в повести «Большая руда» Г. Владимова, Семен Нагаев в романе «Утоление жажды» Ю. Трифонова, Валерий Кирпиченко в рассказе «На полпути к Луне» В. Аксенова. Противоречивость этих характеров органична. Она отражает всю сложность формирования новой нравственности и психологии, порой мучительную трудность рождения нового в человеческой душе.

Новые человеческие отношения, новая нравственность и психология, их формирование в противоречивых обстоятельствах жизни, труда и быта — такова главная цель того исследования действительности, которое ведет сегодня наша проза.

ГЕРОИЗМ ГРАЖДАНСКОЙ ЧЕСТНОСТИ

Литература в целом, проза молодых в частности, все дальше отходят от примитивизма в толковании положительного героя, когда характер, призванный воплощать прогрессивное начало жизни, сводился к эклектическому набору положительных функций, когда он был лишен плоти, диалектики внутреннего развития. Лишь в ремесленной литературе можно встретить еще того ходульного «псевдогероя — этакого трескучего, всего в бицепсах, нафаршированного чужими мыслями, но без души и мозга» (слова В. Розова), которого мы так хорошо знаем по некоторым произведениям прозы конца сороковых — начала пятидесятых годов. Мы наблюдаем углубление психологизма в современной прозе, стремление к реальной правде характеров и обстоятельств.

И все-таки именно здесь — в слабом постижении характеров, воплощающих прогрессивное начало современности, наш духовный смысл жизни,— главная ограниченность многих прозаиков, вступивших в литературу в последнее десятилетие. Причину тому я вижу не в недостатке природного таланта и мастерства, но в ограниченности горизонта социального

мышления художников. Для воплощения характера, который бы выразил время в его революционном развитии, недостаточно наитончайшего психологизма, самого филигранного мастерства художнического анализа диалектики человеческой души. Это лишь необходимые условия, приложимые к главному: философской концепции действительности, глубокому художническому пониманию противоречивых тенденций ее социального развития. Вернее, не приложимые, а органически слитые. Опыт великих мастеров русской прозы — доказательство тому. Сложная диалектика соотношения нравственного и социального пока остается за пределами сознания многих молодых. И не только молодых.

Заметили ли вы одну любопытную жанровую особенность, характерную для прозы тех, кто начинал свой творческий путь в последние годы? Их излюбленный, привычный жанр — рассказ, новелла, короткая повесть. Как правило, они не замахиваются на роман, а в тех исключительных случаях, когда пытаются это сделать, редко одерживают победу. «Звездный билет» и «Пора, мой друг, пора...» В. Аксенова, «Горькие травы» П. Проскурина, «Прямая линия» В. Маканина, «Любавины» В. Шукшина — вот, пожалуй, и исчерпан опыт романистики молодых. И почти в каждом случае молодым романистам может быть предъявлен серьезный художественный счет. Нам скажут: различны творческие индивидуальности писателей, объем их знаний о жизни. И вообще, естественно, когда молодой прозаик начинает свой творческий путь с малых жанров, лучше писать хорошие рассказы, чем плохие романы. Истина! Но ведь большинство из тех, кого мы по инерции продолжаем называть молодыми, сегодня уже далеко не молодые.

Робость, которую они испытывают перед романистикой, перед эпическими формами постижения действительности, думается, порождена другим: слабостью концептуального, философского осмысления социальной действительности, без чего невозможен роман. Здесь уже встает вопрос о масштабах личности самого художника, творца.

Вместо того, чтобы преодолевать догматическую закостенелость и прорываться к самостоятельному социальному мышлению, к философии личности и общества, иные художники выбрали куда более легкий путь — эвакуацию в частности, спокойную, тихую заводь прекраснодушия, в, казалось бы, честную, но недалекую эклектику. На этой почве и возможен отрыв нравственного от социального, утопические представления о возможности решения насущных проблем человеческого духа в сфере «чистой» нравственности, вне социальных преобразований действительности, которые осуществляет народ.

В конечном счете это результат нашей «социальной неграмотности» (Горький), результат того, что в свое время мы учились верить, но не учились думать.

Потребность современного общества в исследовании и самоосмыслении, вызвавшая к жизни литературу социально-психологического анализа, приходит во все более явственное противоречие с известным инфантилизмом общественного мышления иных молодых. Само расширение поля зрения молодой прозы, проникновение ее в новые, неизведанные пласты народной жизни побуждает художников к социальному, философскому осмыслению действительности. Пожалуй, наиболее явственный пример тому — развитие прозы Чингиза Айтматова.

Всем памятны его первые повести «Джамиля» и «Тополек мой в красной косынке», открывшие нам писателя светлого, чистого, лирического дарования. «Самой прекрасной на свете повестью о любви» назвал «Джамилю» Луи Арагон. Критика приветствовала в Чингизе Айтматове еще одного прозелита «лирической прозы», столь богато представленной в литературе конца 50-х годов.

Но после опубликования рассказа «Верблюжий глаз» и повести «Первый учитель» стало очевидно, что жанр «лирической повести», при всей ее чистоте и достоверности, тесен Айтматову, что, помимо проблем личной нравственности, его притягивают темы общественные, социальные. И в мастерстве, в уровне прозы эти произведения были заметным шагом вперед в сравнении с «Джамилей» и особенно с повестью «Тополек мой в красной косынке».

В «Первом учителе», чуть позже в повести «Материнское поле» Ч. Айтматов предпринял попытку на материале недавней истории (революционные двадцатые годы; эпоха войны) воссоздать народные характеры, выражающие суть своего времени. Таковы вчерашний красноармеец, учитель Дюйшен, который принес в глухой киргизский аул свет ленинских идей, женщина-мать Толгонай, вынесшая на своих плечах страшные тяготы войны и не сломившаяся, не согнувшаяся, не поступившаяся богатством своей души. Характеры эти не были мертвым сколком с действительности, в них выражалось не только время, но и мировоззрение художника, его общий взгляд на мир. Этот опыт социального осмысления революционной действительности двадцатых и сороковых годов, цельное мировоззрение художника, сутью которого была органическая причастность к жизни своего народа, дали силу Ч. Айтматову сделать новый, значительный шаг вперед. Я имею в виду его последнюю повесть «Прощай, Гульсары!», на мой взгляд, лучшую, наиболее глубокую и серьезную повесть Айтматова.

Старый чабан Танабай — наш современник и вместе с тем живая история противоречивого движения нашей жизни, характер драматический и высокий. По духу он кровный брат учителю Дюйшену, старой крестьянке Толгонай, это коммунист в подлинном и полном значении этого слова, олицетворение истинно человеческих нравственных начал. Судьба уготовила ему испытание еще более трудное, чем испытание невежеством и темнотой, враждебных к новой жизни, через которое прошел учитель Дюйшен, или испытание войной, которое выдержала Толгонай. Собственно, Танабай прошел тот же нелегкий путь, что и Дюйшен или Толгонай. Он был одним из зачинателей новой жизни в родных местах, первым организатором колхоза, он прошел всю войну. Но эти тяготы и трудности были несравнимы с той болью души и сердца, которую он испытал, когда на его глазах та самая жизнь, начало которой он положил, жизнь родного колхоза и колхозников-дехкан пошла по непонятному, тягостному пути.

С огромной мерой боли и страдания, с беспощадностью правды написана эта повесть. Но при всем том она рождает гордость за человека, гордость его неуступчивой и подлинно духовной силой,— она-то и позволила Танабаю, выдержав тяжкое испытание, остаться коммунистом.

Повесть «Прощай, Гульсары!» фактом своего появления вторгается в те подчас схоластические, но от этого не менее яростные споры о герое, которые не сходят со страниц нашей литературной периодики.

Должен оговориться: понятие героя в моем представлении не тождественно понятию литературного персонажа и даже понятию типического характера. Одно из недоразумений, возникающее в наших дискуссиях о герое современной литературы, проистекает оттого, что в нарушение традиций революционно-демократической эстетики понятие героя мы нередко

отождествляем с понятием типа. Категория типического характера почти исчезла в практике литературно-эстетического анализа. А между тем самоочевидно, что литература, исследуя действительность, выставляет на всеобщее обозрение галерею самых разных социальных характеров, типизирующих различные стороны жизни, и лишь самые высокие из них могут быть героическими. Героический характер в литературе и жизни тот, который типизирует ведущие, прогрессивные начала времени в современных формах их проявления. Классическим примером тому был Павка Корчагин в пору двадцатых годов или же Давыдов в годы коллективизации, молодогвардейцы времен Отечественной войны.

Героический характер в нашей современности — заглавная задача литературы, реальная цель того исследования социальной действительности, которое она ведет. Он не может быть повторением прошлого, слепком с предшествовавших литературных образцов, он призван выявить революционные традиции в современных формах жизни. Каждая эпоха требует своего героизма, и вдобавок героические начала жизни никогда не проявляются однозначно.

Жизнь потребовала от Танабая не меньшей внутренней силы, чем от учителя Дюйшена или крестьянки-матери Толгонай. В характере чабана-коммуниста Танабая нашел воплощение и опыт войны и героизм мирного труда. Но не только. Мужество Танабая особого рода, особенно близкое и понятное сегодня нам. Это—мужество гражданской честности.

Героизм гражданской честности, верность принципам и убеждениям, а в конечном счете верность интересам народа—вот чего требует наше время от коммуниста, от героя литературы и жизни. Этот тип героического поведения не менее труден, чем доблесть военная, и, кстати, как показывает современная литература о войне последних лет, неотделим от нее. Ибо в основе подвига военного всегда качества гражданские: беспринципный приспособленец не поднимется на подвиг самопожертвования.

Но, чтобы хранить верность принципам и убеждениям и быть гражданski честным, активно честным человеком, надо эти принципы и убеждения иметь, вот почему героический характер современности — это прежде всего характер коммуниста. Коммуниста по убеждению. Коммуниста, остающегося собой в самых трудных жизненных обстоятельствах.

Литература последних лет с большей или меньшей художественной убедительностью выявила такие характеры, выражающие героическое начало в современной действительности. Егор Дымшаков в романе Е. Мальцева «Войди в каждый дом», секретарь райкома Голиков в романе В. Фоменко «Память земли», молодой физик Крылов в романе Д. Гранина «Иду на грозу», инженер-строитель Карабаш в романе Ю. Трифонова «Утоление жажды» — эти и им подобные характеры дают нам достаточно точное представление о некоторых чертах героического поведения личности в современных условиях.

Это не значит, что героика в современной действительности исчерпывается мужеством гражданской честности: ее проявления многообразны. Героика научного подвига стала пафосом известного фильма «Девять дней одного года»; о подвиге исследователей Антарктиды написал свою патетическую «Ледовую книгу» Ю. Смуул. «Там... совершается что-то великое, требующее смелости, мужественности, выдержки и железной дисциплины, там, взаимопомощь диктуется не вежливостью, а законом жизни»,— пишет он о советских полярниках, героически работающих в небывало трудных, исключительных условиях.

Книги, раскрывающие романтику подвига в исключительных обстоятельствах, когда с обнаженной очевидностью выявляются смелость, мужественность и взаимопомощь дружбы, нужны нам, как воздух. К сожалению, таких книг мало. На таких книгах успешнее всего воспитываются гражданские добродетели — духовный остов человеческого мужества как в исключительных, так и в обыденных, повседневных жизненных обстоятельствах. Ибо, повторяю, нет непроходимой грани между тем и другим, более того: одно подготовляет другое.

Вот почему так важно в современной нам действительности видеть и исследовать характеры, которые являют собой пример гражданского мужества не только в исключительных, но и в обыденных, повседневных обстоятельствах жизни,— ведь если вдуматься, эти повседневные обстоятельства есть не что иное, как сложный, противоречивый процесс созидания нового общества. «Мы социализм протащили в повседневную жизнь»,— сказал в свое время В. И. Ленин. Важнейшим завоеванием партии, с его точки зрения, было то, что коммунисты в своей деятельности «...перешли к самой сердцевине будничных вопросов...». Эти ленинские слова, как никогда, применимы к нашей действительности.

Вот почему столь современен и своевременен исследовательский пафос нашей литературы; важно только, чтобы исследование жизни не превращалось в самоцель, чтобы оно было подчинено главному: заботе о благе народа. Необходима полная правда в исследовании сложностей и противоречий современной действительности. Но если думать о благе народа, еще более необходима правда характеров, имеющих мужество и творческие возможности стремиться к разрешению сложностей и противоречий действительности, имеющих внутреннюю силу и принципиальность, чтобы вести этот подчас нелегкий и не всегда успешный бой. Будем реалистами: коммунистический идеал не манна небесная, которая падает с неба, он и сегодня осуществляется в непрерывной и трудной, подчас очень запутанной сложностью обстоятельств, повседневной борьбе. Только в этой борьбе человек в полную меру своих внутренних возможностей становится человеком.

Ограниченность социального мышления многих молодых (впрочем, сегодня уже далеко не молодых) прозаиков я вижу в том, что они не поднялись еще до осознания внутреннего смысла тех характеров, которые и являются в повседневной жизни и труде истинными героями нашего времени.

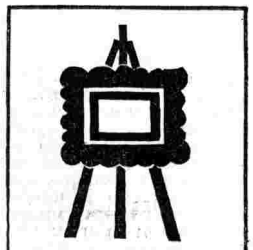
Такой характер, чтобы стать фактом искусства, непременно должен пройти через «душу живу» художника. Писателю необходимо вложить в него не только знание действительности, но и себя—свое понимание мира, свою положительную программу действий, свою личность. Трудно представить себе положительного героя, который был бы духовно крупнее, масштабнее, значительнее его творца.

Молодые сделали первые шаги к постижению героя времени. Ростки такого характера я вижу и в Саше Зеленине из аксеновских «Коллег», и в Гале из повести Кузнецова «У себя дома», и в Самохине из рассказа Войновича «Хочу быть честным».

Повесть «Прощай, Гульсары!» потому и представляется мне принципиальным явлением в литературе, что характер человека неподкупной гражданской честности предстал здесь в полной реальности правды. Эта повесть в ряду других произведений последнего времени лично для меня определяет наиболее плодотворное направление в художественном исследовании современной действительности.

Справа — рисунок из серии «БЕРЕГА ЕНИСЕЯ».

Ю. Вечерский



К НАШЕЙ ВКЛАДКЕ

ЖИЗНЬ ЗАГОВОРИЛА ВНОВЬ...

Тут не одно воспоминанье,
Тут жизнь заговорила вновь,
И то же в Вас очарованье,
И та ж в душе моей любовь...

Ф. ТЮТЧЕВ

...Мне в жизни повезло. Я родился и вырос в Москве, и средняя художественная школа, в которой я учился, помещалась прямо напротив Третьяковской галереи.

В Третьяковку мы бегали даже на больших переменах. Спорили сначала о Васнецове и Сурикове, потом о Репине и Левитане и, наконец, о Врубеле, Серове и Коровине.

Все это было на большой перемене. Но большая перемена — одна. На маленькой бегать в Третьяковку было боязно — опоздаешь. Зато среди потасовок, беготни и дозубривания не выученных дома уроков можно было забежать в библиотеку (у нас была очень хорошая библиотека), где на полках стояли и лежали папки с репродукциями картин и рисунков старых мастеров, в толстых, с золотым тиснением, переплетах книги по искусству эпохи Возрождения и античности, кнебелевские монографии о русских художниках. Но это было по большей части на полках, на столах же лежали последние номера «Огонька» и «Смены» с рисунками ...Ореста Верейского.



О. Верейский. Девушка в косынке.

...И с некоторым даже удивлением (казалось бы, ну, сравнимые разве явления?) ловишь себя на том, что отодвигаешь в сторону солидный фолиант с росписями Тьеполо или рисунками Брюлова, чтобы поглядеть новые иллюстрации Верейского к продолжению «Повести в лесах» Паустовского, его же рассказу о растрепанном воробье с девочкой, стоящей у темного окна, разрисованного морозом. И рисунки к рассказу Нагибина «Ночной гость», и еще много рисунков к другим повестям и рассказам, названия и авторов которых я давно забыл, но сами рисунки хорошо помню... Про эти рисунки я тогда, кажется, ни с кем не разговаривал и не спорил, но я до сих пор хорошо помню то чувство удивления их какой-то, каждый раз новой, неожиданной непосредственностью!

...Вскоре после возвращения из эвакуации у нас дома появилась книга А. Твардовского «Василий Теркин» с иллюстрациями Верейского. Вероятно, ее принес мой старший брат — инженер-капитан танковых войск. Книгу эту после много раз переиздавали, и при переизданиях исчезали одни рисунки и появлялись другие, часто очень даже хорошие. Но мне все же трогательно памятны именно те — старые, что в издании с погонами на корешке переплета,— они тоже память детства и память о брате, хотя книга и сейчас стоит на моей полке...

Сейчас, когда в Москве открылась выставка Ореста Верейского и меня спросили: «Нравится тебе?»,— я задумался прежде, чем ответить, не потому, что сомневался, нравится мне или нет, а потому, что не знал, как точнее сказать о памятно-любовной душевной симпатии к Верейскому, которая, наверно, пропала бы в привычно-обыденном «нравится»...

Биография Ореста Верейского — биография человека, родившегося и выросшего в семье замечательного художника Георгия Семеновича Верейского. Биография, где школой человеческого и творческого возмужания была война.

Мне кажется, что художническая среда, прекрасные образцы искусства, с детства окружавшие мальчика, возможность общения в доме отца с художниками, чьи произведения уже сейчас кажутся классикой, определили наряду с талантом чрезвычайно высокий формальный уровень работ О. Верейского, их графическую культуру, изощренный вкус. Жанры же и формы его работ (и работ 40-х годов в особенности) определила война. Война определила и аскетическую простоту, и ясность формы, и скупость изобразительных средств, и самый массово-демократический характер его рисунков. Мне кажется, все это было словно фундаментом и творческой и человеческой цельности на всю жизнь.

Формальная изощренность Верейского окрашена его человеческой добротой; присущие ему естественность, простота, изящество проявляются во всем — и в самом характере его рисунков и даже в самом характере его оформительства. Посмотрите, как выглядит рисунок Верейского на странице — он никогда не прыгает с нее вам в глаз. С изяществом и достоинством он добротно и вместе с тем как-то «уютно» располагается на отведенном ему месте, будь то оборочный рисунок или страничная иллюстрация. А поло-

сы набора, заголовки и буквицы, расположенные рядом с ним, словно только и ожидали его. Они словно бы оживают и начинают жить какой-то веселой «артельной» жизнью. Вспомните для примера «огоньковский» разворот переводов Маршака из Бернса или титул «Василия Теркина»!

К слову сказать, «Теркин», да и все иллюстрации к Твардовскому, на мой взгляд, лучшее из всего сделанного Верейским-иллюстратором. «Теркина», вообще говоря, теперь, кажется, просто невозможно представить себе в каком-либо другом — и не «верейском» — воспроизведении. Но и в работе над иллюстрациями к другим поэмам и стихам Твардовского задушевность, лиризм, ясность формы, острая наблюдательность и простота интонации, свойственные О. Верейскому, оказались как нельзя более кстати. И показанные сейчас на выставке новые иллюстрации к собранию сочинений Твардовского — еще одно этому подтверждение.

Нравятся мне рисунки Верейского к фадеевскому «Разгрому», хотя присущее тексту драматическое и даже трагическое звучание оказалось у Верейского приглушенным.

Очень обаятельны и лиричны рисунки, сделанные Верейским к пришвинским текстам. Эта работа художника до сих пор недостаточно оценена. Очень красивы и по-хорошему изысканны его рисунки к роману Л. Никулина «России верные сыны».

Шолохов — автор, к которому, после Твардовского, Верейский обращался больше, чем к кому бы то ни было,— мне кажется, удается ему меньше, хотя среди рисунков к «Поднятой целине» есть очень хорошие. Но в целом и в «Судьбе человека», и особенно в «Тихом Доне», стремление к весомости, наполненности рисунков подробностями, не будучи подчинено смысловому и пластическому обобщению, нет-нет да и оборачивается описательностью и перечислением. Но главное — тут нет того органического соответствия темпераментов и интонаций, которое так подкупает в иллюстрациях к произведениям Твардовского.

Когда смотришь иллюстрации Верейского, ничто не может поколебать твоей уверенности, что ему досконально знакома любая особенность уклада, типажа и быта даже тех мест, где он никогда на самом деле и не был. Впрочем, в том, что не был, трудно быть уверенным окончательно, потому что Верейский очень много ездит. Ездит по Союзу и за границу. И то, что говорилось о живости и естественности Верейского-иллюстратора, о его острой наблюдательности, едва ли не с еще бо́льшими основаниями может быть сказано о тех рисунках, которые он привозит из своих поездок.

Пейзажи и интерьеры, рисунки и акварели последних лет были для меня настоящим откровением в



О. Верейский. Из иллюстраций к поэме А. Твардовского «Василий Теркин».

творчестве художника. Их много. И «Взлет голубей», и «Сухие ели», и «Весна», и «Грачи», и «Гул самолета», и «Яблони зимой», и «Черный кот», и «Зимний пейзаж», и «Русская печь», и «Дорога в Жуковку», и «В поле», и «Сорока», и «Март»—все это действительно очень хорошие, очень душевные работы. Тонкие по чувству и настроению, они верно увидены и красиво, с артистизмом выполнены.

Чувства, которые владели художником, когда он делал эти работы, наверное, были разными, но во всех них одинаково сильно выражено новое качество художника: сосредоточенная углубленность, с которой он стремится постигнуть жизнь, окружающую его, выразить чувство счастья от своей слитности с миром, в котором он живет, и дать пластически совершенное выражение образам, которые он так напряженно ищет. Особую человеческую теплоту его вещам придает обаяние личности самого художника— та доброта, непосредственность, лиризм, которые, естественно, присущи только цельным, душевно здоровым, хорошим людям.

Я хочу тут рассказать о двух работах О. Верейского. Не потому, что они мне больше всех нравятся (какие нравятся больше всех, я и сам, пожалуй, затруднился бы так уж безоговорочно определить), а потому, что определенная их характерность особенно наглядна. На одной — синие сумерки и желтые прямоугольники света от окон лежат поперек сугробов и уходящей дороги, на которой уезжающий автомобиль перегоняет лыжницу. А на переднем плане — детские санки, видно, только что оставленные. Это «Зимний пейзаж». На другой — мягкий вечерний свет ровно освещает открытые двери и натертый паркет с красивым красным ковром, уходящим в глубину коридора, где у одной из дверей, рисуясь четким, красивым силуэтом на ее фоне, сидит очень пушистый кот. Это «Черный кот».

Трудно найти сюжеты более обыденные и более, казалось бы, незначительные. Но содержание этих работ гораздо шире и значительнее, чем их сюжеты. Ведь они дали нам возможность вместе с художником через уют и теплоту этой жизни еще раз ощутить уверенное, спокойное достоинство и счастье мирного быта.

Я подумал, что Оресту Верейскому, художнику, прошедшему войну, с такой пронзительной остротой удается передать эти чувства потому, что он на собственном опыте хорошо знает, какими годами оплачена наша сегодняшняя, уже кажущаяся привычной повседневность.

Право, мне сейчас, кажется, легко представить себе Ореста Верейского тех лет, когда в его папках появлялись такие рисунки, как «Беда», «Дорога под Вязьмой», «Раненый паровоз». Представить его в каком-нибудь сыром блиндаже, при дрожащем от близких разрывов огоньке коптилки, делающего срочный рисунок для очередного номера армейской газеты и думающего, может быть, о друзьях, с которыми быстро подружила и непоправимо разлучила война, а может быть, о городе, в котором он вырос и по которому теперь стреляют из дальнобойных орудий немцы...

А может быть, и у меня так остро все это воспринимается потому, что я еще хорошо помню эвакуацию, и холодную сибирскую зиму, и те пачки махорки, выданные по промтоварным талонам, которые наша некурящая семья могла бы обменять на еду, но которые в конце концов отдавали мне, чтобы я отнес их в школу, где собирали посылки для фронта. И саму нашу школу, где то один, то другой мой одноклассник вдруг исчезал на 2—3 дня, а потом приходил с красными глазами, притихший и ни с кем не заговаривавший. И мы знали, что еще в один дом пришла похоронка.

И концерты нашего школьного хора в госпиталях, где мы срывавшимися голосами пели: «Вставай, страна огромная...» и какие-то частушки, вроде:

Невеселые подсчеты
После боя у врага —
Три солдата стало в роте,
И на всех одна нога...

Пели по 5—6 раз, так как надо было петь в каждой палате, где раненые не могли ходить. Они слушали нас, привстав на койках, опираясь на локти, и даже великодушно аплодировали нам, если у них руки были не в гипсе и если руки были...

На вернисаже выставки работ Ореста Георгиевича Верейского было очень много людей. В нарядных костюмах и в приподнятом, не побоимся сказать, праздничном настроении. Приветствовали знакомых, ходили от работы к работе, но говорили, что сейчас смотреть очень трудно, собралось много народу, и они обязательно придут еще раз.

Будем надеяться, что они придут еще не раз...

Вокруг Ореста Верейского толпой стояли друзья, близкие знакомые и, наверное, совсем незнакомые люди. Они просили его надписать каталог, поздравляли его.

Давайте, дорогой читатель, присоединимся к ним и мы.

П. Багряк

ПЕРЕКРЕСТОК

ПРОЗА



Рисунки автора.

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

В журнале «Юность» № 7 за 1966 год была напечатана первая приключенческая повесть П. Багряка «Кто?».

Профессор Миллер создал теорию нейтронного торможения и установку, способную замедлять ядерную реакцию. Он решил утаить свое открытие, понимая, что установку можно использовать для развязывания войны. Однако его Двойник — Миллер Второй, случайно синтезированный в лаборатории профессора Чвиза, надеется продать установку, заработать на ней. Конфликт между Миллером и Двойником приводит к убийству...

Кто же из двоих остался в живых: профессор Миллер или его Двойник? На этот вопрос журналист Честор так и не смог ответить, хотя он блестяще провел расследование таинственного убийства в Институте перспективных проблем. Так закончилась первая книга «Кто?».

В повести «Перекресток» читатель встретит многих героев первой книги П. Багряка.

КНИГА ВТОРАЯ

1

Генерал делает историю

Дорон, как всегда, приехал вовремя.

Машина, моргнув стоп-сигналами, ушла за поворот. Ветер тронул придорожные кусты и сдул с пустынного шоссе струю бензинового перегара. Дорон запахнул плащ, плотней надвинул шляпу, тяжеловесным прыжком одолел канаву. Здесь не было и намека на тропинку, однако он уверенно двинулся к прогалу в чернеющем ельнике. Густая роса окропила ботинки и манжеты брюк — увы, ничего не поделаешь: срочная и секретная встреча с президентом имела свои неудобства.

Наконец обозначился силуэт двухэтажного дома с флюгером на островерхой крыше. Пройдя вдоль глухой стены, Дорон распахнул неприметную калитку — кто-то тотчас запер ее — и быстро пересек широкий двор.

Дорогу генералу заступил было охранник, но, узнав, немедленно стушевался. Дорон и на него не обратил внимания.

Он миновал короткий коридор, на ходу снимая плащ и шляпу, и поднялся по деревянной лестнице, застланной потертой на сгибах ковровой дорожкой. Репортеры любили отмечать эту подробность,— вся страна знала, что президент живет скромно и старомодно.

Замкнутое лицо Дорона не выражало ни озабоченности, ни волнения, когда он входил к президенту.

В небольшом зале, обшитом панелями из мореной лиственницы, старческая фигура президента совершенно терялась среди громоздкой, темной от времени мебели. Единственным источником света был сложенный из массивных камней очаг, в котором потрескивали смолистые поленья. Здесь все дышало минувшим веком, и белый телефон с кнопочным диском казался занесенным сюда случайно. Играющие отблески падали на красное сукно восьмиугольного столика, зажигая рубиновые точки в стакане глинтвейна. Президент — щупленький человек с напомаженными волосами и маленькой испаньолкой — раскладывал «гранд-пасьянс». Его губы шевелились, словно он разговаривал сам с собой. «Бамм!» — ударили часы в углу.

— Ах, генерал! — Президент выпрямился в крес-



ле; у него оказались розовые, висящие мешочками щеки и неожиданно живые ярко-синие глаза.— Вовремя пришли. Не знает ли ваша математика способа заставить сойтись этот проклятый пасьянс?

Он энергично стукнул кулачком по разложенным картам.

— Могу дать задание машине рассчитать,— четко сказал Дорон.

— Присаживайтесь, генерал.— Президент махнул рукой в сторону кресла.— Хотите к огню? И прошу вас, без церемоний. Вы ведь знаете, я сугубо штатский человек, и все военное мне претит. Разумеется, это не касается вас, дорогой генерал.

Дорон молча поклонился, а затем не без усилий придвинул кресло к камину и сел.

— Приступать к докладу?

— Может, стаканчик глинтвейна, чтобы согреться?

— Не меняю привычек, господин президент.

— И напрасно. Совершенно напрасно, генерал. Маленькие слабости делают нас человечней. Докладывайте.

Дорон покосился на шлепанцы президента.

— Как я сообщил телефонным звонком,— сухо сказал он,— дело имеет чрезвычайную государственную важность. Речь идет об установке, работающей по принципу...

Президент умоляюще замахал кулачками.

— Не надо подробностей! Я полон уважения к людям, знающим, из чего состоит вода, но техника, как вам известно, нагоняет на меня сон.

— Как будет угодно, господин президент. Речь идет об установке, которая будет создана в Институте перспективных проблем и которая предназначена для дублирования людей.

— Что? — сказал президент.— Дублирования? Как вы прикажете вас понимать, генерал?

Секунду-другую Дорон наслаждался произведенным эффектом, хотя внешне это никак не проявлялось.

— Берут человека, господин президент, подробности опускаю, и дублируют его. Получаются новые люди, точно такие же. В неограниченном количестве.

— Вот как? Любопытно...— Президент с явным удовольствием отхлебнул глоток глинтвейна.— Если так, дорогой Дорон, то и меня можно, как вы сказали, дублировать?

— Разумеется, господин президент.

— И тоже «в неограниченном количестве»?

— Так точно, господин президент.

— Очень любопытно! Но не кажется ли вам, генерал, что это будет не совсем удобно: двадцать одинаковых президентов в одной стране?

— Наоборот, сэр, вы будете вездесущи, как сам господь бог! Кроме того, полная гарантия личной безопасности, так как всякие покушения станут просто бессмысленными.

— Но если все же покушения будут, то этим, как вы сказали...

— Дубликатам, господин президент.

— ...дубликатам, благодарю вас, будет больно?

— Я вас не понял.

— Ну, от пули, ножа, яда...

— Да, господин президент, будет больно, как и вам, поскольку от вас они ничем не будут отличаться.

— Даже душой?

— Душа, очевидно, тоже дублируется. Правда, в этом направлении еще необходимы кое-какие специальные разработки. Господин президент, мои слова, возможно, звучат фантастично, но не менее фантастичной выглядела когда-то идея атомной бомбы.

— Да-да, понимаю... А как же бог? Он нам простит, генерал, вторжение в ту область, в которой до сих пор он разбирался лучше нас?

— С господом богом, мой президент, придется договориться,— сказал Дорон.

Президент встал. Шаги то уносили его в темные углы зала, тогда оттуда белел лишь венчик его седых волос на затылке, то внезапно устремляли к огню, и тогда его заливал багровый отсвет скопив-

шихся углей. Дорон холодно следил за стариком. Его раздражало шарканье шлепанцев президента.

Наконец президент сел, отхлебнул глинтвейна.

— Не так давно, помнится, вы приходили ко мне с идеей другой установки. Той, что не позволяет атомным бомбам взрываться. А потом выяснилось...

— Что аналогичную установку создал потенциальный противник.

— Не только противник, генерал... И другие. Даже во время визита в Этруссию мне преподнесли нечто подобное, как сувенир. Пришлось подарить дюжину лошадей... Одной из них я очень дорожил.

— Я сожалею, мой президент.

— А бедные налогоплательщики? Эх, генерал, они не простили бы нам те кларки, которые вы выбросили на свои установки.

— Жертвы нужны не только на войне.

Президент поморщился.

— Не надо банальностей, генерал,— сказал он.— Я не виню вас. К сожалению, ученые есть и в других странах.

— Я хочу, чтобы у нас их было больше! И поэтому предлагаю их производить, а не ждать, когда они появятся...— Дорон замялся,—...естественным путем,— наконец добавил он.

— Значит, двойники. И сейчас я должен взять на себя всю ответственность за этот шаг? Я должен разрешить дублирование людей, наделенных божественной душой, разумом, чувствами?

— Да, господин президент. И еще дать разрешение использовать некоторые суммы из государственного бюджета.

Президент пожал узенькими плечами.

— Но разве не тем же самым, господин президент, занимаются наши казармы? Разве там не стараются сделать людей одинаковыми?

— Уж не думаете ли вы...

— Почему бы и нет, если нужно?

— Генерал, давайте говорить серьезно. Я не хочу, чтобы вы забывали о таких понятиях, как общественное мнение и суд потомков. Для меня это, поверьте, не пустой звук.

— Господин президент, вы вольны сказать «нет». Смею, однако, предупредить, что рано или поздно установка будет создана в какой-нибудь другой стране. Это неизбежно. Найдутся ученые, которые придут к той же идее, и найдется правительство, которое скажет «да».

Президент задумался и посмотрел туда, где висели портреты великих деятелей прошлого. Отблеск огня совсем ослаб, портреты покрывала тень, лишь на ближнем портрете редкие вспышки пламени оживляли чей-то суровый облик.

— Я почему-то всегда любил старый способ размножения людей,— серьезно сказал президент.— А вы, Дорон? Но хорошо... Так вы полагаете, что эта идея изготовления солдат-двойников может прельстить какое-нибудь правительство?

— Должен уточнить. Солдаты-двойники и армии неограниченной численности — это в перспективе. Пока что дублирование слишком дорого.

— Сколько?

— Двести тысяч кларков экземпляр.

— Уф! Если не ошибаюсь, рядовой солдат стоит сорок тысяч?

— Совершенно верно.

— Так кого же вы будете дублировать, генерал? Уж не себя ли?

— Нет. Талантливых ученых.

Президент удивленно посмотрел на Дорона.

— По-моему, их у нас и так слишком много,— сказал он.

— Согласен. Ученых много. Но речь идет о талантливых, по-настоящему талантливых людях.

— Это ужасный народ! Несносный! Их приходится терпеть, потому что они полезны, но...

— Разрешите возразить. В наши дни побеждает тот, на чьей стороне больше талантливых мозгов. Это аксиома, которую не поняли немцы. Этим они лишили себя атомной бомбы.

Из бокового кармана куртки президент, помедлив, извлек маленькую записную книжку.

— Сколько стоит ученый, господин генерал?

— Рядовой ученый — сто пятьдесят тысяч кларков. Выдающийся... тут нет точной цены. Иногда его мозг может стоить сотни миллионов. Мозг гения — миллиарды.

Карандаш президента занес цифры в записную книжку. Минуты две он что-то подсчитывал, беззвучно шевеля губами, потом удовлетворенно сказал:

— Итого получается: чистая прибыль — два миллиона кларков. Неплохо, мой генерал!

— Простите, не совсем понял ваш баланс.

— Поясню.— Президент назидательно поднял палец — привычка с тех времен, когда он был судьей.— Принимаем ориентировочный доход от дублирования талантливого ученого равным... не миллиарду кларков, тут вы хватили через край, генерал, а десяти миллионам. Для гениев вполне достаточно. Теперь — расходы. Само дублирование — двести тысяч, создание материальных благ для «новорожденного»,— президент улыбнулся,— ну, это мизер... Всякие там автомобили, виллы... Расходы на обработку общественного мнения страны в пересчете на одного дублируемого человека — два миллиона кларков. Впоследствии этот расход может быть снижен... Затраты на обработку мирового общественного мнения положим равными трем миллионам. Отчисления на амортизацию престижа страны, надеюсь, временную,— два миллиона, престижа правительства внутри страны — около миллиона... В дальнейшем, особенно при массовом производстве, расходы могут быть значительно снижены. И это, конечно, черновой расчет. Вы с ним согласны?

— Не совсем. Зачеркните графу «расходы на обработку общественного мнения». Очень талантливых ученых, как я сказал, мало. Для начала мы сделаем не так уж много дублей. Вопрос их статуса можно урегулировать без оповещения общественности. Здесь есть свои трудности, но...

Его остановил жест президента.

— Я даю разрешение, генерал. Но только на проведение опытов. Во имя науки. Ясно?

— Вполне, господин президент. Я вас еще ни разу не подводил.

— Я знаю.

Некоторое время они молчали.

— А что,— неожиданно с интересом спросил президент,— эти ученые... Они согласятся?

Дорон улыбнулся впервые за весь вечер.

— Меня иногда интересует,— сказал он,— видит ли рыба крючок перед тем, как попасться. Лично я думаю, что видит.

— Значит, все дело в приманке?

— Конечно. Наша главная слабость в том — ведь некоторым образом и я ученый, господин президент,— что мы безумно хотим видеть конечный результат своих опытов. Разве мало было исследователей, которые пробовали на себе культуры всяких там зловредных микробов?

— Вот это-то, говоря откровенно, и страшит меня в ученых.

— А разве вы сами не хотите видеть результаты своей политики?

Президент досадливо поморщился и допил глинтвейн.

— Кстати, генерал, кто будет первым... э... Нет, я не так должен спросить. Кто будет вести опыты?

— Опыты ведут профессор Чвиз и профессор Миллер, который однажды уже испытал действие установки на себе (президент вздрогнул). Мы рассчитываем закончить работы в течение года.

— Так.— Лицо президента приняло отрешенное выражение.— Год... только год... Сегодня четверг? Через неделю вы представите мне подробный доклад о всех аспектах проблемы. Опыты продолжайте. Должное финансирование вам будет обеспечено.

— Благодарю, господин президент.

Дорон встал.

— Сегодня я проведу ночь в молитвах,— сказал президент.

После ухода генерала он включил свет и сел за неоконченный пасьянс. Его губы беззвучно шептали что-то, и со стороны могло показаться, что президент молится.

2
Необычный день

До звонка оставалось ровно пять минут. Луиза успела еще раз взглянуть в зеркальце и улыбнуться своему отражению. Ей ответило улыбкой миловидное продолговатое лицо с маленьким прямым носиком, припухлыми губками и серо-зелеными, чуть навыкате глазами.

«Пусть попробует эта рыжая девчонка, когда ей стукнет двадцать восемь, выглядеть так же,— подумала она.— И что нашел в ней хорошего Питер? Странные вкусы у этих мужчин...»

Она торопливо спрятала зеркальце и помаду в сумочку, потом достала из ящика лабораторные журналы и стала раскладывать их на столе в раз навсегда заведенном порядке.

Луиза спешила. Она знала, что еще не успеет отзвонить звонок, как дверь лаборатории резко распахнется и на пороге появится профессор Чвиз. Он стремительно подойдет прямо к ее столу и, вскинув свою легендарную бороду, в тысячный раз произнесет одну и ту же фразу: «Добрый день, Луиза. А где профессор Миллер?»

Третий год работает Луиза в лаборатории старика Чвиза и уже привыкла к тому, что здесь всегда все совершается по заведенному порядку. Заведенному и педантично охраняемому профессором Чвизом. И эти журналы, и этот обязательный утренний вопрос о Миллере, и даже сама Луиза, безропотно и пунктуально выполняющая все многочисленные распоряжения своего придирчивого шефа.

Единственным человеком в лаборатории, на которого строгие порядки Чвиза не распространялись, был профессор Миллер.

Странный он, Миллер. Еще не стар, но совсем не обращает на Луизу внимания. Правда, он неизменно любезен, но его взгляд всегда направлен куда-то за спину Луизы.

И вообще этот человек был ей как-то несимпатичен. Может быть, потому, что она не могла в нем разобраться, а может быть, потому, что однажды случайно услышала отрывок разговора между ним и Чвизом. «Я полагаю,— сказал Миллер,— что к нашей работе следует привлекать как можно меньше людей. И без лаборантки мы могли бы вполне обойтись». Старик что-то возразил, но о чем они говорили дальше, Луиза уже не слышала. Во всяком случае, все осталось по-прежнему.

В коридоре мелодично запел звонок. Открылась дверь. Появился профессор Чвиз. Подошел к столу. Запрокинул голову, так что борода встала торчком.

— Добрый день, Луиза. А где профессор Миллер?

— Добрый день, шеф,— автоматически ответила Луиза.— Профессор Миллер просил передать, что его сегодня не будет.

Чвиз что-то недовольно пробормотал, но, как всегда в таких случаях, молча прошел в соседнюю комнату. Луиза видела, как он подошел к умывальнику и, засучив рукава своей неизменной нейлоновой куртки, принялся мыть руки.

Каждое утро он проделывал эту операцию с особой тщательностью, словно врач перед осмотром больного. У Луизы никогда не хватало терпения смотреть, как он долго и упорно трет один за другим каждый палец.

Она подвинула к себе журнал и, листая страницы, стала искать последнюю запись.

«Слава богу, с Миллером на сегодня покончено»,— отметила она про себя.

Действительно, не было еще случая, чтобы на протяжении дня Чвиз поинтересовался Миллером вторично. «Сейчас он усядется в свое любимое кресло,— подумала Луиза,— и потребует, чтобы я читала вчерашние данные. Боже, как все это мне надоело!»

Могла ли она предполагать, что этот день, начавшийся точно так же, как все предыдущие, окончится необычайно?

Но пока все шло по традиционному расписанию. Чвиз опустился в кресло. Несколько раз провел своей широкой ладонью по бороде и, устремив взгляд куда-то вверх, произнес:

— Ну, что же, послушаем вчерашние данные.

Лабораторный журнал был уже раскрыт на нужной странице, и Луиза сразу начала читать ровным голосом:

— Опыт номер 1421 — шестнадцать часов пятнадцать минут. Объект — три бутона роз, начальное напряжение — восемьсот вольт, пиковое — двенадцать тысяч.

Ее прервал телефонный звонок. Среди многочисленных странностей и чудачеств профессора Чвиза была и такая: он терпеть не мог телефонов. Его просто в дрожь бросало от каждого звонка. А когда ему все же приходилось брать трубку, он держал ее двумя пальцами, точно взрывчатку, на почтительном расстоянии от уха.

— Алло? — сказала Луиза.— Это вас, шеф.

Она узнала голос Дорона.

— Слушаю,— недовольно произнес Чвиз.— Да, я внимательно слушаю.

Дорон говорил четко и громко, и даже Луиза поняла каждое его слово:

— Разрешение президента получено, профессор. Деньги есть. Поздравляю. Форсируйте опыты.

— Благодарю вас, генерал,— ответил Чвиз.— Приму к сведению.

И двумя пальцами — осторожно, как будто трубка могла взорваться,— положил ее на рычаг.

— Можно продолжать? — осведомилась Луиза и, поскольку Чвиз ничего не ответил, стала читать дальше: — Сила тока в импульсе — три тысячи ампер...

Но Чвиз остановил ее:

— Вы не знаете, когда придет профессор Миллер?

Луиза удивленно взглянула на шефа.

— Я уже говорила, что профессора Миллера сегодня не будет.

— Да, да...— как-то неопределенно протянул Чвиз.— Простите, Луиза, мне нужно подумать.

Он зашагал из угла в угол, почему-то держа руки перед грудью, как это делают хирурги перед началом операции. Левая щека его нервно подергивалась. Луиза удивленно наблюдала за шефом. Никогда еще она не видела Чвиза таким. Старик был явно выбит из колеи, хотя обычно поражал Луизу своей невозмутимостью и непоколебимым равновесием. Впрочем, Луизе и раньше иногда казалось, что вся эта пресловутая пунктуальность и педантичность Чвиза только щит, с помощью которого он пытается оградить себя от необходимости принимать какие-либо решения. Женское чутье подсказывало Луизе, что за подчеркнуто суховатым, а временами даже грозным внешним обликом Чвиза скрывается мягкий и слабохарактерный человек. Во всяком случае, такие мысли не раз приходили ей в голову.

Чвиз неожиданно остановился возле Луизы и сказал, глядя куда-то в сторону:

— Простите, Луиза, я хочу вас спросить... Для меня это очень важно. Вы, кажется, разошлись со своим мужем?

Щеки Луизы мгновенно вспыхнули.

— Да.— И почему-то торопливо добавила: — Но это было три года назад.

— Еще раз простите,— продолжал Чвиз.— Я, возможно, касаюсь событий, воспоминания о которых вам неприятны, но, повторяю, для меня это важно. Вы сами решили его оставить?

— О, нет! — вырвалось у Луизы.— Питер ушел от меня к другой...

— Жаль,— перебив Луизу, сказал Чвиз и отошел от стола.

Луиза растерянно посмотрела ему вслед. Кажется, она сделала глупость. Ну, конечно же, не следовало так говорить. У мужчин свой взгляд на вещи, и оставленная женщина, вероятно, не может вызвать их сочувствия.

— Это все равно должно было случиться,— торопливо заговорила Луиза, словно стараясь оправдаться перед Чвизом.— Я слишком идеализировала Питера. Такая уж я неисправимая фантазерка. А он был всего лишь обыкновенным, заурядным парнем, если прельстился этой...

Чвиз бросил на Луизу быстрый взгляд из-под своих густых бровей.

— Вы сейчас одиноки? То есть...— Он смутился.— Извините, я не знаю, как это лучше сформулировать.

Луиза на мгновение задумалась.

— У меня есть друг,— сказала она, стараясь придать своему голосу игривое выражение, хотя вовсе не была уверена в том, что это вообще следовало говорить.

— И, устроив свою жизнь, вы, вероятно, не прочь были бы оставить работу? Ну, я хочу сказать, вы не очень жалели бы, если бы вам пришлось покинуть эту лабораторию?

— Бэри хорошо обеспечен. И, мне кажется, он любит меня,— уже серьезно ответила Луиза.

— Мм-г,— протянул Чвиз не то разочарованно, не то удовлетворенно и медленно пошел в другую комнату.

Через открытую дверь Луиза видела, как он открыл сейф, достал с полки большой желтый портфель с серебряной монограммой, извлек из него пачку чертежей и, развернув их перед собой, углубился в какие-то подсчеты.

Чвиз сидел к Луизе вполоборота, и она могла видеть, как он то сосредоточенно что-то писал, то вдруг откладывал ручку и, наморщив лоб, устремлял свой взгляд куда-то в пространство.

«А что, если сбрить у него бороду? — вдруг мелькнула у Луизы озорная мысль.— Как бы он выглядел?»

Она попыталась представить себе Чвиза без бороды. Высокий рост, могучее телосложение, запоминающееся лицо,— с таким мужчиной приятно пройти по улице, ничего, что ему уже за шестьдесят. Но почему он задавал ей эти странные вопросы? О разрыве с мужем, о дальнейших планах? Что бы все это могло значить? И Луизе вдруг захотелось продолжить прерванную беседу. Удобно ли только отрывать его от работы? Но в конце концов он сам начал этот разговор.

Она поднялась из-за стола и, тихонько пройдя в другую комнату, осторожно присела на стул рядом с Чвизом.

— Скажите, профессор,— негромко спросила она,— вы всегда жили один?

— Что, что? — не сразу понял Чвиз, отрываясь от бумаг.— Ах, вот вы о чем...

Он сунул ручку в карман своей блузы и откинулся на спинку кресла.

— Нет, дорогая Луиза. Но все это давно ушло. Все позади.

— Почему? — запротестовала Луиза.— Вы не должны так говорить!

Она неожиданно смутилась и замолчала.

— Что поделаешь, дорогая Луиза. Время, увы,— необратимая функция,— грустно пошутил Чвиз.

Оставшаяся часть рабочего дня промелькнула для Луизы словно в каком-то сне. Она машинально переходила от прибора к прибору, автоматическими движениями смахивала пыль с многочисленных циферблатов и шкал, что-то поправляла, что-то записывала. Но мысли ее были о другом.

«Чвиз влюбился,— думала она,— это ясно, как день. Но боится, что слишком стар для меня. Бэри, конечно, намного моложе Чвиза, но ему, пожалуй, все же далеко до него... Но что это я?» Луиза попыталась приостановить стремительный полет своего воображения, однако услужливая фантазия уже рисовала ей одну картину заманчивее другой. Вот они венчаются в церкви, вот отправляются в свадебное путешествие на борту белоснежного лайнера, вот они вдвоем стоят на палубе, и все пассажиры бросают на нее и Чвиза восхищенные взгляды...

К реальной жизни ее вернул звонок, возвестивший окончание рабочего дня. Чвиз тоже оторвался от своих бумаг и посмотрел на часы. Они показывали половину пятого.

— Луиза.

— Да,— встрепенулась Луиза, уже начавшая было собирать свои вещи.

— Могу ли я обратиться к вам с просьбой?

— Да, конечно.

— Вы сегодня никуда не торопитесь?

— Мы с Бэри собирались уехать к морю на субботу и воскресенье. Но если...

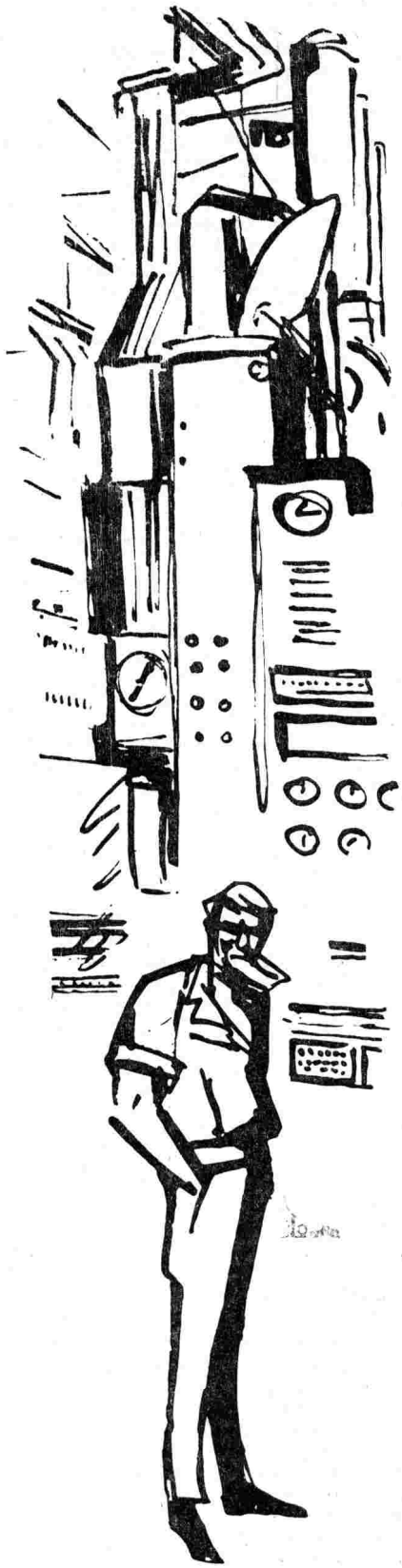
— Не могли бы вы немного задержаться? Я должен сделать контрольный опыт. Мне очень не хотелось бы откладывать его на понедельник.

И хотя это были совсем не те слова, которых ждала Луиза, она, не задумываясь, сняла телефонную трубку и набрала номер:

— Бэри? Это я. Мне придется немного задержаться. Не знаю, может быть, час, полтора. Ты будешь ждать меня? Хорошо.

Она положила трубку и посмотрела на Чвиза.

— Что я должна делать?



— Прежде всего сходить в виварий и принести кролика.

Когда Луиза вернулась в лабораторию, неся в руках небольшую клетку с белым зверьком, Чвиз уже приготовил установку. Он взял у Луизы клетку и поставил ее в один из отсеков большого прозрачного колпака, к которому тянулось множество проводов. Потом он начал задраивать люк, но в это время в лаборатории появился Кербер. Он вежливо поздоровался с Луизой и почтительно поклонился Чвизу.

— Добрый день, шеф. Как идут дела?

— Работаем, как видите,— не слишком любезно пробурчал Чвиз.

Он вообще недолюбливал этого человека, который когда-то работал у Миллера и вместе с ним появился в лаборатории Чвиза. Профессор считал Кербера неважным физиком и старался по возможности обходиться без его помощи.

Кербер приблизил свою лысую, похожую на бильярдный шар, голову, на которую профессору Миллеру всегда хотелось поставить печать, к прозрачной стенке колпака и с интересом посмотрел на кролика.

— О, вот какой опыт вы собираетесь проделать! Понимаю, понимаю.— Он внимательно посмотрел на Чвиза.— Выходит, мы уже у самого финиша?

— Возможно,— буркнул Чвиз, с беспокойством поглядывая на часы.

Как бы не замечая этого, Кербер несколько раз медленно прошелся по лаборатории.

— Ну, не буду вам мешать,— откланялся он наконец.

Когда дверь за ним закрылась, Чвиз еще раз проверил люк и подвел Луизу к главному пульту.

— Вы должны следить за тем, чтобы стрелки на этих двух вольтметрах показывали одинаковые напряжения. Правая должна дублировать левую. Если возникнет отклонение, вы будете вносить поправки этим верньером. Правда, в цепи стоит автоматический регулятор, но я не очень на него надеюсь. А теперь — самое главное,— продолжал Чвиз.— Как только стрелка на этом приборе дойдет до красной черты,— он указал на большой прямоугольный циферблат, вмонтированный в стену, прямо над пультом,— вы должны нажать эти две кнопки. Только строго одновременно. И как раз тогда, когда стрелка достигнет черты. Ни раньше, ни позже. Обычно за этим следит профессор Миллер, но сегодня... Одним словом, я прошу вас быть очень внимательной. Вы все поняли?

Луиза кивнула.

— Тогда начнем.

Чвиз отошел ко второму пульту, установленному рядом с прозрачным боксом. Сухо щелкнули реле. Лабораторию наполнило равномерное гудение. Луиза увидела, как стрелка на левом вольтметре медленно поползла по шкале. Вслед за ней послушно двинулась и стрелка на правом приборе.

Гудение усилилось. Стрелки на вольтметрах дошли до середины шкалы и одновременно остановились.

Луиза на мгновение оглянулась. Чвиз стоял к ней спиной, возле бокса, и сосредоточенно вращал какие-то ручки. Кролик в боксе сидел неподвижно, словно изваяние, плотно прижав длинные уши. Его окружало колеблющееся сиреневое сияние.

Луиза торопливо, как бы испугавшись того, что на мгновение перестала следить за вольтметрами, вновь наклонилась над пультом. И сразу же стрелки приборов, словно они только того и ждали, начали стремительный замысловатый танец.

Следить одновременно за двумя циферблатами да еще все время поглядывать на верхний прибор было мучительно трудно. Уже через несколько минут у нее заболели глаза. Между тем скачки напряжения становились все сильнее. Они следовали один за другим во все убыстряющемся темпе. Луиза не успевала переводить взгляд с одного циферблата на другой. Сияние за спиной становилось то ослепительно ярким, то спадало настолько, что сиреневые блики на стеклах приборов гасли и исчезали.

Гудение временами достигало угрожающей силы. За спиной Луизы что-то происходило. Но она не решалась оторвать взгляда от приборов. От напряжения у нее потекли слезы. Перед глазами бежали желтые, зеленые, красные круги.

Луиза уже не видела ничего, кроме лихорадочного метания стрелок. Она едва успевала переносить взгляд с пульта на верхний циферблат и обратно. Весь мир сосредоточился для нее сейчас в двух маленьких белых кружках с черными делениями и красной чертой наверху.

Стрелки, гудение, вспышки, стрелки. Все перемешалось в нескончаемом водовороте. Луизе начало казаться, что все приборы застыли в неподвижности, а она сама вместе с лабораторией мечется из стороны в сторону.

Словно сквозь сон Луиза увидела, как черное острие на верхней шкале коснулось красной линии. Обеими руками она с силой нажала кнопки.

Оглушительный треск! Вспышка ослепительного света!

И все стихло.

Обессиленная, как после тяжелой работы, Луиза в изнеможении откинулась на спинку стула. Словно откуда-то из другого мира до нее донесся голос Чвиза:

— Благодарю вас, Луиза.

Она с трудом выбралась из-за пульта и, пошатываясь, подошла к боксу. Чвиз стоял, прижавшись к прозрачной стенке, и смотрел внутрь. В правом отсеке, который еще несколько минут назад был совершенно пустым, теперь стояла клетка с белым кроликом. Точно такая же, как и в левом отсеке.

Луиза понимала, что это значит. Она восторженно посмотрела на шефа, но, к своему удивлению, увидела, что лицо его мрачно.

Чвиз заметил ее взгляд и повторил устало:

— Благодарю вас, Луиза. Без вашей помощи я бы ничего не смог сделать. А теперь вы можете идти.

Очутившись в коридоре, Луиза прислонилась к стене. Голова все еще немного кружилась, а перед глазами плыли оранжевые пятна. Она взглянула на часы. Было двадцать пять минут шестого. «Пожалуй, пойду выпью чашку кофе». Держась за перила, Луиза медленно поднялась на четвертый этаж в бар, но в последний момент вспомнила, что оставила сумочку с деньгами в лаборатории. «А что, если Чвиз уже ушел?» — подумала она.

Однако лаборатория оказалась незапертой, хотя Чвиза в ней не было. Ключ торчал из замочной скважины с внутренней стороны двери. Луиза подошла к своему столу, чтобы достать сумку. На гладкой коричневой поверхности стола белел клочок бумаги, прижатый сверху большим ключом с замысловатыми бороздками — ключом от сейфа.

Холодея от смутного предчувствия, Луиза наклонилась над столом и прочла несколько слов, написанных знакомым косым почерком Чвиза:

«Я ухожу навсегда. Чвиз».

Еще не осознав как следует смысла записки, Луиза быстро прошла в аппаратную. Все как обычно. Но в аппаратной Чвиза не было.

Луиза беспомощно огляделась по сторонам. Увидела две клетки с кроликами. Они стояли в углу. Только тогда до нее вдруг дошел истинный смысл слов «ушел» и «навсегда».

Ужасная догадка обожгла Луизу: Чвиз отослал ее, чтобы зачем-то проделать опыт на себе! Ну, конечно же, он убрал клетки с кроликами и сам занял место в боксе. И что-то произошло. Какое-то несчастье. Зачем она только послушалась его и ушла?..

Стараясь побороть противную дрожь в ногах, Луиза добралась до телефона и набрала знакомый номер.

— Бэри? Случилось что-то ужасное. Исчез профессор Чвиз! Он оставил записку. Нет, я ничего не трогала. Да-да, я понимаю... Да-да, конечно.

Она медленно опустила трубку на рычаг.

3

И у шефа бывают неприятности

Генерал Дорон вставал ровно в восемь.

Впрочем, об этом вы, наверное, знаете из нашумевшего три года назад репортажа Эдуарда Поста «В гостях у осьминога». Пост — первое перо журнала «Ennui» («Скука»), самого интересного из всех иллюстрированных еженедельников. Эдди Пост полгода ходил у Дорона в садовниках, пока его допустили в дом присматривать за аквариумами. Тут он и состряпал своего «Спрута» — восемь полос с фотографиями. Помните? Сначала сад, вилла, а потом вся начинка. Например, спальня с кроватью XV века и японскими электронными штучками, которые имитируют шум дождя, чтобы лучше спалось.

А помните библиотеку? Генерал собирал только рукописные книги. Нет, не старинные — современные. Писатели переписывали ему от руки собственные книги. А как отказаться, если только за переписку он платил больше, чем издательство за книгу! Правда, штрафовал за помарки. Генеральская страсть неплохо подкармливала некоторых молодых.

А помните тир с настоящими летучими мышами, по которым гости Дорона лупили трассирующими пулями в абсолютной темноте?

Ну зачем повторяться, вы, конечно, читали Поста. Редко, кто не читал его репортаж три года назад, и никто не сомневался в том, что генерал открутит Посту голову за этот репортаж и за фотографии, сделанные микроаппаратом, который Пост упрятал в зубную коронку. Стоило ему улыбнуться и нажать языком спуск, как снимок был готов.

Но случилось чудо: Пост был обласкан генералом и спустя неделю распрощался с хозяином «Ennui», намекнув ему, что, даже если его еженедельник будет выходить толщиной с библию и на каждой странице будут помещать его фотографии, он все-таки заработает меньше денег, чем сегодня предлагает ему Дорон.

Это была сущая правда, хотя Пост был не из последних хвастунов. Это была правда, потому что, когда Дорон решал что-нибудь купить — кровать XV века, ловкого репортера или научный институт,— он не жалел денег.

Генерал Дорон, или Дорон-младший, был сыном знаменитого Дорона-старшего, короля электробритв. Отец генерала выпускал миллионы электробритв, и его эмблема — шимпанзе, со смехом бреющий себе живот,— украшала рекламные щиты на всех континентах.

Дорон-старший отправил своего единственного наследника в военно-морское училище, считая, что это неплохое начало для любой карьеры и что с какой-нибудь пустяковой медалью и мужественным гавайским загаром мальчику будет легче пролезть в конгресс. Однако сын несколько спутал планы папаши, заняв вскоре довольно теплое кресло в управлении военно-морской разведки. Затем он перебрался в Центральное управление разведки (ЦУР), а затем, прикрываясь, как фиговым листком, папиным «шимпанзе», путешествовал по Европе и Южной Америке, что, впрочем, не вызвало заметного оживления электробритвенного бизнеса. Потом он вновь вернулся в ЦУР и, наконец, тихо и незаметно отпочковался в самостоятельную организацию, так называемый «Комитет Дорона», род деятельности которой был известен не более чем десятку людей в стране.

Дорон-старший, дожив до весьма преклонного возраста, окончил свой век в Швейцарии, в пансионате для слабоумных миллионеров, где последний год дни и ночи напролет писал яростные письма Гомеру, Чарльзу Дарвину, Менделееву и Хемингуэю, требуя, чтобы они брились его электробритвами. После его смерти Дорон-младший стал единственным наследником гигантского капитала. Впрочем, он не очень нуждался в нем, будучи к моменту кончины своего родителя человеком и без того весьма и весьма состоятельным.

Генерал Дорон был теоретиком шпионажа. Долгие годы работы в разведке многому научили его. Он презирал старую классическую школу и смеялся над резидентами, пересчитывающими перископы подводных лодок в какой-нибудь бухте или заставляющими своих агентов ночевать в канавах на сортировочных станциях железных дорог.

Вся легальная дипломатическая разведка, все эти советники и атташе, на которых Дорон вдоволь насмотрелся в Европе и Южной Америке, напоминали ему инфузорий под микроскопом.

Одно время Дорон весьма заинтересовался космическим шпионажем, полагая, что новая техника в соединении с новой методологией может дать очень много. Однако он скоро понял, что воротилы из Ассоциации космоса (АК) выгрызут ему адамово яблоко при первой же его попытке подставить свою голову под золотой водопад, который щедро изливал на них конгресс, завороженный магическим словом КОСМОС и окончательно сбитый с толку проектами лунных крепостей и межпланетных минных полей — всей этой звездной галиматьей, плодом болезненной фантазии целого роя параноиков, купленных АК. И тогда Дорон всерьез задумался о собственном «деле».

Зачем нужна разведка вообще? Чтобы узнать силу противника, его резервы, его возможности. Что составляет в наш век эту силу, эти резервы? Заводы? Нет. Танки? Нет. Количество дивизий? Нет. Ракеты? Нет и нет! Главная сила — идеи. Бесплотные сегодня, они могут обернуться завтра и заводами, и ракетами, и танками. Талантливые мозги — вот за чем надо присматривать в самую первую очередь.

— Поймите, что бумажные салфетки, оставшиеся в ресторане после спора двух физиков, стоят дороже чертежей атомной бомбы,— не раз повторял Дорон своим сотрудникам.

— Не тратьте деньги на жадных осведомителей, тратьте деньги на отвергнутых изобретателей,— поучал он.

— За агента-лаборанта из Бактериологического центра, ворующего немытые пробирки, готов отдать двух агентов — полковников из Генерального штаба с их микрофильмами совершенно секретных инструкций о введении новой офицерской портупеи.— Этой шуткой он гордился.

— Я хочу знать сегодня то, что будет открыто завтра,— это был его девиз.

Комитет Дорона являлся крупнейшей организацией научно-технического шпионажа. Его люди работали в обсерваториях, ядерных центрах, на биостанциях. Они плавали на исследовательских судах океанографов и поднимались в стратосферу. Редкий институт обходил Дорон своим вниманием. Очень часто он вербовал агентуру в мире ученых. Это обеспечивало меньший процент погрешностей при обработке сведений. Сведения эти под разными грифами, в зависимости от степени их Срочности, Важности и Секретности, ложились каждое утро на стол Дорона. Сам он ввел десятибалльную систему для определения этих критериев: от единицы до десяти нарастали Срочность, Важность, Секретность; цифра в углу бланка сразу говорила ему все.

Итак, Дорон вставал всегда ровно в восемь часов утра. В десять секретарь Дитрих клал перед ним суточную сводку. В этот день все было как обычно. Генерал сел в кресло и раскрыл папку.

«Сроч.», «Важ.», «Секр.».

1.3.1 — Опыты кормления коров хлореллой.

1.1.4 — Доктор Сидзуки (радиоактивные изотопы) продолжает переписку с филателистом Кривопаловым А. В. из города Великие Луки.

4.8.2 — Фирма «Бицотти» проводит заключительные испытания пилюль, вызывающих стойкую бессонницу.

3.10.6 — Английское адмиралтейство дало заказ на покрытие для подводных лодок, искажающее ультразвуковое эхо.

9.7.9 — Инженер-изобретатель Коллинз вчера начал испытания подземного снаряда-крота.

2.1.3 — Получены полные чертежи нового военного австралийского геликоптера.

1.2.9 — Инженер-изобретатель Коллинз погиб во время испытаний подземного снаряда-крота.

3.3.3. — Новые каблуки для ботинок с ракетными двигателями одноразового действия, позволяющие прыгать в длину до 10 метров и в высоту до 4 метров.

10.10.10! Взгляд Дорона задержался. Три десятки. Такое бывает не часто. Нечто Сверхсрочное, Сверхважное и Сверхэкстренное.

10.10.10 — Исчез профессор Чвиз.

Среди десятка научных центров мира, особенно интересующих генерала Дорона, Институт перспективных проблем, в одной из лабораторий которого работал профессор Чвиз, занимал, пожалуй, первое место. И в то же время именно этот институт доставлял Дорону чуть ли не каждую неделю какие-нибудь неприятности.

Итак, новая таинственная история. «Черт возьми,— подумал Дорон,— то там появляется лишний про-

фессор, как это случилось с Миллером, то исчезает единственный Чвиз. За что, спрашивается, он платит деньги кретину, которому поручено не спускать глаз с гениев? Теперь этот кретин, ни капельки не смущаясь, присылает три десятки. Старик исчез. А машина? Что с ней? И надо же, чтобы это случилось буквально на следующий день после встречи с президентом! Именно сейчас, когда все на мази! О, эти физики! Сколько лет жизни заплачено за их капризы».

Рука Дорона уже уперлась в белую кнопку звонка. Натренированный Дитрих появился в кабинете с такой скоростью, что дверь для него можно было бы заменить шторками фотозатвора.

— Миллера, Кербера и Гарда срочно ко мне.

Этими короткими быстрыми словами Дорон уже взвел себя, как пружину, и сразу почувствовал, что взведен. Он отметил в себе это, казалось, уже позабытое, азартное состояние упругой силы и какой-то нестареющей, совсем юношеской легкости. Он, проповедник протокольной точности, ревнитель картотек, списков и досье, поклонник холодных и абстрактных цифр, шифров, он, издевающийся над детективными фильмами, презирающий всю эту невыразимо бездарную толпу сексуально распущенных полуковбоев, полушпионов, кривляющихся с дорогим оружием в руках на обложках пестрых книжек,— он все-таки любил, стыдясь признаться себе в этом, вот такой накал мужества, как у Шона Коннери[1], автомобильную погоню, темноту западни и сладкий запах, который можно почувствовать, потянув носом воздух из пистолетного ствола. Наверное, в нем еще жил тот мальчишка, который, насмотревшись гангстерских фильмов, решил учиться подкрадываться к Дику, датскому догу старика Дорона, так тихо, чтобы Дик не поворачивал свою добрейшую морду на его шаги...

4

Настоящий или двойник?

В это утро супруги Миллеры проснулись, как обычно, в тот момент, когда по радио началась передача, открывающаяся маршем из популярной комедии «Семеро засыпают в полдень». Пока Эдвард брился, Ирэн еще нежилась в постели.

В спальню вошла горничная.

— Кофе готов,— сказала она.— Только что звонили из секретариата генерала Дорона и попросили передать, чтобы хозяин приехал на совещание к одиннадцати часам.

— Накрывайте на стол, Агата,— ответила Ирэн и обратилась к мужу, вышедшему из ванной комнаты: — Дюк, звонили от Дорона...

— Я слышал, милая, спасибо.

После завтрака Эдвард позвонил Керберу:

— Отто? Предупредите профессора Чвиза, что я приеду сегодня позже, так как меня вызывают к Дорону. Вас тоже? Ну и прекрасно. Тогда позвоните ему прямо сейчас, а потом мне.

Через несколько минут Кербер был вновь у телефона.

— Чвиза нигде нет,— сказал он.— Я звонил и домой и в лабораторию. Вероятно, он тоже приглашен на совещание и уже находится где-то в пути.

Миллер повесил трубку и посмотрел на часы. Таратуре уже пора было подавать машину.

В эту минуту Таратура, сидящий за рулем черного «мерседеса» — любимой марки профессора Миллера,— был уже недалеко от дома своего шефа. На углу Дайнен-стрит, при повороте направо, ему пришлось резко затормозить, чтобы не стукнуть какого-то чудака, меланхолически переходящего улицу.

— Ой, ля-ля! — сказал Таратура, узнав журналиста Фреда Честера, с которым не виделся больше года, с тех самых пор, когда Честер написал за Таратуру его первую и единственную в жизни статью под названием «Я гоночный автомобиль».

Дело в том, что Таратура работал прежде инспектором полиции, и тем, кто забыл его имя, можно напомнить, что именно он блестяще расследовал убийство банкира Костена. Когда дело было закончено и убийца — им оказался зять миллионера — предстал перед судом, Таратура, в свою очередь, предстал перед многочисленными репортерами и газетчиками, и еще неизвестно, кому из них было легче: убийце или инспектору полиции. «Вечерний звон» предложил Таратуре выступить на его страницах с автобиографическими воспоминаниями, и вот тогда инспектор Гард познакомил Таратуру с Фредом Честером. Честер к тому времени уже был под каким-то предлогом уволен из газеты, сидел без работы и кое-как перебивался небольшими заработками.

Три вечера они провели в кафе «Золотой зуб», а затем появилась статья, принесшая Таратуре еще большую известность. «Я гоночный автомобиль,— написал Честер от имени инспектора,— и, пока с «бензином» дела обстоят благополучно, преступникам далеко не уйти». Лишь одного не мог понять Таратура: зачем Фреду понадобилось критиковать в этой статье президента, обвиняя его в попустительстве финансовой олигархии,— но Честер успокоил инспектора, сказав, что это обстоятельство ни в коем случае не повредит популярности Таратуры. «Наоборот! — сказал он и объяснил, что глава государства, как известно, читает только те газетные статьи, в которых поминается его имя, не очень-то волнуясь из-за критики.— Он будет знать тебя, старина, а это не так уж мало!»

Вскоре после того, как статья была опубликована, профессор Миллер и позвонил инспектору Гарду. Затем у Гарда с Таратурой состоялся разговор, из которого Таратура понял, что он может неплохо устроить свою жизнь, если плюнет на карьеру.

Миллер в то время еще жил на старой квартире. Таратура приехал к нему, совсем не зная, как отнестись к предложению профессора, но долго сопротивляться не стал.

— Мне нужен человек,— сказал Миллер,— который был бы моей тенью. Такой человек, как вы.

— Тень — бесплотное существо,— ответил Таратура,— а у меня есть тело.

Миллер улыбнулся и мягко произнес:

— Я буду платить вам девятьсот кларков.

Это было вдвое больше, чем получал Таратура в управлении, и только сумасшедший мог отказаться от такого предложения. Сумасшедшим Таратура не был.

— Позвольте, профессор, задать вам один вопрос.

— Прошу,— сказал Миллер.

— Ваше положение в науке привлекает внимание

---

[1] **Шон Коннери** — английский артист, исполнитель роли агента 007 — Джеймса Бонда — в кино.

агентуры других стран? Или вас волнуют иные соображения?

— Думаю,— ответил Миллер,— ваши обязанности от этого не изменятся.

И Таратура стал личным шофером, секретарем и телохранителем профессора Миллера. Он кое-что слышал о неприятностях, которые были у его нового шефа некоторое время назад, но когда спросил о них Гарда, тот посоветовал обратиться по этому поводу к Честеру, «если тебе,— сказал он Таратуре,— очень уж хочется знать то, что знать не нужно». Таратура был любознательным человеком, таково было свойство его прежней профессии, но разыскать Честера в ту пору ему не удалось, а со временем любопытство несколько увяло. Тем более, что его новая работа занимала очень много времени, хотя обязанностей теперь было несравненно меньше, чем в полиции: они свелись, по существу, к сидению за рулем «мерседеса», а на жизнь профессора, к счастью, еще никто не покушался.

И вот Честер, самим господом богом посланный Таратуре чуть ли не под колеса автомашины.

— Фред! — крикнул Таратура, прижав «мерседес» к тротуару.— Алло, старина! Куда ты смотришь?

Фред Честер, остановившись посреди улицы, смотрел на окна домов, на крыши, на толпу прохожих, но никак не на шикарный «мерседес», откуда кричал ему Таратура. Когда его взгляд все же упал на физиономию бывшего инспектора полиции, Честер покачал головой, как это делают люди, желая отбросить кошмарное видение.

— Таратура? — сказал он, подходя к машине.— Я знал, старина, что прежде ты раскрывал преступления. А теперь, наверное, сам кого-нибудь ограбил?

— Судьбу! — ответил Таратура, широко улыбаясь.— Но не завидуй, Фред, эта штука мне не принадлежит.

— Удивительное совпадение,— сказал Фред.— Я этот плащ тоже взял напрокат.

— Старина, я очень рад тебя видеть, но страшно тороплюсь, и если опоздаю хоть на минуту, мне придется занимать где-то голову. Тебе не по пути со мной?

— А куда ты едешь?

— Клингельн-парк, двенадцать.

— А, мне все равно,— сказал Честер, влезая на сиденье рядом с Таратурой.— Когда человека кормят ноги, можно дать им немного отдохнуть. Гони!

Они тронулись с места, и Таратура тут же спросил:

— Фред, я давно хотел с тобой поговорить. Что это за история с профессором Миллером, в которой, говорят, ты когда-то копался?

— Много будешь знать,— сказал Честер,— меньше заработаешь.

— Я не шучу, старина.

— А меня прямо-таки распирает от хохота.

— Секрет?

— Какой к черту секрет! Загадка.

Таратура сжал губы и искоса посмотрел на Честера.

— Не обижайся,— сказал ему Фред.— Я сам на себя обижен. До сих пор решаю этот ребус и никак не могу решить.

Машина остановилась в это время у дома Миллера.

— И все? — спросил Честер.— Кто тут живет?

— Мой шеф.

— Прилично платит?

— Как говорится, на хлеб с сосисками мне хватает.

— «Гоночный автомобиль» нашел себе пристанище в уютном гараже? Ну ладно, я пойду, а то еще твой шеф решит, что я пытаюсь переманить тебя.

Честер открыл дверцу машины, и в это время появился Миллер, который, быстро пройдя садик, окружавший особняк, торопился к «мерседесу».

— Профессор Миллер? — тихо сказал Фред, слегка поклонившись.

Миллер на мгновение задержал на лице бывшего журналиста взгляд, словно припоминая, откуда ему знакомо это лицо, и, тоже кивнув Честеру, сел в машину. Через мгновение Честер остался одиноко стоять на тротуаре, глядя в ту сторону, где скрылся «мерседес».

«Вот оно что! — подумал он.— Значит, Миллер переехал в этот особняк. И купил Таратуру... Что бы это могло значить?»

Подняв воротник, Фред зашагал по улице, обдумывая эти мало что говорящие данные и пытаясь сопоставить их с тем, что вот уже более полутора лет не давало ему покоя. Он все еще мучился вопросом: какой же Миллер остался в живых, настоящий или Двойник?

5

Четверо у сейфа, не считая Фукса

Дорон не тратил времени на приветствия.

— Гард, у меня к вам дело. Куда-то запропастился профессор Чвиз из Института перспективных проблем,— сказал генерал инспектору полиции, когда тот вместе с профессором Миллером и Кербером вошел в кабинет.— В его лаборатории обнаружена вот эта записка: «Я ухожу навсегда». Я не стал бы тревожить вас по пустякам, но этот старик действительно мне нужен. И желательно живой. Мои ребята тоже ищут его, но им надо помочь. К вам,— Дорон обернулся к ученым,— пока единственная просьба: попытаться установить, где находятся чертежи установки Чвиза и другие документы.

— Мне кажется, это нетрудно сделать,— сказал Миллер, поправляя очки,— все документы были в сейфе...

— Тем лучше,— перебил генерал и подумал: — «Мир, в котором профессора верят в незыблемость сейфов, воистину не оставлен еще господом богом».

— Не смею задерживать.— Дорон встал.

«Все-таки он деловой парень, этот генерал,— подумал инспектор Гард.— Но люди, которые подразумевают в собеседниках сообразительность, обычно плохо кончают».

— Вы не возражаете, профессор, если я поеду в институт вместе с вами? — спросил Миллера полицейский инспектор, когда они вместе с Кербером вышли из кабинета генерала Дорона.

— Пожалуйста. Как вам будет угодно.— Миллер был погружен в собственные мысли.

— Я бы хотел посмотреть на этот сейф с документами,— продолжал Гард, делая вид, что он не замечает выражения сосредоточенного раздумья на лице физика.— Если эти документы еще там...

— А если их нет? — быстро спросил Кербер.

— Ну, в этом случае мое присутствие становится просто необходимым,— спокойно сказал Гард, щурясь от яркого солнца, ослепившего их после мрачноватых коридоров «Комитета Дорона».— Вы на машинах?

— Нет, генерал присылал за мной свою,— сказал Кербер, а Миллер промолчал.

— Отлично, тогда поедем на моей.— Инспектор распахнул дверцу черного «гепарда-108», над крышей которого торчала антенна, длинная, как удочка.— Помимо неплохой резвости, у нее есть еще одно важное преимущество: мы можем не обращать внимание на знаки движения и полицейские трели.— Он вздохнул и добавил с грустной улыбкой: — Поверьте, это единственная радость в моей жизни.

Ехали молча. Инспектор за рулем, ученые — на заднем сиденье.

— Кстати, профессор,— прервал молчание Гард,— для меня было бы нелишним узнать, у кого, собственно, находились ключи от сейфа?

— У Чвиза,— ответил за Миллера Кербер.

— Да, они всегда были у Чвиза,— подтвердил Миллер.

— А дубликат?

— Дубликата не было,— ответил Кербер.

— Откуда вы знаете? — спросил инспектор.

— Мне помнится, что сейфом пользовался только профессор Чвиз.

— Да, других ключей не было,— подтвердил Миллер.

— Вам не кажется, что запертый сейф без ключей — достаточно унылое зрелище? — спросил Гард, включая рацию на приборной панели автомобиля.

Миллер и Кербер не улыбнулись. Гард поправил рукоятку громкости и сказал:

— Я шестьдесят седьмой, вызываю дежурного.

— Дежурный О'Лири слушает,— хрипловато отозвался динамик.

— Здравствуйте, О'Лири, как дела? Много работы?

— Здравствуйте, инспектор. Пока все нормально. В лесу, в восьми милях по Хамберлендскому шоссе, обнаружен мужской труп без следов насилия. Пока не опознан. Больше ничего интересного. Прием.

— Молодой или старый?

— Старый. Борода. Прием.

Миллер встрепенулся и теперь внимательно слушал радиодиалог. Кербер тоже подался вперед, стараясь не пропустить ни одного слова.

— Хорошо, я потом посмотрю его. Вещей или бумаг не было?

— Корзинка с грибами и фляжка с водой. Прием.

— Хорошо. У меня к вам два дела. Пошлите Ройта и еще кого-нибудь, кто поглазастее, на квартиру профессора Чвиза. Пусть просто посмотрят, как там у него, но поаккуратнее. В общем, они знают, как это делается. И второе: подошлите Фукса с его готовальней в Институт перспективных проблем. Там для него есть работа. У меня все.

— Слушаюсь, инспектор. Фукс будет через полчаса...

Гард повернул ручку, раздался мягкий щелчок, рация умолкла.

— Надо сейчас же осмотреть труп,— сказал Кербер.— Я вспомнил, Чвиз говорил как-то, что любит собирать грибы.

— А он не говорил, что этим занятием, кроме него, увлекается еще миллионов десять человек? — спросил Гард.

— Но приметы...— Миллер тронул инспектора за плечо.— Согласитесь, что это может быть...

— Может быть! — перебил Гард.— А может и не быть. Не обижайтесь, дорогой профессор, двадцать лет назад, когда я начинал, я бы, не дожидаясь ваших советов, сломя голову бросился опознавать труп этого бедняги. Но теперь я стал старым и умным. Теперь я знаю, что труп — это верняк, он уже никуда от меня не денется. Это «самые спокойные клиенты в нашем беспокойном мире», как говаривает Бирк, хозяин похоронной фирмы «Спи спокойно, друг!». А вот сейф — дело другое. Поверьте мне, дорогой профессор, я знавал случаи, когда сейфы бегали не то что резвее покойников, а побыстрее самого олимпийского чемпиона, как там его... забыл... склероз.

Но тревоги инспектора оказались неоправданными: сейф был на месте. Да и мудрено было похитить его. Стальной куб был вмурован в стену лаборатории так искусно, что среди развешанных на стене химических диаграмм не сразу можно было заметить узкий глазок замочной скважины.

— Вот здесь,— сказал, подходя, Миллер.

— Да-а-а,— задумчиво протянул Гард,— аккуратная вещица. Впрочем, если внутри нет никакой нестандартной штуки, Фукс с ним справится.

— Кто это? — спросил Кербер.

— «Человек-ключ», как писали о нем в газетах,— усмехнулся инспектор.— Старик из Одессы, в прошлом — взломщик сейфов экстра-класса. Из Одессы он уехал еще в двадцатом году. Знаменит ограблением королевского банка в Копенгагене. В Париже его поймали, отсидел лет пять. Потом он некоторое время резвился в Бразилии и Аргентине, опять попался и решил, что тюрьма чудесно обойдется без него. Сейчас он выручает ротозеев, которые теряют ключи, и иногда помогает нам. Но не будем терять времени. Я хотел бы узнать у вас некоторые детали.

— Какие детали? — быстро спросил Кербер.

— Прежде всего надо установить последовательность событий. Итак, когда вы видели в последний раз профессора Чвиза?

— В пятницу, около пяти часов вечера, я заходил в лабораторию и видел Чвиза,— сказал Кербер.— Он, как обычно, сидел около установки, вон там.

— Один?

— Нет, здесь была Луиза, его лаборантка.

— Вы говорили с ним?

— Говорил.

— О чем?

— Даже не помню. Какой-то пустяковый, ничего не значащий разговор.

— А вы, профессор? — Гард обернулся к Миллеру.

— Последний раз я видел его тоже в пятницу, примерно в то же время.

— Вы были вечером в институте?

— Да. Я приехал где-то около шести часов. Чвиз зашел ко мне, мы немного поговорили.

— Что было дальше?

— Потом он сказал, что окончил опыт и собирается уходить.

— Какое он произвел на вас впечатление? Вы не заметили в его поведении чего-нибудь необычного?

— Он всегда был чудаковатым человеком. Все необычное в нем трудно перечислить.

— Ну, например?

— Например, он мог бы сейчас разговаривать с вами и одновременно разучивать гимн Эфиопии.

— Скажите, профессор, а чем он, собственно, занимался в этой лаборатории? Вы понимаете, я спрашиваю не из праздного любопытства.

Миллер помолчал.

— Как вам объяснить,— начал он.— Это очень сложная проблема. Чвиз разработал теорию матричной стереорегуляции. Вы, и я, и он,— Миллер оглянулся на Кербера,— все мы состоим из клеток, клетки — из молекул и так далее. Если говорить популярно, популярно до вульгаризации, Чвиз научился разлагать организм на молекулярном уровне в поле гиперрегулятора...

— Вон в той штуке? — перебил его инспектор, кивнув в сторону установки.

— Совершенно верно. Только не непосредственно в той штуке, а в поле этой штуки создается молекулярная матричная копия, двойник организма. Энергия огромна. Секунда работы установки стоит...

Но Гард уже не слушал профессора. Он отошел в глубину лаборатории, к установке, разглядывая это огромное, причудливое сооружение. Медные шины, какие-то белые решетки на толстых блестящих изоляторах, тусклые металлические зеркала. Гард сразу заметил, что одна из двух больших прозрачных полусфер под этими зеркалами расколота.

— Простите, если я не ошибаюсь, установка повреждена?

— Да, к сожалению,— сказал Миллер.

— Это серьезная поломка? — спросил Гард.

— Как вам сказать? Сферу сделать не так уж трудно, но фокусировка займет несколько недель. И не всегда это получается с первого раза.

Взгляд Гарда задержался на циферблате часов, наверное, единственно знакомом и привычном предмете в этом непостижимо дремучем лесу техники.

— А зачем тут часы? — спросил инспектор.

— Часы показывают время работы установки. А на счетчике срок работы в миллисекундах,— ответил Миллер.

Гард подошел к ученым.

— Итак, вы, профессор, не были вечером в пятницу здесь, в лаборатории?

— Нет, я был у себя в кабинете.

— А вы,— Гард обернулся к Керберу,— были?

— Да, минут десять.

— Между пятью и шестью часами. Так?

— Что-то около этого,— ответил Кербер.

— В это же время он заходил к вам, профессор. Так?

— Примерно.

— Что же произошло раньше? Ваш визит в лабораторию или...— Гард обернулся к Миллеру.

— Право, не знаю,— сказал Миллер.— Да и какое это имеет значение?

— Думаю, что профессор видел Чвиза позже меня,— сказал Кербер.— Когда я пришел в лабораторию, он еще работал, а профессору он сказал, что кончил опыт и уходит.

— Разумно. Но вы говорили, что Чвиз работал с лаборанткой. Наверное, она сможет уточнить это. Она здесь?

— Думаю, что здесь. Я позову ее,— сказал Кербер.

— Не торопитесь,— остановил его Гард.— Я попрошу всех подойти к установке. Итак, если, как вы говорите, опыт был окончен до шести часов, каким образом эти часы показывают 18.15?

— Что? Этого не может быть!

Гард обернулся и увидел бледное лицо Кербера.

— Поразительно,— сказал Миллер.

— Простите, профессор,— Гард повернулся к Миллеру,— насколько мне удалось вас понять, старик разбивал организм вдребезги, делал копии с каждого осколка и вновь склеивал теперь уже точных двойников. Так?

Миллер улыбнулся.

— Хорошо, что вас не слышит Чвиз, он бы показал вам «вдребезги». Впрочем, в принципе вы правы.

— А если так, может ли эта штука,— инспектор показал на гиперрегулятор,— разбить, но не склеить?

— Что?

— Разбить, может быть, даже снять копию с осколков, но не склеить эти осколки? Ни первый, ни второй экземпляр? Так быть может?

— Нет. Программа работы регулятора заложена в него...

— Но ее можно вынуть и заменить?

— Нет, ее нельзя вынуть. Как таковой ее не существует, вы не поняли. Программа заложена в природе самой установки. Ну, как бы это сказать... Нельзя заставить автомобиль ехать только на задних колесах.

— Какое-то время можно.

— Весь процесс длится в течение тысячных долей секунды.

— Отлично! И если в это время, когда он уже наполовину прошел, отключить к дьяволу все эти провода? Что тогда?

— Сброс поля?

— Назовем это так. Значит, эта штука может разрушить и не создать?

— Но схемы задублированы...— рассеянно сказал Миллер.

— Это уже детали, дорогой профессор.

— Вы хотите сказать, что Чвиз...

— Я ничего не хочу сказать. Но прежде, чем двигаться вперед, я хочу видеть перед собой все дороги. Этот случай — побег, похищение или, наконец, впервые в моей практике, превращение в ничто, в святой дух? Или остается какой-нибудь пепел?

— Какой пепел? Ну что вы! Полная сублимация,— спокойно сказал Миллер.

— А это что за штука?

— Сублимация? Переход из твердого состояния в газообразное, минуя жидкое.

— Да, из этой штуки получился бы отличный крематорий,— усмехнулся Гард.— Если надумаете, возьмите меня в пайщики.— Он подошел к телефону, не спеша набрал номер: — Алло! О'Лири? Это опять я. Нет, еще не приехал. А что слышно с тем грибником? Так. Ну, спасибо.— Гард повесил трубку.

— Это он? — спросил Миллер, заметно волнуясь. Гард внимательно посмотрел на профессора.

— Нет. Это кузнец из соседней деревушки. Инсульт. Видно, нагнулся не за своим грибом.

— Разрешите войти? — раздался сзади тихий голос.

Все обернулись и увидели маленького старичка с небольшим чемоданчиком, похожим на этюдник.

— Входите, Фукс! — весело сказал Гард.— Тут для вас я припас одну хитрую коробочку.

Он показал Фуксу замочную скважину сейфа. Фукс открыл чемоданчик, достал отмычки и, ласково перебирая их в руках, покосился на скважину.

«Возможно, что в исчезновении Чвиза повинен только сам Чвиз,— размышлял Гард, наблюдая за работой Фукса.— Конечно, это возможно. Обыкновенное самоубийство или эта... как ее? Переход в газообразное состояние. Но тогда документы должны быть на месте. Если бы Чвиз захотел унести с собой в могилу секрет всей этой штуки, он уничтожил бы не только чертежи, но прежде всего саму установку...»

Что-то мягко и тихо щелкнуло под руками Фукса.

— Покорно прошу отойти в сторонку,— ласково попросил Фукс.— Вы не представляете, какие нервные люди строят эти сейфы. Ты их открываешь, а они поливают тебя из огнемета. Просто кошмар, а не работа.

Гард, Миллер и Кербер неторопливо отошли. Старик бесшумно распахнул дверцу. В черном чреве сейфа не белело ни одной бумажки.

— И вот вам награда за мои труды,— грустно улыбнулся Фукс.

— Отлично,— сказал Гард.— Вот теперь я попросил бы вас,— он посмотрел на Кербера,— пригласить эту... как ее зовут, ну, лаборантку.

— Луизу?

— Да.

Кербер вышел.

Минут через пять он вернулся с Луизой.

— Извините за беспокойство,— никто не ожидал от Гарда такого изысканно благородного полупоклона,— я хотел бы задать вам вопрос: вы первой обнаружили записку, оставленную профессором Чвизом?

— Да, я.

— И это вы передали ее в секретный отдел института?

— Да, я.

— Когда вы в последний раз видели Чвиза?

— Это было в пятницу, часов в пять. Потом профессор отпустил меня...

— В это время он не выходил из лаборатории?

— Не помню... Как будто нет... Нет, не выходил.

— Вы работали на установке?

— Да.

— В какое время вы включали установку?

— Я же говорила: около пяти часов.

— Не позднее?

— Нет, ведь я ушла, когда еще не было шести.

— И когда вы вернулись?

— Что?

— Когда вы снова пришли в лабораторию и увидели записку?

— Утром, в понедельник...

6

Тридцать роковых минут

— В понедельник...— задумчиво повторил Гард, не испытывая удовольствия ни от вопроса, который он задал, ни от полученного ответа, поскольку вообще терпеть не мог так называемых «дежурных» слов, не продвигающих следствие хотя бы на дюйм вперед. Но, повинуясь своей старой привычке, он вскинул голову и строго посмотрел на Луизу:— Итак, вы говорите, в понедельник? В котором же часу?— В то же мгновение он с тоской подумал, что любая фраза, которую он произнесет, окажется сотканной из сложных словесных кружев, и, начав ее, он сам не будет знать, как ее закончить. Так всегда бывало, когда Гард допрашивал женщин, знатоком которых он никогда не был.— Прошу прощения,— сказал он, мучительно краснея.— В котором же часу, позвольте вас спросить, если мой вопрос не покажется вам неуместным, хотя я... («Черт возьми,— подумал Гард,— здесь можно было бы поставить точку!»)... хотя я уверен, что в понедельник вы явились на работу вовремя, ибо всю ночь провели... («Боже, о чем я говорю?!»)... в спокойном сне и ничто не помешало вам соблюсти расписание вашей работы? («Фу, слава богу, кажется выкрутился!»)

— В девять тридцать утра,— очень коротко ответила Луиза и с нескрываемым любопытством посмотрела на Гарда. Он был одет в темно-серый костюм свободного английского покроя, какой обычно носят клерки из отдела мелких ссуд, причем одна пуговица на левом рукаве пиджака могла вот-вот оторваться. Это обстоятельство не ускользнуло от внимательного взгляда Луизы и позволило ей вслух, причем в довольно милых выражениях, сказать Гарду о том, что, если бы она была его женой, он никогда не терял бы пуговиц, не говоря уже о том, что не носил бы полосатые галстуки Айви лиг, которые Луиза считала «консервативными».

Гард в некотором замешательстве выслушал эту тираду, и ему понадобилось усилие, чтобы выжать из себя слова, более свойственные инспектору полиции, нежели джентльмену, ведущему светскую беседу.

— Я вынужден прервать вас,— сказал Гард,— поскольку меня больше интересует, какое впечатление произвел на вас профессор Чвиз, когда вы его видели в последний раз...

Луиза мгновенно прикусила язык и, подняв глаза кверху, припомнила свой последний разговор с Чвизом.

— Профессор показался мне несколько странным,— сказала она,— так как прежде он никогда не интересовался ни моим прошлым, ни будущим, а тут вдруг задал мне нелепый вопрос, замужем ли я. Кроме того, он задержал меня в лаборатории после работы, а это у нас не принято, хотя отлично знал, что я тороплюсь, и разрешил мне уйти лишь в половине шестого, а если говорить точнее, то в 17.25 вечера.

— У вас прекрасная память,— сказал Гард.

— В тот день я следила за часами, так как имела кое-какие планы на вечер.

— А вы действительно замужем?— неожиданно для самого себя спросил Гард и тут же подумал, что если бы его бывший учитель и шеф, ныне покойный Альфред Даф Купер, узнал о таком вопросе, то наверняка сказал бы: «Стареешь, Гард, стареешь».

Луиза быстро оглянулась на Миллера и Кербера.

— Простите, инспектор,— сказала она, чуть-чуть помедлив,— но, может быть, вы позволите мне пришить вам пуговицу?

При этих словах оба ученых, как по команде, посмотрели на пуговицу Гарда, как будто от нее зависел дальнейший ход следствия. Вероятно, они прислушивались к разговору, и Гард решил пощадить Луизу. Чутьем опытного сыщика он понял, что невзначай приподнял покрывало с какой-то скорее всего маленькой и личной тайны Луизы, которую он из чисто профессиональных соображений обязан был теперь открыть для себя — да простит его Альфред Даф Купер!— хотя пятью минутами раньше у него и в мыслях не было затягивать так долго допрос лаборантки.

И Гард, улыбнувшись Луизе своей знаменитой «гардовской» улыбкой, на которую, кроме него, больше никто не был способен во всем полицейском управлении, галантным жестом предложил ей пройти в соседнюю с лабораторией комнату.

В этой комнате обычно переодевался Чвиз, мыл руки и готовился к опыту. Там стояло всего одно кресло, высокое и старомодное, как трон, и Гард предложил его Луизе. Сам он присел на край низкого журнального столика, удивительно нелепого в сочетании с этим древним креслом, и его глаза оказались почти на уровне рук Луизы, положенных на колени. Руки чуть-чуть дрожали, но Луиза сохраняла на лице спокойное выражение и, как заметил Гард, даже успела мельком взглянуть на себя в круглое зеркало, прикрепленное над умывальником. В комнату заглянул кто-то из помощников Гарда, но инспектор попросил оставить его на время в покое.

— Итак, я вас слушаю.

— Что?— спросила Луиза.

— Кто ваш муж?



Гард умел быть настойчивым, он знал за собой это качество и хотел, чтобы Луиза это поняла. Она еле заметным движением руки, на которое способны только женщины, что-то поправила в своей прическе.

— Питер,— произнесла она кротко и таким тоном, как будто Гард не позднее, как вчера вечером, ужинал вместе с этим Питером в «Лармене», а сегодня с утра уже успел сыграть с ним партию в гольф.

— Кто он и где сейчас?

— У вас есть сигарета?— сказала Луиза.

— Прошу.

Гард открыл портсигар. Луиза закурила, выпустила несколько колечек дыма и, казалось, даже не собиралась продолжать разговор.

— Вы злоупотребляете моим временем. Кто такой Питер и где он сейчас?— спросил Гард.

Луиза кокетливо подняла бровь.

— Я обязана отвечать?

— Нет. Мы можем выяснить это и без вашего участия. Но я попрошу вас хотя бы объяснить причины, по которым вы не желаете мне ответить.

— Мы расстались с Питером три года назад,— сказала Луиза, и на глазах у нее выступили слезы.— Прошу вас, не думайте ничего дурного... Но я не хочу, чтобы он оказался втянутым в эту историю. Я скрываю от Питера, что служу лаборанткой и... что вообще служу.

Открылась дверь, и вновь вошел кто-то из помощников Гарда.

— Простите, шеф, чрезвычайное сообщение.

— Вы мне еще понадобитесь,— сказал Гард, хотя почувствовал, что интерес к тайне Луизы у него пропал.

Первое, что он увидел, вернувшись в лабораторию, было растерянное выражение лица профессора Миллера. Кербер стоял к Миллеру в полуоборот и с таким видом, который ясно давал понять, что сожалеет о случившемся, но поделать ничего не может. У Гарда не оставалось сомнения в том, что чрезвычайное сообщение исходит именно от Кербера, а потому он сразу подошел к нему.

— Я вас слушаю.

— Повторить?

— Пожалуйста.

— Видите ли,— сказал Кербер,— с того момента, как я увидел стрелки контрольного циферблата, я подумал, что тут какое-то недоразумение.

— Продолжайте.

— Стрелки показывают, что опыт Чвиза кончился в 18 часов 15 минут. Между тем лично я отдал распоряжение обесточить весь институт получасом раньше.

— В пятницу?

— Совершенно верно, в пятницу. На шесть часов вечера был назначен ремонт пульта центрального сектора. Профессор Чвиз, вероятно, не знал об этом или просто забыл, или... я вообще ничего не понимаю.

— Ваше указание было выполнено?

— Не помню случая, чтобы мои указания не выполнялись.

— Кем?

— В ту пятницу, вероятно, Пэнтоном.

— Он здесь, шеф,— сказал помощник Гарда.— Мы успели его вызвать.

Вошел Пэнтон, добродушного вида человек в синем комбинезоне.

— Меня звали? А что это здесь стряслось?

— Вы электрик?— спросил Гард.

— Ну и что?— ответил Пэнтон.

— В минувшую пятницу вечером вы обесточили институт?

— А я-то при чем? Мне сказали, и я выключил рубильник.

— В котором часу?

— Как сказали, так и выключили: в 17.45. На секунду промедлишь — будет несчастье, я это понимаю. Может, что-нибудь и стряслось? А? Но, клянусь вам, я выключил ровно в срок и еще сказал Ивенсу: «Слушай, дружище...»

— Благодарю вас,— прервал Гард.— Вы свободны.

Кто-то из помощников осторожно взял за локоть Пэнтона и вывел из комнаты.

Гард мгновенно оценил обстановку. Если все так, как утверждают Кербер и Пэнтон, профессор Чвиз не мог в 6 часов вечера разговаривать с Миллером. Его опыт должен был закончиться не позднее 17.45, и не позднее этого времени он должен был превратиться в газообразное состояние, если он действительно «сублимировался». На этих же цифрах обязаны были замереть стрелки контрольных часов. Но они не замерли, они проделали еще путь, измеряемый тридцатью минутами. Сами? Нет, не могли. Выходит, кто-то и зачем-то эти стрелки передвинул.

В ближайший час в лаборатории стояла тишина, никто не произнес ни единого слова, если не считать коротких междометий, которыми обменивались срочно

но вызванные специалисты по снятию отпечатков пальцев. Кербер, серьезный и задумчивый, медленно прохаживался из угла в угол, стараясь не смотреть в сторону Миллера, поскольку он понимал, что его открытие бросает тень главным образом на профессора. Миллер сидел в кресле, внимательно наблюдая за действиями специалистов, но Гард видел, что он уже взял себя в руки и, кажется, принял какое-то решение, зависящее от того, чем кончится исследование злополучных стрелок. Гард курил, стараясь ни о чем не думать, поскольку строить предположения сейчас было преждевременно, а он умел мыслить только конкретно. Иногда он бросал короткие взгляды на Луизу, которая давно уже вернулась в лабораторию и теперь сидела на своем законном месте у пульта, где обычно она находилась, когда Чвиз проводил опыты. Видимо, ничего не понимая в происшедшем, Луиза и не делала попыток что-либо понять и вся ушла в чтение какой-то книжонки, достав ее из ящика стола.

Когда один из помощников Гарда вернулся из секретного архива, неся с собой две формулы — одну с только что снятых отпечатков и вторую, взятую из архива, с которой первая формула совпадала,— в комнате произошло легкое движение, какое обычно происходит в театральном зале при открытии занавеса, хотя никто из присутствующих не трогается с места.

— Чвиз,— одним дыханием сказал помощник, наклоняясь к Гарду. Он сказал это тихо, но достаточно четко, так, что по его губам все сумели угадать слово, им произнесенное.

Луиза уткнулась в книгу недвигающимися зрачками, Кербер нервно тер лысину, а Миллер, тяжело и громко вздохнув, закуривал, но никак не мог прикурить.

Гард на секунду закрыл глаза и, когда открыл их, уже знал, что будет делать дальше.

— Господа,— сказал он,— я не смею вас больше задерживать. Спасибо за помощь.

Лаборатория быстро пустела, и только Миллер продолжал сидеть в своем кресле. Гард благодарно посмотрел в его сторону, поскольку профессор сам избавил инспектора от неприятной обязанности задержать его.

— Прошу ко мне в кабинет,— сказал Миллер, когда, кроме помощников Гарда и людей Дорона, никого не осталось.— Я хотел бы поговорить с вами наедине.

7

Голос с того света

— Получается так,— сказал Миллер,— что если Чвиз покончил с собой, это должно было случиться не позже 17.45?

— Да, профессор,— сказал Гард.

— Кроме того, получается, что я ухитрился разговаривать с ним после его сублимации?

— Вы правы, профессор.

— Значит, я что-то путаю или попросту лгу, когда утверждаю, что беседовал с Чвизом в районе шести часов вечера?

— Не исключено, профессор.

— И вы склонны подозревать меня в причастности к его исчезновению, хотя вам известно, что стрелку он передвинул сам?

— Не буду этого скрывать, профессор.

— Отлично. В таком случае я тоже буду с вами откровенен.

— Это скорее в ваших, а не в моих интересах.

— Я понимаю.

Миллер умолк и сделал несколько шагов по своему огромному и мрачному кабинету. Он явно что-то обдумывал и, кажется, даже забыл на время о Гарде. Гард терпеливо ждал, наблюдая за Миллером и чувствуя себя той кошкой, которая позволяет мышонку еще немного поиграть, прежде чем им поужинать. Но вот Миллер решительно подошел к высокому секретеру, нажал кнопку, и Гарду открылся крохотный магнитофон. Повернувшись всем телом к инспектору, Миллер произнес:

— Гард, профессор Чвиз действительно был в этом кабинете, он сидел в том самом кресле, в котором сидите сейчас вы, и это случилось в районе шести часов вечера. Мы говорили с ним не более пятнадцати минут. Я записал наш разговор на пленку, я хочу, чтобы вы сейчас его прослушали. Вы готовы?

— Да, профессор.

Неприятный холодок пробежал по спине Гарда, предвещая ему наступление того знакомого, одновременно жуткого и желанного состояния, которое он, уже не как кошка, а как хорошая гончая, неизменно испытывал, нападая на точный след, чуя его, готовясь к погоне или острой схватке. Для того, чтобы Миллер не заметил его волнения, Гард быстро положил сигарету в пепельницу и обеими руками крепко сжал подлокотники кресла.

Миллер и сам волновался не меньше. Он даже снял свои массивные очки, чтобы протереть стекла, как будто ему предстояло сейчас что-то увидеть, а не услышать.

— Хочу вас предупредить,— сказал Миллер прежде, чем пустить магнитофон.— Я встретил Чвиза в коридоре, столкнувшись с ним у дверей своего кабинета. Начала разговора здесь нет, но там, в коридоре, было сказано лишь несколько слов — я, право, не помню, каких именно.

Бесшумно двинулась кассета, даже шипением не нарушая мертвой тишины, и Гард услышал голос Чвиза, прозвучавший так близко и так реально, что лишь усилием воли он заставил себя не оглянуться.

«— ...ровно на пять минут, я очень тороплюсь. Откровенно говоря, никак не ожидал вас сейчас увидеть. Спасибо, я сяду. Вы были у Роуса?

— Нет, в Бред-Харре.

— Коньяк? А где ваш знаменитый стерфорд?»

Наступила пауза, во время которой Гард услышал, как булькает жидкость и как горлышко бутылки мелко и дробно стучит о край рюмки. «Чвиз никогда не пил,— успел сказать Гарду Миллер прежде, чем пауза кончилась.— Во всяком случае, такие крепкие напитки. Я сразу понял, что ему не по себе».

«— Что случилось, профессор?— услышал Гард спокойный голос Миллера.— Уж не влюбились ли вы?

— Мне не до шуток, Эдвард. Звонил Дорон.

— Сегодня?

— Он был у президента.

— Не хватит ли вам одной рюмки, профессор?

— Пожалуй, вы правы, Миллер. Дорон сказал, что нам дали деньги и дали срок. Я не уверен, что вы меня правильно поймете и что вообще кто-нибудь способен меня понять, но мне стало страшно...»

В этот момент послышался звук опрокинутой рюмки и резко отодвигаемого кресла. «Ему стало плохо»,— сказал Миллер Гарду.

«— Нет, нет, не волнуйтесь,— услышал Гард голос Чвиза.— Я, вероятно, просто пьян.

— Присядьте, профессор, у вас и так неважное сердце. Стоит ли нервничать раньше времени?

— Ах, мне бы ваши годы, Миллер!.. Скажите мне, как своему коллеге и соавтору: вы думали когда-нибудь о том, что нам с вами придется отвечать перед историей?

— С меня вполне достаточно отчитываться перед Ирэн, которая даже сегодня спросит, где я так поздно задержался.

— Вы это серьезно, Эдвард? Я никогда не мог угадать, где вы говорите серьезно, а где шутите... Но вы думали о том, что наши потомки не простят нам, если установка будет создана? Вы это понимаете? Или вы думаете, что Дорон будет дублировать вместо солдат коров? Но что Дорону, который ответствен лишь до тех пор, пока он физически существует? А мы живем и после нашей смерти...

— Вы что-то рано о ней заговорили, профессор.

— Ну ладно, хорошо, поймите меня правильно. Я знаю, что у меня просто не хватит сил бороться с Дороном, если в такой борьбе вообще есть смысл. Но, честно говоря, я до сих пор не понимаю вас. Что вы хотите? Что вы намерены делать? Вы стали осторожны...

— Коллега, вам нельзя много пить.

— Ну вот, так я и знал, вы совершенно не приемлете разговоров на эту тему. А мне чрезвычайно важно знать, Миллер! Чтобы решить, что мне делать. Ну, что мне делать?

— Я отвезу вас сейчас домой, а утром...

— Поздно. Конечно, я чудак, с вашей точки зрения, но вы знаете: я упрям в своем чудачестве. В конце концов одной ногой я уже в могиле, и вот я стою перед вами, а на самом деле...

— Профессор, я никогда не думал, что одна рюмка...

— Как мне хочется все бросить и уйти, исчезнуть, раствориться, плюнуть на Дорона, на эту страшную установку, даже на вас, простите мне, ради бога, такие слова!

— А потом?

— Потом? Какое мне дело, что станет потом? Когда вам, Миллер, будет столько лет, сколько мне сейчас, вы тоже серьезно задумаетесь над тем, с какой совестью лучше отправляться на тот свет. Ладно, мне пора, я и так уже заговорился».

Часы в кабинете Миллера четко пробили шесть раз. Гард поднял глаза и убедился, что звук идет с пленки магнитофона, так как реальным часам еще предстояло минут пятнадцать повременить до боя.

«— Прощайте, коллега»,— сказал Чвиз откуда-то издали, вероятно, от двери.

И пленка кончилась. Несколько минут они сидели молча, и наконец Гард нарушил тишину:

— Пожалуйста, профессор, включите с того момента, где Чвиз говорит о могиле, в которой он стоит одной ногой.

Кассеты завертелись в обратную сторону, и Гарда даже передернуло, когда он услышал голос Чвиза, перешедший в визг и действительно ставший потусторонним. Но вот наконец:

«—...одной ногой я уже в могиле, и вот я стою перед вами, а на самом деле...

— Профессор, я никогда не думал, что одна рюмка...»

— Спасибо,— сказал Гард.— Только вы зря, Миллер, перебили его мысль.

Миллер ничего не ответил, и в комнате опять наступила тишина.

— Позвольте вам задать один вопрос, профессор,— тихо произнес Гард, глядя на Миллера в упор.— Почему вам пришла в голову мысль записать этот разговор с Чвизом?

Миллер сел в кресло напротив и, тоже глядя в упор на Гарда, спокойно сказал:

— С некоторых пор, Гард — а что я имею в виду, вы прекрасно понимаете,— я стал принимать некоторые меры по самозащите. Но разве сам факт записи вызывает у вас какие-то подозрения?

Гард пожал плечами.

— Не знаю, быть может, в ваших сомнениях и есть резон,— продолжал Миллер,— но я привык теперь записывать все разговоры, которые ведутся со мной, по крайней мере в этом кабинете. Надеюсь, вы не обидетесь, если узнаете, что и эта наша беседа...

Миллер перевел рычаг магнитофона, и Гард услышал собственный голос:

«—...задать один вопрос, профессор. Почему вам пришла в голову мысль записать этот разговор с Чвизом?

— С некоторых пор, Гард — а что я имею в виду, вы прекрасно понимаете,— я стал принимать некоторые меры по самозащите. Но разве сам факт...»

Миллер резким движением выключил магнитофон. Гард вновь пожал плечами.

— И все же, профессор, я не могу сказать, что полностью удовлетворен. Во всяком случае, если даже к исчезновению Чвиза вы действительно не имеете отношения, то папка с документами...

— Мне трудно убеждать вас, Гард,— прервал Миллер нетерпеливо,— но неужели вы до сих пор не понимаете, что документы мне не нужны, так как все данные по установке находятся вот здесь.— И он тронул рукой свою голову.— Больше того, Чвизу эта папка тоже не нужна. Какой ему в ней толк, если он знает, что я все знаю?

— Значит, чужой?

— Я вас не понял.

— Вы полагаете, что документы выкрал чужой человек и он же повредил установку?

— Трудно сказать, инспектор. Смотря кого считать «чужим». Того, кто связан с институтом или не связан? Я хочу, чтобы вы поняли одно: мне документы не нужны!

— А Чвиз вам нужен?

Миллер хотел было что-то ответить, но неожиданно скис и опустился в кресло. Гард почувствовал, что профессор словно бы потерял опору под ногами. По всей вероятности, Миллер возлагал слишком большие надежды на демонстрацию магнитофонной пленки и, когда убедился, что она не произвела на Гарда должного впечатления, откровенно сник.

— Ну что ж,— сказал Гард, поднимаясь с кресла,— в конце концов у меня теперь есть материал для раздумий. И на том спасибо.— Остановившись в дверях, он добавил: — Если ваш магнитофон, Миллер, включен до сих пор, я хочу, чтобы после моего ухода вы еще раз внимательно прослушали слова, которые я сейчас произнесу: уважаемый профессор, мне трудно пока решить, помогли вы мне, продемонстрировав пленку, или только меня запутали. До новых встреч!

Когда Гард удалился, Миллер подошел к своему столу и решительно нажал кнопку. За спиной профессора бесшумно распахнулись узкие дверцы, и в комнате появился Таратура.

— Таратура,— сказал Миллер твердым голосом,— есть важное дело...

(Окончание следует.)

КИНО

Иржи Плахетка

СИБИРЬЮ ПЛЕНЁННЫЕ...

(Письмо из Праги)



Я родился и вырос в Моравии — значит, я настоящий чех. Но в моей пражской квартире на скрещении двух шумных улиц мне часто снится, что я сибиряк. Нет ничего на свете скучнее, чем чужие сны, поэтому я не стану их здесь пересказывать. Скажу только, что, когда мне снится Сибирь, я просыпаюсь с улыбкой...

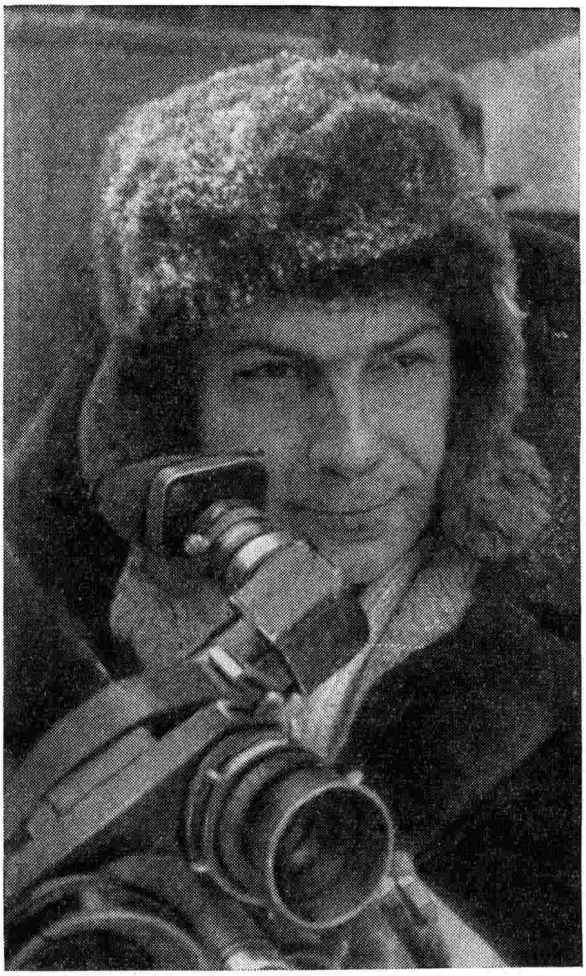
Мне повезло — я много раз бывал в Сибири. И, влюбившись однажды в эту страну, я старался прочесть все, что про нее написано, увидеть все, что было здесь в разное время снято на пленку.

Я просмотрел множество документальных фильмов про Сибирь. Некоторые из них доставили мне радость узнавания, и потому я помню их и сейчас. Но так случилось, что мне не довелось увидеть ни одного фильма, который бы поднялся — если можно так выразиться — до уровня сюжета, был достоин его. Ни в одной ленте не было ни своего отношения к теме, ни умения увидеть, ни даже попытки что-то вспомнить, сравнить, обобщить...

Я всегда покидал просмотровый зал с чувством обиды. Мне было обидно за Сибирь. И непонятно: как можно говорить про Сибирь пресно, скучно, сухим языком газетной информации? Как можно, однажды побывав в Сибири, не «заболеть» ею, не очароваться, не пленриться ею...

Я был в Сибири. Я въезжал на новые улицы новых ультра-

Вверху: кадр из фильма.



← Иван Галин.

современных городов на новеньком, сверкающем никелем троллейбусе — прямо из тайги. На конечной его остановке я видел медвежью берлогу, вероятно, не так давно покинутую...

Стараясь придать своему лицу по возможности сосредоточенное и понимающее выражение, я осматривал вычислительный центр Академии наук и слушал — увы! — малодоступный мне доклад сопровождающего нас научного сотрудника. («Я постараюсь объяснить вам все это популярно»,— говорил он со снисходительной улыбкой. «Не утруждайте себя особенно, мы все же не ученики средней школы»,— надменно отвечал мой самонадеянный спутник. По-моему, он не знал даже, отчего бывают четыре времени года.) А я смотрел на эти удивительные машины и думал о том, что стоят они как раз на том месте, где когда-то, в старые времена, были этапные бараки каторжного тракта...

А каких людей я встречал в Сибири! И какие это были люди! Сколько невероятных судеб, поразительных биографий, сложных и противоречивых характеров... Это и не может быть иначе в краю, где добывают золото и алмазы, раскорчевывают тайгу, перекрывают реки и создают моря.

Я видел двух ничем не примечательных людей в телогрейках и валенках, которые самым простым, будничным языком решали, где лечь морю, как его назвать и какими породами рыб его заселить,— а может быть, стоит создать новые? И каждый из них казался мне в эту минуту богом Саваофом, который, создав твердь, создает теперь играючи воду...

Когда я плыл по сибирским рекам, у которых нет точного очертания берегов или они возникают вдруг, исторгая у вас такой восторг, что вы и не пытаетесь уложить его в междометия, а только чертыхаетесь; когда ездил по проложенным в тайге дорогам или бродил по склонам диких Саян, каждый встречный казался мне героем Брет Гарта, или Джека Лондона, или в этом роде, и, боже мой, как я ему завидовал!

Каждый раз, когда я бывал в Сибири, я вспоминал восклицание, вырвавшееся однажды у Чехова: «Подлец я, что не умею рисовать!» Мне хотелось рисовать, фотографировать, снимать кинокамерой и, конечно же, писать. Но когда я брался за перо, то в голову обязательно лезли такие слова, как «грандиозно, первозданно, величественно», и я приходил в отчаяние...

И все видовые, научно-популярные, документальные фильмы о Сибири казались мне безликими, бесцветными, непохожими, ничего не говорящими... Так было, пока я однажды в Праге не увидел вдруг документальный фильм «Сибирью плененные». Как я обрадовался! «Наконец-то!» — воскликнул я так громко, что люди, сидевшие в просмотровом зале, оглянулись на меня с удивлением.

Я ждал, что в стране, которая уже в двадцатых годах дала миру Дзигу Вертова и других киножурналистов, у каждого из которых была своя индивидуальность, свое острое, ни на кого не похожее видение, ощущение и умение передать их людям, что в этой стране появится же когда-нибудь фильм, рожденный подлинным талантом, помноженным на любовь к этому поразительному краю!

И я рад, что мой оптимизм был вознагражден и что мне не пришлось ждать слишком долго.

Приехав в Москву, я умолял всех своих друзей познакомить меня с авторами фильма «Сибирью плененные». Я мечтал о встрече с ними, и мольба моя была услышана. Я готовился, как у вас говорят, к встрече с творческим коллективом. Но как христианский бог един в трех лицах, так предо мной предстал один автор — сценарист, режиссер и оператор — Иван Галин.

— Вы сибиряк? — спросил я его.

— Только по зову сердца, не по рождению,— ответил он.

— Ну, значит, мы земляки,— обрадовался я. И мы сразу стали друзьями.

Оказалось, что полюбившаяся мне картина — первая самостоятельная работа Ивана Галина (сценарий фильма написан им совместно с Л. Николаевым). Я от души поздравляю его с боль-

шой удачей. Впрочем, слово «удача» здесь не очень уместно. Меня опять подводит мой русский язык. У вас говорят — «выпала удача». Если так, то удача — это случайность. Но у Галина есть подготовка, отличные учителя, талант, живой ум, воображение — я верю во многие его будущие удачи.

Когда я смотрел фильм Галина, я думал: «Господи, да я же бывал во всех этих местах, и не раз я встречался с этими людьми, почему же мне кажется, что я вижу это впервые? Почему и как меня заставили все, что я знаю так хорошо и люблю, увидеть, почувствовать по-новому?»

Сотни блестящих кадров, сверкающих кусков смонтированы так, что весь фильм получился удивительно стройный, цельный, органичный. Это не холодный показ красот страны, а рассказ о стране, умный, сильный, обобщающий,— это о Сибири, такой огромной, сложной и так, казалось бы, трудно поддающейся обобщениям.

С бреющего полета художник показал мне Сибирь такой, какой я вижу ее в своих снах. Я вновь увидел сибирские реки, сибирские деревни, дымки из труб над крышами крепко сколоченных изб, тайгу, и горы, и новые города, и новых людей. Он не показывает только идеальных людей — мужественных и несгибаемых. Здесь живут разные люди, по-разному складываются их судьбы. Кто-то бесшабашен. А кто-то мучается от одиночества.

Совсем не обязательно показывать чудо-богатырей. Когда Лука Иваныч, охотник-отшельник, «слушает небо» или разговаривает с птицами, я лучше понимаю значение слова «сибиряк». Мне ближе, понятней и дороже эти люди. И я вспоминаю, как вели себя эти люди на фронтах Отечественной войны. И мне кажется, что я понимаю лучше, откуда взялось это ставшее легендарным мужество.

Я не хочу пересказывать картину, да и не сумел бы, если бы захотел. Документальный фильм— не видовой, а подлинно публицистический, с умным и глубоким подтекстом — не перескажешь, его нужно видеть. Но я не удержусь от рассказа об одном куске, он меня преследует. В начале фильма показана с птичьего полета бескрайная, унылая, пустынная, заброшенная среди диких лесов и гор дорога.

...По этой дороге уходили в Сибирь люди, которые любили свою страну больше, чем жизненные блага, больше, чем свою жизнь... Поэтому они были закованы в кандалы, и угоняли их в преддверие ада — Сибирь.

Позднее в картине объектив приближает нас к дороге на Саянском перевале. Какой это непрерывный, стремительный людской поток! Кажется, не просто люди движутся по ней и не просто сотни грузовиков перевозят здесь свои грузы — сама земля, вздыбленная, распотрошенная и укрощенная, радостно отдает свои богатства людям. И все здесь пришло в движение...

Как были бы счастливы, наверно, те люди в кандалах, проходившие когда-то по тоскливым, безлюдным сибирским дорогам, если бы им довелось увидеть это великое движение, ворвавшееся в царство безмолвия...

Автор фильма не говорит вам всего этого, но среди множества мыслей, рожденных его фильмом, возникают неизбежно и эти. Комментарий к фильму чрезвычайно скуп. Тут нет набившего оскомину пафоса ни в словах, ни в том, как их произносят с экрана. Кажется, что говорит с вами ваш друг, что собеседник знает, пожалуй, немного больше, чем знаете вы, но чувствуете вы одинаково.

С экрана звучит прекрасный голос Смоктуновского. Он сибиряк, начинал когда-то свою актерскую жизнь в театре северного Норильска и, наверно, «пленен Сибирью» не меньше, чем автор текста. Он не декламирует, не вещает, он просто говорит с вами. Как это хорошо и как это пока еще редко.

Я не скрываю: я сам «плененный». Я даже дважды плененный: Сибирью и этой картиной о ней. И мне трудно быть беспристрастным критиком фильма. Но я все же позволю себе сказать о том немногом, что мне мешало.

Мне хочется пожелать талантливому автору еще большей строгости в отборе материала. Пусть не дрогнет его рука, отбрасывая ненужный кадр, лишнее слово. (Мне, например, не понравился кадр, где жена с цветами провожает в путь машиниста.) Таких промахов в картине очень мало, но они есть. Хотя я понимаю, насколько перевешивает все то, что в картине сделано отлично. И тут я не знаю, кого больше всех хвалить, кого благодарить — режиссера, автора сценария или оператора? Режиссера, думаю я,— ведь фильм обязан своим успехом монтажу. Оператора — ведь вся съемочная группа состояла из него самого (и одного осветителя), имевшего в своем распоряжении всего 9 километров пленки и мужественно ринувшегося открывать для нас Сибирь. Когда я узнал, как проходил этот поединок, мне показалось, что даже отряд капитана Беринга боролся с Сибирью при более благоприятных условиях!

Прошлое и настоящее. Человек и природа. Человек и машина. Человеческий разум и техника. Все эти линии присутствуют в картине, не проступая на поверхность, не поучая и не довлея. Фильм сделан так, что вы не замечаете времени его показа. В нем пять частей — это немало для документальной ленты, но вам хочется воскликнуть: «Как, уже все? Как мало». Вам хотелось бы смотреть еще и еще.

«Сибирью плененные» — фильм многоплановый и сложно задуманный, и если он кажется простым — это большая заслуга его создателя. Это та самая трудная для всякого художника «простота», которая появляется после овладения сложностью, а не до нее.

Имя Ивана Тихоновича Галина новое в киноискусстве. И, наверно, большинство моих читателей, как и я, встретятся с ним впервые. Так мне казалось. Но вот мне напомнили, что 12 апреля 1961 года, когда первый человек вышел в космос — это был Юрий Гагарин,— все журналисты Москвы охотились за любыми данными о герое дня. Самый интересный и оперативный материал доставил в тот день на студию Иван Галин. Я теперь вспомнил это имя. Значит, он еще и отличный журналист! И это его качество способствовало успеху фильма.

Я убежден, что мы часто будем встречать это имя на киноплакатах, в титрах к кинофильмам. Мы привыкнем к нему, полюбим его и, прочитав его, будем предвкушать радость встречи с подлинным искусством.

Прага, декабрь 1966 г.

ОТ РЕДАКЦИИ

Получив это письмо из Праги и просмотрев затем этот замечательный фильм «Сибирью пленённые», редакция вполне разделяет его высокую оценку, содержащуюся в статье чехословацкого журналиста. Мы полагаем, что эта подлинная кинопоэма о Сибири должна быть широко показана советским зрителям. И как можно скорее.

ЧИТАЯ ЖУРНАЛЫ



Во многих повестях, написанных на эту тему, обычно все развивалось просто: начинающий журналист приходит на завод, вторгается в жизнь завода, в производство, побеждает рутинеров, выводит на чистую воду консерваторов, короче говоря, правильно начинает свой жизненный путь. И при этом показывает пример читателю, дескать, так надо начинать жить.

Подобные произведения встречались и встречаются. Более того, повесть Николая Самвеляна «Утро мечтателя», опубликованная в журнале «Радуга» (№ 12 за 1966 г.), по внешним приметам, по сюжетному ходу несколько напоминает эти вещи. Но повесть Н. Самвеляна — вещь особая. Молодой писатель чудом выскочил из заколдованного круга штампов и трафарета — он увидел живых людей.

Увидел и показал. Повесть согрета индивидуальным отношением к жизни, любовью — не риторической, а подлинной — к родному Львову, щедростью в изображении мира. Герой — Тонька Васильчук — очень молодой человек с девичьим именем, на самом деле юноша мужественный, интересный и увлеченный жизнью. Он совсем не похож на уже знакомых нам героев молодежных повестей и романов; этот живой парень интеллектуален, привлекают его обширные знания, его неистощимая любознательность.

Тонька может часами рассказывать о своем родном городе, и рассказы Тоньки всегда необычны и увлекательны. Он роется в архивах и находит совершенно невероятные вещи — письмо Марины Мнишек, неизвестные письма Гюго. Так в двух планах — в прошлом Львова и в его настоящем, — которые одинаково волнуют и не отпускают от себя героя, развивается его жизнь. Настоящее — жизнь завода — крепко спаяно для героя с прошлым. Но Тонька не просто мечтатель — он борец, он действует. Во имя чего и как действует?.. Прочитайте повесть.

Н. Самвелян действительно одарен, влюблен в мир, в свое дело, в людей. Но у него есть нечто большее, есть одно волшебное качество: светлый взгляд на мир. Повесть построена на автобиографическом материале (автор ее работал на заводе «Львовсельмаш», потом — в газете). И, думается, знание материала в сочетании с добрым взглядом на жизнь и дают ту неповторимость, ту естественность интонации, которые отличают «Утро мечтателя».

Алла КИРЕЕВА

Говорят, что наш век, атомный, реактивный, стремительный, требует от художника сжатости, предельного лаконизма формы — некогда разворачиваться длинным периодам, скучны всевозможные лирические отступления, не успеть вникнуть в неторопливые рассуждения! Штрих вместо тщательной прорисовки, рубленая, словно задыхающаяся фраза, «телеграфный» стиль — вот что, говорят, надобно нашему торопящемуся веку.

Но я читаю сейчас заметки современного писателя. Автор обещал провести меня по залам одного из крупнейших мировых художественных музеев. Первая, вторая, десятая, уже четырнадцать страниц прочитал я, но автор еще и не подошел к музею, он все еще идет по короткой улице, ведущей к этому музею, идет и беседует со мной, с читателем, неторопливо, разворачивая длинные периоды, со всевозможными лирическими и публицистическими отступлениями.

Речь идет о «Письмах из Русского музея» Владимира Солоухина, помещенных в девятой и десятой книжках журнала «Молодая гвардия» за прошлый год.

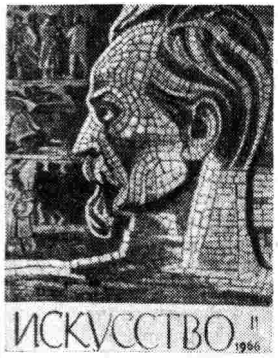
«Письма» — пароль несуетности, раздумий, углубленности. И, следовательно, девиз самостоятельности и ответственности художника, человека, современника, который вовсе не желает быть придатком скорости, но хочет быть ее хозяином. А слово «музей» несет и грустный оттенок, напоминая «о былом, о людях, о нравах, об исчезнувшей жизни». Когда перед нами, хотя бы и в музейных залах, всплывает великая Атлантида культуры, то нельзя не печалиться, думая, что смертен и Пушкин, более того — его могут убить!

Все же главные позывные автора «Писем» — настоящему дню. Письма его далеко не музейны! О сохранении свидетельств старины много уже говорилось в нашей печати. Но впервые, кажется, сказано с такой весомостью, с таким пониманием национального как великой духовной цельности, не дробимой на отдельные «памятники архитектуры», но творимой слитным огнем, который жизненно необходим советскому сегодня.

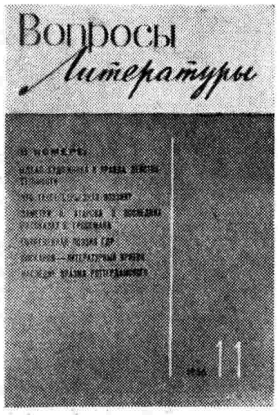
От инвективы Солоухин переходит к раскрытию, развертыванию шедевров Русского музея, а через них вообще к сокровенной сути отечественной культуры, явившей себя так грандиозно и в том, что собрано Русским музеем. Интерпретации отдельных картин, даваемые писателем, выходят далеко за пределы багетов. Вспоминается суждение Блока, что в России литература, музыка, живопись всегда вместе несли общую ношу культуры, не обособляясь по цехам.

«Письма» написаны поэтом, прозаиком — о живописи, архитектуре. Кое в чем можно и не согласиться с «Письмами». Но они написаны мастером, и это лишь закрепляет впечатление, что речь идет не о живописи или о зодчестве как таковых, но о чем-то большем: что оставляем мы детям? Какой мир? Какие духовные ценности? Это такие вопросы, на которые невозможно ответить единожды — раз и навсегда. Они требуют ответа от всех поколений, во все времена...

Евст. ТЕРПУГОВ









В журнале «Искусство» (№ 11 за 1966 г.) читателей, несомненно, привлечет глубокая по содержанию и хорошо проиллюстрированная статья А. Абрамовой, посвященная творчеству А. М. Родченко.

Художник Александр Родченко (1891—1956) был одним из друзей Владимира Маяковского. Он являлся оформителем журнала «ЛЕФ», делал рекламу для Моссельпрома. В 1925 году на Парижской выставке был удостоен медали Советский павильон, который Родченко оформил деловито и динамично, со страстью революционера и патриота.

В юношеских работах Александр Родченко изображал мир, перестроенный заново разумной волей человека. Мир, полный энергии и жизнеутверждения. Свои произведения художник называл «композициями», потому что в них он не копировал натуру, а формировал ее. В 1923 году Родченко на время оставил живопись. Он взялся за фотоаппарат. Фотомонтажи Родченко становятся книжными иллюстрациями и обложками. В его снимках представлена панорама Страны Советов, ажурные контуры стальных конструкций, лица строителей, физкультурников, образы поэзии Маяковского.

Родченко до последних дней своей жизни сохранил верность идеалам юности, выразив их во всех видах искусства, в которых дерзала рука мастера. Подробно и увлекательно об этом рассказывает А. Абрамова в статье «А. М. Родченко».

Иван КУПЦОВ

●

О том, что такое в буржуазном обществе «свобода», духовная и всякая иная, буквально вопиет роман итальянского писателя Гоффредо Паризе «Хозяин» («Иностранная литература» № 8, 1966). Этот странный мир, называющий себя «свободным», мир, современный нам, но похожий то ли на годаровский Альфавилль, то ли на фантазии Бредбери, мир, где и прозрачные дома из стекла и бетона просвечивают, как нечеловеческие творения иной цивилизации... «Конечно, мир переменился. И город, с тех пор как я его видел, стал другим. Но чтобы творилось такое... уму непостижимо!» — в отчаянии говорит своему сыну старик провинциал. Происходит же вот что. «Значит, на сей раз опять решать буду не я, а кто-то за меня»,— вновь и вновь резюмирует обезволенный всей буржуазной системой молодой человек из провинции. Я не я, мои поступки не мои поступки, мне все навязано, даже... невеста, на которой я не хочу жениться, но женюсь, потому что... Так оборачивается самостоятельная карьера современного итальянского юноши. Эта карьера — оборотень, вся жизнь — оборотень, отбирающий «я» у человека, подсовывающий ему нечто иное, «анти-я», которое уже сидит в нем, ибо он принадлежит системе, весь принадлежит ей, она ничего не оставила ему, даже иллюзий... Гротескным символом оказывается унитаз, на месте которого поставлен служебный стол молодого человека, а позже снова унитаз. «Знаете, когда я сегодня утром зашел к себе в уборную, мне почудилось, что вместо унитаза я вижу вас!» — острит доктор Макс, хозяин. Но кто хозяин? Есть ли в этом обществе хозяин? В нем все догадываются: я не я, мои поступки не мои поступки. Чудовищная внутренняя стандартизация идет рядом с несвободой.

Ст. ЛЕСНЕВСКИЙ

●

Сегодня у нас, как никогда, велика любовь к поэзии. Это «дух времени». «Вопросы литературы» — журнал интересный, кстати, не только узким специалистам,— опубликовал в № 11 за минувший год статью молодого критика Аллы Марченко «Что такое серьезная поэзия?». Вопрос сложный и, конечно, актуальный.

Поэзия А. Тарковского и А. Кушнера, о которых пишет критик, лишена аффектации. Это поэзия «разума, духовности, высокого строя души». Сегодня читатель идет к поэту, чтобы встретиться с серьезным, интеллектуальным собеседником, осознающим мир масштабно, «во времени и пространстве», живущим не одним днем и даже не в одном столетии, а «во всеобщей истории». Эту связь «с глубинными требованиями духа времени», с поисками и надеждами читателя и вскрывает критик в творчестве избранных им поэтов.

А. Марченко не впервые обнаруживает способность чутко слышать поэзию, глубоко проникать в мир поэта. Однако нас порой тяготит изысканная затемненность критической мысли автора.

Так или иначе, перед нами, любящими поэзию, интересный собеседник.

А. ПУДАЛОВ

●

Дети — герои повести Виктора Астафьева «Кража» («Сибирские огни» №№ 8—9 за 1966 г.). Повесть знакомит нас с жизнью детского дома конца тридцатых годов. Это теплое обиталище оттаивающих малышей ощущается, словно бы душа неуютного, еще не достроенного далекого города Краесветска. Вот чем одолевается вечная мерзлота — дыханием жизни. Лица детей, бывших беспризорников,— самое сильное в повести В. Астафьева. Гошка Воробьев — краткий сказ о его смерти открывает повесть; Зина Кондакова — нет слов, чтобы рассказать о ее несчастье; Лешка Деменков — неисправимый уже, наверно, уголовник; Толя Мазов — распрямляющийся человек, дитя и воитель справедливости, маленький герой нашего времени...

Виктор Астафьев пишет о детях словами незаемными, языком живо русским, иной раз, правда, сочетая суровую точность с излишне чувствительными придыханиями. Действие «Кражи» отдалено от нас почти тремя десятилетиями — и какими! — проблемы же повесть ставит нестареющие, проблемы воспитания живых человеческих душ.

Виктор ГУТИН

ПУБЛИЦИСТИКА

Юрий Апенченко

СВИДАНИЕ С ЧЕРНОЗУБОВЫМ

1

Познакомились мы года четыре назад, вскоре после открытия марковской нефти. Открытие было шумное, сенсационное. Нефть на Лене искали лет тридцать. Уже не так много осталось оптимистов, и тут зафонтанировала одна из опорных скважин. На задворках сельца Марково впервые в Евразии была найдена кембрийская нефть. Один американский геолог сказал, что это крупнейшая новость года. Правда, вторым таким же эффектным происшествием он считал столкновение в океане двух крупных лайнеров.

Я припомнил об этом заявлении — насчет лайнеров,— когда на жестяном полуглиссере мы двигались от Усть-Кута к Маркову. Погода стояла такая, что в пору бы с кем-нибудь столкнуться. Холод, ветер, дождь. Лишь в сумерки лодка приткнулась к сбитому из бревен, как плот, марковскому причалу.

Мест в гостинице, как водится, не оказалось. Ночлег же мы добыли, разыскав квартиру главного инженера экспедиции. Сам главный инженер уехал на буровую, но жена его отнеслась к нам со вниманием. Она дала нам раскладушку и спальный мешок и проводила до красного уголка: на ночь он свободен, с утра же здесь детский сад, а потом и библиотека.

Она попрощалась и ушла. Товарищ мой заснул. А мне не спалось. Пока движок работал и лампа мерцала, я перебрал книги на некрашеной полке. В одной прочел: «Район от Усть-Кута до реки Катанги называют Средне-Ленским. Лесистость территории здесь 95 процентов. Плотность населения 2—5 человек на квадратный километр. Среднегодовая температура минус 3—4°С, безморозный период 85—95 дней. Промышленность незначительна. Сельским хозяйством освоено 0,5 процента площади...»

Утром сообщили, что нас ждет главный инженер. Для беседы. Беседа началась привычно. История открытия, прогнозы, планы экспедиции. Главный был краток, сдержан, корректен. Он спросил, что́ бы нам хотелось увидеть. Мы попросились на буровые.

— Я так и думал,— сказал главный.— Вот Владимир Петрович Чернозубов, буровой мастер. Через тридцать минут вы сможете отправиться. Вы согласны, Владимир Петрович?

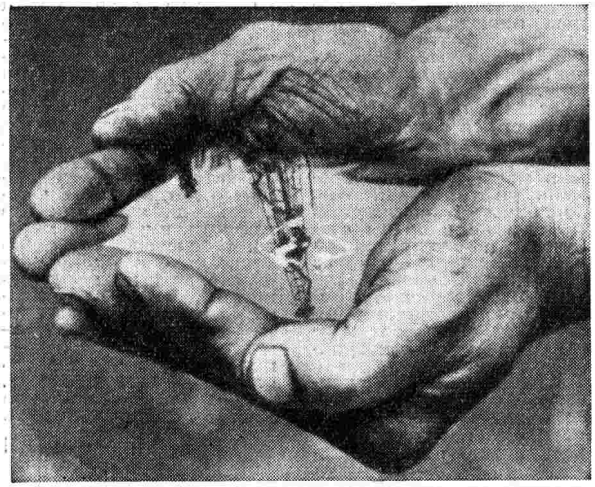
Чернозубов в брезентовом плаще и кепке стоял у окна и хмуро молчал. На реплику главного не ответил, лишь взглянул мельком на нас. Недовольные глаза, лицо молодое, скуластое. Главного инженера его молчание, видимо, немного смутило.

— Владимир Петрович — лучший наш мастер,— сказал он.— Они вас долго не задержат, Владимир Петрович.

— Не в этом же дело,— с досадой отозвался Чернозубов.— Просто нельзя так. Не буровая, а съемочная площадка. Перед людьми неудобно.

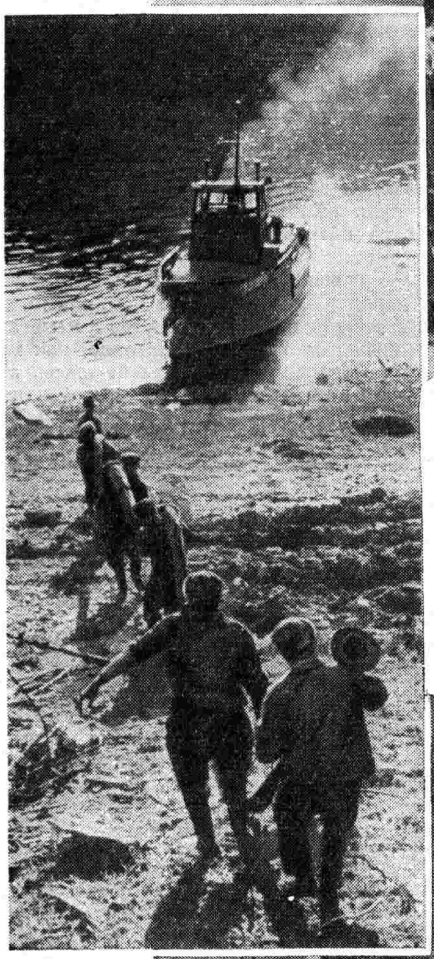
— Ну хорошо, хорошо,— всплеснул руками главный.— Но если надо. Поймите же, у людей задание, дело.

Не знаю, сколько бы длился этот не особенно приятный разговор,— кончился он довольно неожиданно. Товарищ мой открыл сумку с фотоаппаратами и достал новую, полученную перед поездкой камеру. Увидев ее, Чернозубов сразу оживился, отошел от окна, присел рядом. Он разглядывал аппарат жадно, с откровенным любопытством. Мы поняли, что перед нами фотолюбитель, и с облегчением улыбнулись.



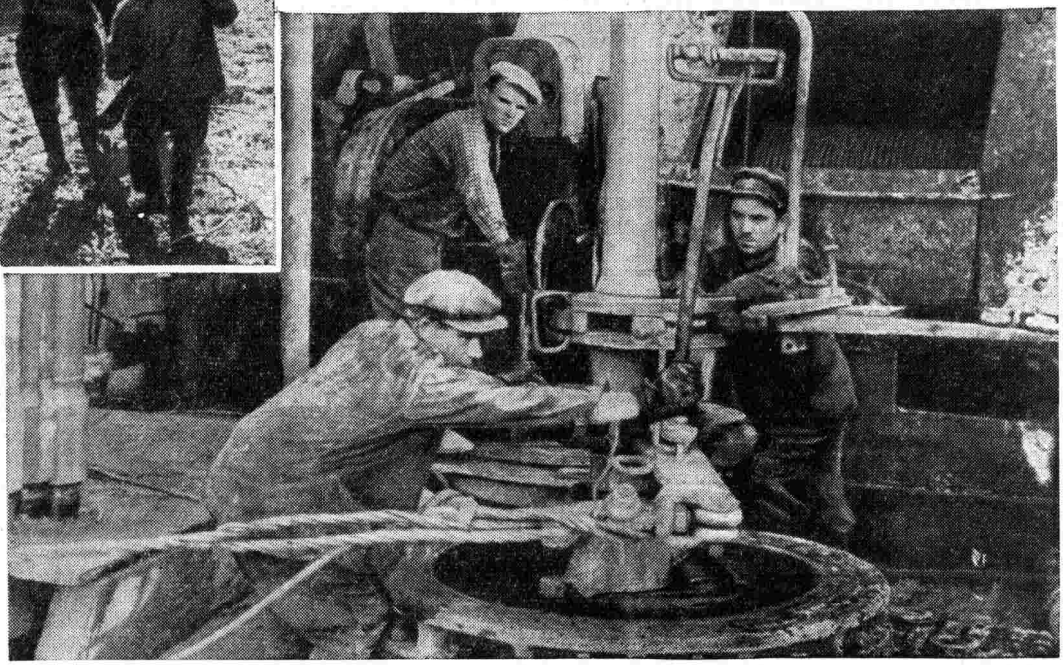
Чернозубов зачерпнул из ямы пригоршню и показал нам...





Такова сибирская романтика! Пути по бездорожью, тучи мошкары, бурелом и болота, все коварные сюрпризы тайги, впервые тронутой человеком. Но люди ехали сюда, их вела надежда, и она оправдалась: однажды из скважины хлынула нефть...

Фото В. Резникова



К буровой ехали на вездеходе. Путь был не далек, но долог. Таежные времянки — это, в сущности, не дороги, а наскоро пробитые просеки, изутюженные тяжелыми гусеницами,— машину кидало немилосердно. Вокруг летели комья грязи и обломки древесного хлама.

У заднего борта, широко расставив ноги, стоял большой веселый человек. Он непрестанно улыбался. Его бросало, как акробата на подкидной сетке.

— Петро! Шалимов! Угробишься! — кричали ему.

Он похохатывал и отвечал:

— Подумаешь! Одним Шалимовым меньше...

Вся эта бригада приехала из Альметьевска. На Лену прибыли через полтора месяца после того, как здесь ударил первый нефтяной фонтан. Буровая ребятам досталась по жребию. В то время закладывали две скважины: одну — возле поселка, другую — в тайге. Жребий тянули из шапки. Выпало: № 4 — таежная. Пока гнали просеку, планировали территорию, доставляли и монтировали оборудование, долбили гранитный панцирь, прошли месяцы. Нефть вскрыли 26 марта 1963 года, долото опустилось на 2 353 метра.

Ямина—отстойник, наполненный нефтью,—первое, что мы увидели, когда вездеход остановился. В круглом зеркале отстойника красовалась вышка. Володя Чернозубов (с которым к этому времени мы уже подружились) зачерпнул из ямы пригоршню и показал нам. Нефть была густая и светлая, как постное масло.

— Золото,— сказал Чернозубов.— На ней можно моторы гонять.

Он разжал ладони и с удовольствием растер их. Ему было приятно осязать нефть. Он ее чувствовал. У него было такое выражение лица, как у крестьянина, который пробует весной землю. Только земля Чернозубова — нефть.

Основные работы на буровой закончились, и Чернозубов был относительно свободен. Мне хотелось узнать, каким остался в его памяти день, когда они достали свою первую сибирскую нефть.

Володя сказал:

— Был теплый весенний день.

И засмеялся, потому что мороз в тот день держался за двадцать градусов. Теплым день остался в воспоминаниях, а на самом деле был довольно обычным. Чернозубов занимался чем-то в культбудке, маленьком вагончике возле вышки, когда туда вбежал Анатолий Долгополов и сказал одно только слово: «Газ!»

Тут, действительно, начались горячие дни.

Они взбудоражили не только бригаду, но и весь поселок, как, впрочем, и следовало ожидать. Надо представить себе, что такое таежная экспедиция: четыре ряда временно поставленных домишек, куда съехались люди, снявшиеся с якоря привычного уюта, оставившие вдалеке благополучно-спокойную жизнь. Они отправлялись в дальние края с надеждой, что со временем обретут здесь и уют и благополучие и что, может быть, на новом месте построят жизнь несколько лучше, красивее, интереснее, чем прежде.

Это здоровая, трезвая надежда. В одном из писем того времени (я прочел его позднее) Чернозубов так характеризовал своих товарищей: «Люди, знающие свое дело и имеющие мужество не бояться трудностей». А мужество всегда питается верой в успех. Здесь же, в Маркове, успех, надежда, само будущее— это нефть. Хорошая квартира, детский сад, гастроном, артисты из Москвы, библиотека, больница — все это нефть.

Когда Чернозубов, несколько дней не отлучавшийся с буровой, приехал наконец в поселок, его окружили мальчишки. Они шли рядом с ним и молчали.

— Чего это вы? — удивился Чернозубов.

— Дядь Володя! Правда, есть нефть? — серьезно спросил один из мальчишек.

— Правда.

Конечно, тогда — пока события не успели остыть — хотелось побольше узнать о первых радостях и первых трудностях Чернозубова и его товарищей. И мы надеялись на это. Володя пригласил нас на вечер к себе; думалось, в ближайшие дни мы не раз еще увидимся и поговорим с ним. Но получилось все иначе.

Пришла беда.

За пять минут до того, как наш вездеход, громыхая, ворвался в поселок, перевернулась в нескольких метрах от берега лодка. Утонули три девочки-школьницы. Когда мы подъехали, на берегу уже металась толпа, билась на земле женщина. Побежали за сетями, несколько человек бросились в воду, стали шарить по дну.

Девочки торопились на тот берег, в школу. Попросили знакомого перевезти на лодке. Он сказал, что может взять двоих, а их было шестеро. Он заводил мотор и поэтому не заметил, как они набились в лодку и оттолкнули ее... Когда он хватился, лодку отнесло метров на пятнадцать. Тут она перевернулась. Выплыли трое.

На берегу было страшно. Когда мы уходили, там все еще стоял народ. Сколько бы лет ни прошло, а подробности этой картины, знаю, останутся в памяти. Шалимов возле воды. Он говорит монотонно, как во сне: «Что же это, Петрович? Все-то мы бережем, а? Машины, железки, все, а? А что же человек, Петрович? Человека уж нет. Трое утонуло, трое!»

Это говорит Шалимов.

Утром смеялся: «Подумаешь, одним Шалимовым меньше».

У него утонула дочь.

Почему он говорит Петровичу, не знаю. Чернозубов стоит далеко от него. Он стоит по пояс в воде и смотрит куда-то поверх другого берега. Он неподвижно стоит в ледяной воде. К нему почему-то все подходят и спрашивают, что делать. Он говорит и снова берется за сеть. Раза два он выходил на берег. Подошел к Шалимову, сказал:

— Иди, Петро, иди. Не надо тебе здесь.

На нас взглянул мельком, не узнал.

В тот день мы были чужие на берегу. Мы ушли в общежитие и, дождавшись там усть-кутского речного трамвая, не прощаясь, отправились по течению в Киренск. В излучине реки между Марковом и соседней деревней, на высоком обрыве берега, мы увидели огромные буквы: «Здесь будет город Нефтеленск».

2

Наука еще не дошла до того, чтобы рассчитать человека при помощи логарифмической линейки или — что звучит современнее — электронной машины. Мы обходимся без них и чаще всего прибегаем к испытанному способу, обращаемся к определенным качествам характера. Периодическая система их (применительно к таким людям, как Чернозубов) разработана довольно четко. Энтузиаст — раз, организатор — два, авторитет — три, и так далее. Мерки надежные, как старый портновский сантиметр. Недостаток у них только один. Мерки одинаковые — люди разные.

Когда объявили о марковской нефти, Володя Чернозубов был на комсомольской конференции в Альметьевске. После первых кратких заметок в газетах

появилось более подробное сообщение о Маркове, о том, что молодежь не должна остаться безучастной к этому открытию. Прочитав газеты, секретарь обкома комсомола, Володин добрый знакомец, предложил ему: «Выступи с почином».

Чернозубов отказался. Не потому, разумеется, что был против,— он был за. Но он собирался в Индию, уже оформлялись документы, и при таком стечении обстоятельств агитировать других за поездку в Сибирь казалось ему неудобным. Сколько ни убеждали его, что важно слово сказать, а дальше все пойдет своим чередом, он не поддавался: «Нет, не могу. Коли сказать, так и сделать надо».

С Индией, однако, переменилось. На время заглохли разговоры и о Сибири. Правда, ненадолго. Из Иркутска приехал собирать добровольцев главный инженер Восточносибирского треста.

— Ходил он, ходил,— рассказывает Володя,— ничего у него не получается. Однажды пожаловался: несговорчивый, мол, у вас народ. Не желают, боятся. Ну, говорю, это ерунда. Просто вы людей не знаете. Хотите, завтра бригада будет?

Заявления подали около ста человек. Из них выбрали треть.

Вот вроде бы и факты. Попробуем разобраться в них.

Чернозубов — инженер, буровик. В Альметьевск он приехал сразу после института. Как-то я услышал от него: «Когда есть диплом, остается научиться работать». По понятиям Чернозубова, хороший буровик, какой бы он пост ни занимал, должен свободно ориентироваться в любых геологических условиях. Поэтому наиболее привлекательной — и надолго — стала для него должность мастера, ведущего скважину от начала и до конца.

В любом деле есть свои меры мастерства. Одни, официальные, поддаются классификации, нормированию. Другие разрядом не определишь. Прошлым летом на Лене Володя предложил мне: «Хочешь послушать, как поет долото на забое?» Я хотел, но не услышал: это, видимо, не каждому дано. Это талант.

В Альметьевске Чернозубова быстро заметили и, как говорится, двинули в рост, назначили старшим инженером в технический отдел. Работа была не по нему, а что делать? Не так легко и отказаться, когда разом говорят и о способностях, и об обязанностях, и о нуждах производства. Объяснение, что не все, дескать, еще постиг, в таких случаях в расчет не принимается. А кто постиг все?

— Но я везучий,— улыбается Володя.— Меня Гаганова выручила, когда перешла в отстающую бригаду. Я не растерялся и — бац такое же заявление. Попробуй откажи. Ну, пошли к Валерию Ивановичу жаловаться. Я Валерия Ивановича учителем считаю. А он говорит: не надо держать, пусть учится. Отпустили. Но ругались — жуть!

Володина бригада стала одной из лучших. Он и сейчас вспоминает своих ребят так, словно живут они в соседнем доме. Впрочем, так он говорит обо всех, с кем сводит его жизнь. Это, может быть, важнейшее из свойств Чернозубова: для него не существует работник вообще и человек вообще. Его мир — Альметьевск или Марково, Сибирь или вся страна — населен вполне конкретными людьми, и дела, способности, склонности каждого составляют личность.

Поэтому-то я вполне понимаю одного из Володиных начальников, который, узнав, что Чернозубов собирает бригаду в Сибирь, сгоряча бросил кулаки на стол: «Не пускать! Он увезет лучших». И действительно, за такими, как Чернозубов, идут лучшие.

Провожали бригаду с почетом, с музыкой. Руководитель «Татнефти» Р. Ш. Мингареев сказал: «Прошло десять лет с тех пор, когда из всех нефтяных районов страны ехали добровольцы в Татарию. Теперь наша очередь, и сегодня вы едете помогать Сибири. Мы гордимся вами...»

Похоже на то, что сибирский вариант возник для Чернозубова раньше, чем на Лене ударил первый фонтан. Дело ведь не только в том, что он, Чернозубов, понадобился Сибири, но и в том, что Сибирь понадобилась ему. Выбор был взаимным, и поэтому для характеристики этого выбора вряд ли будет точным слово п о р ы в.

Признаюсь, я с большой опаской отношусь к этому слову, особенно в применении к Сибири. По данным Института экономики Сибирского отделения АН СССР, за семь лет (1957—1963) отсюда уехало на 400 тысяч человек больше, чем приехало сюда. Коэффициент текучести кадров для Восточной Сибири процентов на семьдесят выше, чем в среднем по России. В таких условиях слово п о р ы в звучит несколько неточно.

Словцо это больше подходит новичку, которому Сибирь открывается как страна соблазнов. Тут вроде бы где ни копни — богатства: уголь, нефть, золото, алмазы и прочее. В какой конец ее ни отправься — всюду стройка: там завод, там город, а там и целая цепь городов, как в округе Братска. И поэтому с первого взгляда Сибирь производит ошарашивающее впечатление. Восторги объяснимы: ты словно попадаешь в небывалое по объему и архитектуре сооружение. Потрясает размах, потрясает красота сделанного, потрясает оригинальность зодчего.

Но есть и другой взгляд. Взгляд человека, непосредственно занятого на стройке, на общем плане не особенно заметного. Взгляд от первой вешки, из-за полога первой палатки, с площадки верхового рабочего на таежной буровой. Встретившись с таким трезвым взглядом, в полную меру понимаешь ответственность поколения, взявшегося перевернуть этот край.

Сибирь огромна — это верно. Она богата — это тоже верно. Но и самые обширные пространства измеряются шагами. И самые большие богатства достают из земли руками.

Сибирь трудна.

Что же из этого следует? Видимо, только одно: чем обдуманнее, основательнее, серьезнее решение человека, собирающегося или собравшегося на стройку в Сибирь, чем меньше экзальтированной восторженности, столь характерной прежде всего для юношей и девушек, тем лучше и для Сибири и для всех нас. Если угодно говорить о романтике Сибири, это романтика здравого смысла. Отдавая себе отчет в неизбежности тягот переустройства, люди чернозубовского склада готовы принять их потому, что едут в Сибирь отнюдь не из легкомысленного желания попреодолевать трудности и в свободное от них время побродить в тайге с ружьишком. Они едут в Сибирь жить и работать, хорошо жить и интересно работать.

Об этом некоторые ревнители чистой романтики не то чтобы забывают, но как бы не считают важным помнить. Р о м а н т и к а, э н т у з и а з м видятся им в отвлечении от человека. Когда я встречаю таких людей, мне приходит на ум незабвенная Анна Павловна Шерер из «Войны и мира». Помните? «Быть энтузиасткой сделалось ее общественным положением, и иногда, когда ей даже того не хотелось, она, чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой».

Последствия такого «энтузиазма» печальны. Одновременно с бригадой из Татарии приехала на Лену другая — из Азербайджана. Сейчас в Маркове осталось от нее пять или шесть человек. Люди же, которых подбирал Чернозубов, продолжают работать. Уехали три, если не ошибаюсь, семейства с общего

согласия, по уважительным причинам. Интересно было бы узнать: какая «Анна Павловна» приложила ручку к формированию бригады нефтяников в Баку?

Снисходительность к шапкозакидательству по отношению к Сибири пагубно отзывается не только на судьбе здешних строек, заводов, рудников. Не однажды я наблюдал, как поветрие это иссушает и мельчит судьбу отдельного человека, и большей частью молодого человека, не обладающего житейским опытом, иммунитетом к пустому фразерству.

3

...Дома у Чернозубовых, за тумбочкой, на которой стоит приемник, помещается Володин архив — фанерный ящик с фотографиями, газетными вырезками, письмами, почетными грамотами, удостоверениями и тетрадкой в клеенчатом переплете. В тетради Володя время от времени делает заметки. Приведу одну из них.

«Настроение прескверное. Никак не запускается на полную мощь буровая № 12. Все время неполадки, оборудование старое. Трест недоволен нашей работой, ну что поделаешь. Была бы большая мехбаза, дела обстояли бы хорошо.

Потихоньку ковыряем сибирскую землю. Прошло общее собрание. Уровень ниже среднего. Почти никакой критики. По всей вероятности, боятся, что покритикуют начальство, а потом их уволят. Странно.

Привезли водку... Что делать? Трезвый — человек, пьяный — шут знает что. Помбур Сулин пьянствовал два дня. Молодой, не комсомолец. Некем подменить его. Трудно приходится работать с такими кадрами».

Я попытался представить себе несколько комментариев к этой записи, оценить ее с точки зрения разных людей. Возможно, кто-нибудь, оценивая эти записи, скажет: «Безобразие!» Ну что ж: вывод верный. И бесполезный. Другой может выступить с позитивной, так сказать, программой: «Старые механизмы списать, срочно провести воспитательную работу в коллективе, пьяниц и разгильдяев выгнать». Тоже верно, но нереально. Третий решит еще проще: «Непорядок, пьянка, крутись как хочешь, а зачем мне это нужно?» Ему не нужно.

А какое заключение сделал Чернозубов?

Их несколько. Первое: «При любых обстоятельствах надо бурить, нужно оценить месторождение». Второе: «Нужно думать, нужно работать, а не мечтать и не говорить, что было у нас в Альметьевске». Третье: «В наше время личная энергия много дает для организации».

Прописные истины? Пожалуй. Я отнес бы Чернозубова к тем людям, которых принято называть неисправимыми оптимистами. Но, может быть, на его примере я особенно ясно понял, насколько трудно иногда быть неисправимым оптимистом. Приведенная запись датирована осенью 1964 года. Это было очень тяжелое для Володи время. Из своей бригады он был переведен в другую, как здесь говорят, разведку — в дальний поселок Бочакту. Он жил с товарищами в старом амбаре. Зимой вместо печи поставили бочку из-под солярки. Вечером от нее несло жаром, как от паровозной топки. А по утрам у всех смерзались волосы. Зина, жена Володи, утверждает, что тогда Чернозубов и застудил голову — теперь временами она жестоко болит.

Прописные истины... Но не находите ли вы, что жизнь, повседневная и будничная жизнь, нередко задает задачи, простейшее решение которых неким странным образом требует от каждого из нас наибольшего мужества?

4

Что же получается? Выходит, автор хочет сказать: побольше бы нам таких Чернозубовых, и мы в Сибири быстро бы все намеченное построили, ненайденное разведали, начатое завершили?

Нет, не это я хочу сказать. По двум причинам. Во-первых, Чернозубов не такая уж редкая птица в таежных лесах. Чернозубовых в Сибири легион, и становится их с каждым годом больше. Во-вторых, неправильно ставить успех такого грандиозного предприятия, как освоение Сибири, в исключительную зависимость от личных способностей тех, кто здесь работает. Неправильно и вредно.

Между тем идея исключительности — в самых разных видах — довольно популярна в Сибири. Подчас она выступает в неожиданном, иной раз смешном, а иной раз и печальном облике.

Помню, в Марково на полдня опаздывал самолет из Киренска. Погода стояла великолепная, машина ушла в Киренск исправной, лету от него не больше часа. Я зашел в избенку начальника аэродрома справиться о причинах задержки. Начальника, видно, замучили расспросами. «Разве это аэродром? — отчаянно вздохнул он.— Не можем вокзал достроить. Вон, видите? По летному полю корова гуляет. Какое тут расписание? Сибирь!»

На следующий день, в воскресенье, в усть-кутской гостинице заболел мой товарищ. Я обегал весь город в поисках тетрациклина, но без толку. Аптеки были закрыты, медицинские киоски в порту и на вокзале тоже, на «Скорой помощи» лекарства не нашлось. Почему? Ответ стереотипный: «А что вы хотите? Сибирь!»

Безалаберность это, а не Сибирь. Иногда от досады разрывает при встрече с подобными мелочами. Их и проблемами-то назвать стыдно. Им скорее подходит другое название: н е п р о б л е м ы. Но таких н е п р о б л е м здесь множество.

В Маркове, да и не только в Маркове, ежедневный стол держится на консервах, в основном на тушенке. Легко представить себе, как она здесь надоела (я уж не говорю о том, что ненормальность питания неизбежно отражается на здоровье и работоспособности людей, сказывается на детях). К сожалению, столь же легко представить себе человека, который, прочитавши эти строки, неодобрительно покрутит головой и молвит по обыкновению: «А что вы хотите? Сибирь!»

Вот именно — Сибирь!

Когда мы были бедны, когда с огромным напряжением сил всего народа принимались за ее освоение, когда Маяковский писал полные гордости, драматизма, веры стихи о Кузнецке и людях Кузнецкстроя, в то патетическое время неудовольствие по поводу недостатка лекарств и переизбытка консервов граничило бы с издевкой. Но Сибирь живет в эру Братскгэсстроя, Академгородка, Дивногорска. Она давно перестала быть заповедным краем в том смысле, какой хотели бы придать этому выражению резонеры, предпочитающие разводить руками там, где их полезнее приложить к делу. В Сибири есть множество городов, причем некоторые из них гораздо отдаленнее от транспортных путей, чем Марково, и трудности быта там если не сведены, то уже сводятся к минимуму.

В наши дни личность, громко провозглашающая: «Какие вокруг люди работают! Золотые люди!» — и втихомолку делающая из этого вывод: «Вытерпят!» — становится карикатурной. И опасной. На XV съезде ВЛКСМ Л. И. Брежнев говорил об этом: «Наша молодежь не боится трудностей. Но трудности быва-

ют разные. Есть неизбежные, естественные для новых районов, а есть искусственные, созданные волокитчиком, бюрократом, равнодушным человеком. Энтузиазм молодежи — это священное понятие. Им нельзя спекулировать, нельзя злоупотреблять им для того, чтобы затыкать прорехи, вызванные бесхозяйственностью некоторых администраторов, неумением организовать работу».

Трудности бывают разные...

У Чернозубова — он работает теперь заместителем начальника экспедиции — нет телефона. Я собрался было прохронометрировать один его рабочий день, да это не имело смысла. Ведь вместо того чтобы поднять трубку и узнать, что где нужно, руководители экспедиции садятся на «газик» или на вездеход!

Но вот круг дел Чернозубова за несколько часов (это из записной книжки): «Только что кончилась планерка. В комнатушке Чернозубова непрерывно гуляет дверь. Нужны люди разгрузить лихтер с цементом; часовщик — на каждой руке по два циферблата — просит помещение для мастерской; плотникам не выписали аванс; женщина договаривается о работе. Прораб не составил смету на строительство коровника; комсорг спрашивает о музыке — в воскресенье молодежный фестиваль; на тридцать седьмую нужно срочно отправить турбобур; требуется подобрать четыре новых вахты. Нужна для бурения вода, нет водовозок. Нужно срочно отправить в тайгу кислород, электроды. Необходимо спешно погрузить дизтопливо для сорок девятой; тракторист, которому еще вчера выписали путевку, куда-то исчез; в поселке понадобился автокран — поставить емкости, подобрать трубы; просят нанять сторожей». И так далее.

Не думаю, что есть хоть какие-нибудь основания обвинять Чернозубова в неумении работать. Говорю это без желания провозгласить, что Володя идеально распоряжается своим временем и энергией. Иногда он нагружает на себя столько дел, что и выспаться толком недосуг. Вот фестиваль, например. Сколько он отдал хлопотам по его организации! Зина недовольно заметила по этому поводу: «Уж плешь на голове, а все комсомолец». Фестиваль, что и говорить, штука хорошая. И удался он на славу. Но в экспедиции есть комсорг. И кое в каких делах (в подготовке фестиваля, например) не он должен быть у Чернозубова помощником, а Чернозубов у него. Володя, видимо, и сам понимает это. Однажды сказал сокрушенно: «Узнал бы Шкварко, задал бы жару». В. Шкварко — работник ЦК ВЛКСМ. Он был в Маркове. К его мнению Володя относится с большим уважением.

Но чаще всего ни Чернозубов, ни его товарищи не могут, по справедливости говоря, нести ответственность за плохую постановку работы. Примеров, подтверждающих это, слишком, к огорчению, много.

Легко встать в позу прокурора и стукнуть кулаком по столу. Почему нет телефона? Кто, считая копейку, которая рубль бережет, забыл о самом рубле? Почему нет запасных частей к компрессорам? Но стучать кулаком не лучший способ помочь делу. Полезнее разобраться в причинах: почему так происходит, и нельзя ли повернуть кое-что иначе?

Можно, конечно.

Сейчас, по прошествии времени, когда мимолетные наблюдения отстоялись и многое передумано, яснее видится граница, где успехи марковских нефтяников сдерживаются недостатками. Эта граница определяется словом в р е м е н н о с т ь.

Марково — еще не промысел. И, естественно, до тех пор, пока не будет стопроцентной гарантии, что месторождение здесь имеет промышленное значение, городу Нефтеленску не быть. Но в то же время Марково выросло из пеленок. Очевидно, что перспективность поисков нефти и газа здесь большая. И потому кустарничать — и в производстве и в устройстве быта — тут не пристало. На первом году работ, когда закладывались первые скважины, самым важным казалось — и действительно было — преодолеть перегрузки изначального ускорения, вынести неизбежные в начале пути тяготы, извлечь уроки из ошибок. Теперь важно преодолеть самую в р е м е н н о с т ь.

Привычка к ней чужда нашим дням. Все с большим вниманием относимся мы к тому, что не так давно именовали мелочами. Теперь гораздо реже звучит это слово, мы употребляем его с понятной осмотрительностью. Не должно быть мелочей, н е п р о б л е м, из-за которых хотя бы в малейшей степени растрачиваются время и энергия людей — время и энергия страны.

Образец сосредоточенного внимания к бесчисленному комплексу вопросов дальнейшего развития нашего общества дает нам пятилетний план, в котором цифры контрольных заданий роста тяжелой промышленности и сельского хозяйства гармонично соседствуют с указаниями на необходимость расширения и улучшения ассортимента детской одежды и производства пищевых полуфабрикатов. Этот образец и следует держать в виду, когда на берегах Лены или на берегах Ангары люди мечтают, размышляют, спорят о будущем маленького поселка в Сибири.

Потому что в Сибирь едут жить и работать, хорошо жить и интересно работать.

НАУКА
И
ТЕХНИКА

Память — это все, что знает и умеет человек. От лука и стрел, первого колеса и первого капкана — до атомных реакторов и космических ракет; от наскальной живописи — до Рафаэля и Модильяни; от гортанных выкриков у костра — до Бетховена и Шостаковича; от набора несвязных звуков — до Шекспира и Пушкина; от палочек, обозначающих цифры,— до теории относительности и вычислительных машин, в основе всего — память.

Игорь Губерман

ДАР ПРОМЕТЕЯ

Послушайте, что смертным сделал я:
Число им изобрел
И буквы научил соединять.
Им память дал — мать муз,
всего причину.

Эсхил «Прометей».



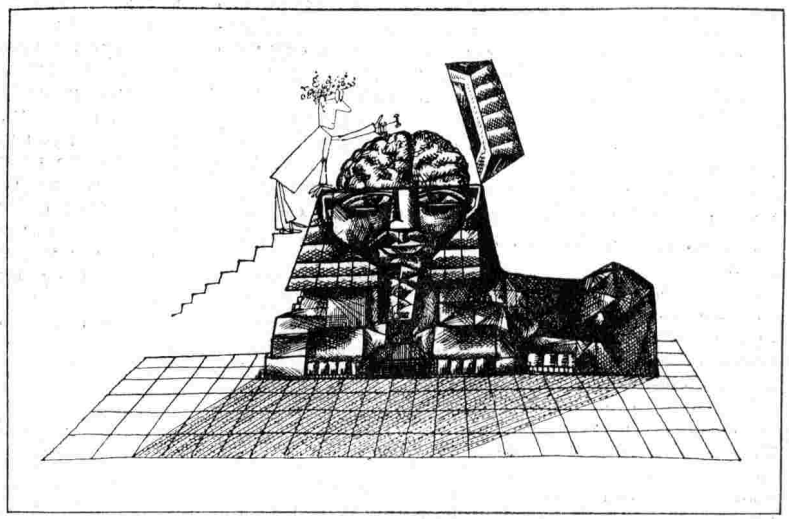
НАУКА ИМЕНИ ПОДКИДЫША

В мае 1828 года на базарной площади Нюрнберга был задержан странный юноша. Одетый в рваное крестьянское платье, он затравленно озирался, почти не умел говорить. При нем было письмо к офицеру квартировавшего в городе полка, носовой платок с инициалами и несколько листков с текстами католических молитв.

Письмо было от бедного поденщика, сообщавшего, что парень был подкинут ему в младенческом возрасте. Позднее, когда Каспар Гаузер научился говорить, он рассказал, как с раннего детства его держали в темной конуре, воспитывая в глубокой тайне.

Премия баварского короля за выяснение странной биографии юноши осталась неврученной — тайна была полной. Его отдали на выучку к одному профессору, но успехи Каспара Гаузера были очень слабы. Через пять лет его убил кто-то, оставшийся неизвестным. Из сотен легенд, окруживших впоследствии его имя, наиболее правдоподобно звучала версия о том, будто Каспар был сыном великого герцога Баденского. Вторая жена герцога, желая обеспечить престолонаследие собственному сыну, якобы подменила Каспара больным ребенком, который вскоре умер.

В нашем веке имя несчастного подкидыша вдруг стало часто употребляться в науке, не имеющей ничего общего с розысками королевских отпрысков. Наука об инстинктах — этология — назвала «каспар-гаузеровскими» опыты по выращиванию животных и насекомых без родителей — для выяснения инстинктивных навыков поведения, передающихся по наследству, хранящихся в генетической памяти.



Рисунки В. Зуйкова.

Одним из пионеров описания цепочек инстинктивных действий был французский сельский учитель Жан Фабр. Он не только наблюдал реализацию инстинктов, этих врожденных программ поведения, но и экспериментировал, каждый раз убеждаясь, что это в чистом виде проявления наследственной памяти, без намека на самостоятельную мысль.

Гусеницы шелкопряда идут за едой длинной цепочкой, так что задняя все время ощущает хвост идущей впереди. Фабр повернул цепочку так, что головная гусеница уперлась в хвост последней и тут же вцепилась в него. Гусени-

цы стали послушно кружиться на одном месте, и цепь вертелась, пока не распалась от утомления «звеньев».

Осы Сфекс с анатомической точностью вонзают свой ядовитый стилет в жизненные центры жуков, пауков, сверчков и гусениц. Потом оса тащит свою парализованную жертву в норку — там ее съест прожорливая личинка. Перед тем как втащить сверчка в норку, оса отваливает камушек, залезает в нее и тщательно осматривает — это до удивления целесообразно: жилище мог кто-нибудь захватить. И лишь потом втаскивает туда «живые консервы». Но если сверчка за время отсутствия осы чуть отодвинуть, то, подтащив его на прежнее место, оса снова бездумно полезет осматривать норку. Фабр терпеливо повторил эксперимент сорок раз. И сорок раз оса исправно совершала ставший бессмыслицей осмотр. Фабр написал удивительно точные слова: «Инстинкт все знает в той неизменной области действий, которая ему предначертана; инстинкт ничего не знает вне этой области».

В сущности, он на языке натуралиста выразил сегодняшнее мнение ученых: инстинкты — это серия записанных в наследственной памяти программ действия, причем переход от программы к программе осуществляется при наличии очередного пускового стимула.

Изучение инстинктов в их чистом виде — без влияния обучения — проводится на насекомых и птицах, отнятых у матери еще до или немедленно после рождения. И наследственная память проявляет себя поразительной четкостью всех поступков этих необученных живых автоматов.

Только что вылупившийся гусенок хранит, оказывается, в памяти команду следовать за первым же движущимся предметом. Обычно это мать, но сейчас ее нет! И гусята преданной вереницей отправляются... за ученым, производящим эксперимент (они ведь не знали до рождения, как выглядит мать, «записано» лишь, что она поведет).

Пчела, вылетев на поиски корма и найдя его, возвращается домой и исполняет причудливый танец. Фигуры танца — шифрованный язык, за основу его взято направление от улья к Солнцу. Поразительный шифр! Открывателю его долго не верили. Кончилось тем, что один из неверующих самостоятельно замерил углы в пчелином танце и по этим данным безошибочно отыскал в саду чашечки с медом. Пчелы уже были там.



Но вот пчела, нашедшая еду, влетает в пустой улей. Публики нет, зачем хвалиться находкой? Но пчела по-прежнему исполняет свой танец. Ей не нужны овации, но программа инстинкта не может не быть выполненной.

Так работает инстинкт — наследственная память, передаваемая программа действий. У кого же она богаче, эта память, у муравья или у человека?

Ответ будет несколько неожиданным...

Новорожденных детенышей — выдру и павиана — воспитывали, не только оторвав от матерей, но и в неестественных для них условиях. Выдра видела воду только в блюдце для питья, а павиан ни разу не бывал в лесу. Кроме того, выдренку не давали рыбы, а юному павиану — насекомых. Потом их вернули в нормальные условия. Молодая выдра немедленно бросилась в реку, ловко поймала большую рыбу и съела ее, как будто раньше только этим и занималась. Павиан же оказался совершенно неприспособленным: он путался в зарослях, чуть не наелся ядовитых ягод, жалобно орал от голода и страха, но даже не пытался искать под камнями насекомых.

Вспомните, как темен и дик был в свои шестнадцать лет Каспар Гаузер. Чем совершеннее живое существо, тем меньшее количество наследственной памяти оно получает при рождении. Да и то, что получает,— это навыки скорее не готового поведения, а умения обучаться, любопытствовать и узнавать. Отсюда же и длительная беспомощность младенца человека. Наша память при рождении — почти чистый лист, но зато впоследствии на этом листе помещается информация невероятно обширная — основа нашего мышления и действий.

Мнемозина, богиня памяти у древних греков, недаром считалась матерью всех муз — покровительниц наук и искусства.

МНЕМОЗИНА ДЕМОНСТРИРУЕТ ХАРАКТЕР

Вдоль фронта пехоты и конницы едет Александр Македонский. Глаза солдат полны фанатической преданности — еще бы, их несколько десятков тысяч, а полководец знает каждого по имени. Через три века легенда оживет — такую же феноменальную память припишут Юлию Цезарю.

Это самые древние, пожалуй, факты о способностях памяти. Долгое время они принадлежали только историкам; медикам и биологам было ни к чему заниматься памятью — за отсутствием методов изучения и приборов это белое пятно психики было неприступно.

Затем за память взялись психологи и психиатры. Гора описательных фактов, накопленных ими, еще послужит тем, кто в недавние годы впервые приступил к памяти с основательными средствами штурма,— биохимикам и биофизикам. Оказалось, что наша память схватывает и подсознательно хранит огромные количества информации, поступившей «до востребования», но обычно так и незапрошенной. Болезненные потрясения могут внезапно проявить эти сведения, о которых хозяин не подозревал.

Камердинер одного испанского посла, лежа в бреду, читал наизусть сложнейшие политические трактаты, проявляя незаурядное знание мировой дипломатии. А выздоровев, все забыл.

И наоборот. Ушиб головы. Пострадавший начисто забыл греческий язык, а все остальное помнил. Другой в таких же обстоятельствах утратил все свои прежние знания о музыке.

Может быть, объем памяти как-то свидетельствует об умственных способностях вообще и является достоянием высокоразвитого ума? Например, Сенека мог повторить две тысячи не связанных между собой слов, услышав их лишь раз. Но известен старый деревенский могильщик, слывший местным юродивым. А он помнил все похороны за последние 35 лет, знал имена, возраст и родственников умерших и безошибочно называл имена присутствовавших на каждом отпевании.

Или вот потрясающий факт непроизвольной и странной разновидности памяти. Семилетняя девочка, невежественная и неумная, днем пасла стадо, а ночью спала в комнате, где за тонкой перегородкой полгода жил странствующий скрипач. По ночам он играл. Потом девочка поступила в один дом служанкой, и однажды хозяева услышали из ее комнаты звуки скрипки, причем трудные места из разных музыкальных пьес разыгрывались с большим мастерством. Иногда музыка прекращалась — слышались звуки настраивания, порой повторялось сложное место. Девочка воспроизводила музыку голосом! А утром ничего не помнила и не могла повторить ночной концерт.

Факты невероятно острой и прочной памяти (недавно умер человек, знавший 132 языка) соседствуют в записях психологов и психиатров с выпадением памяти, носящим парадоксальный характер.

Великий шведский натуралист Карл Линней в конце жизни охотно и с интересом читал собственные произведения, отказывался от авторства и очень хвалил их. Вальтер Скотт диктовал последние главы романа «Айвенго» в нездоровом, лихорадочном состоянии. По выздоровлении он отнесся к роману с восторгом и подозрением: он не помнил, что это диктовал он.

И, наконец, последнее в этом перечислении неизведанных резервов и потерь — высокие проявления памяти профессиональной.

Моцарт мог точно записать по нотам сложнейшую симфонию, слышанную им лишь однажды.

К композитору Танееву должен был зайти Глазунов, чтобы сыграть только что сочиненную им, еще никому не игранную увертюру к опере. В соседней комнате спрятался молодой Рахманинов. Каково же было удивление Глазунова, когда чуть позже Рахманинов абсолютно точно сыграл ему эту еще никому не ведомую вещь. И лишь потом признался, что пошутил: такая у него, оказывается, память.

Это о памяти слуховой. А зрительная?

Издатель поручил художнику Густаву Доре сделать рисунок с фотографии какого-то альпийского вида. Доре ушел без фотографии, а на следующий день принес рисунок, в точности воспроизводящий оригинал.

Память — магнитофон и киноаппарат одновременно — укладывает свои гигантские архивы в каком-то неизвестном, но великолепном порядке. Сообщить достоинства этого хранилища вычислительным машинам — одна из сегодняшних ключевых проблем моделирования мозга.

ПОИСК ПРИНЦИПА

Как она устроена? Где отыскать следы прочитанного, услышанного, запомненного? В конце прошлого века одна газета опубликовала сенсацию: в мозгу умершего египтолога будто бы прямо на нервной клетке найден отпечаток иероглифа. Другая теория, вполне правдоподобная на уровне тогдашних представлений: каждое впечатление меняет форму и размер нервной клетки.

Открытие электрической активности нервных клеток — нейронов — породило новую гипотезу (кстати, всего их около тридцати). Согласно электрической теории, память обеспечивают токи, непрерывно циркулирующие по замкнутым нейронным цепям. А какой-то неведомый блок по мере надобности перекодирует эти токи в слова и факты, зрительные и слуховые образы, понятия, движения и поступки. Простые знания хранятся короткими цепями — из трех, например, соединенных в цепь клеток. Более сложные — в длинной и прихотливой цепи.

Поскольку каждая клетка могла участвовать во многих цепях (у любого нейрона несколько тысяч контактов с соседями), то набор из миллиардов клеток был бы в состоянии, как показали расчеты, хранить все, что знает и умеет человек или животное.

Однако огромный круг вопросов эта теория не была в состоянии объяснить. Более того, отдельные факты противоречили ей настолько, что ставили под сомнение ее правдоподобие в целом. Прежде всего мозг требовал бы тогда гигантского расхода энергии. Этого нет. Но и не это главное. После сна, когда активность обширных областей нацело замирала, память, как известно, оставалась и остается в полной сохранности. Обмороки, потери сознания, сотрясения, наконец, нулевая температура (активность прекращается) и даже клиническая смерть (полное выключение питания, а следовательно, и деятельности нейронов) не причиняли памяти никакого ущерба.

В сороковых годах электрической теории был нанесен почти смертельный удар. Мозг рассекли серией разрезов, удалили значительную его часть. Электрические цепи памяти, существуй они на деле, были бы неминуемо и многократно разорваны. Память осталась прежней.

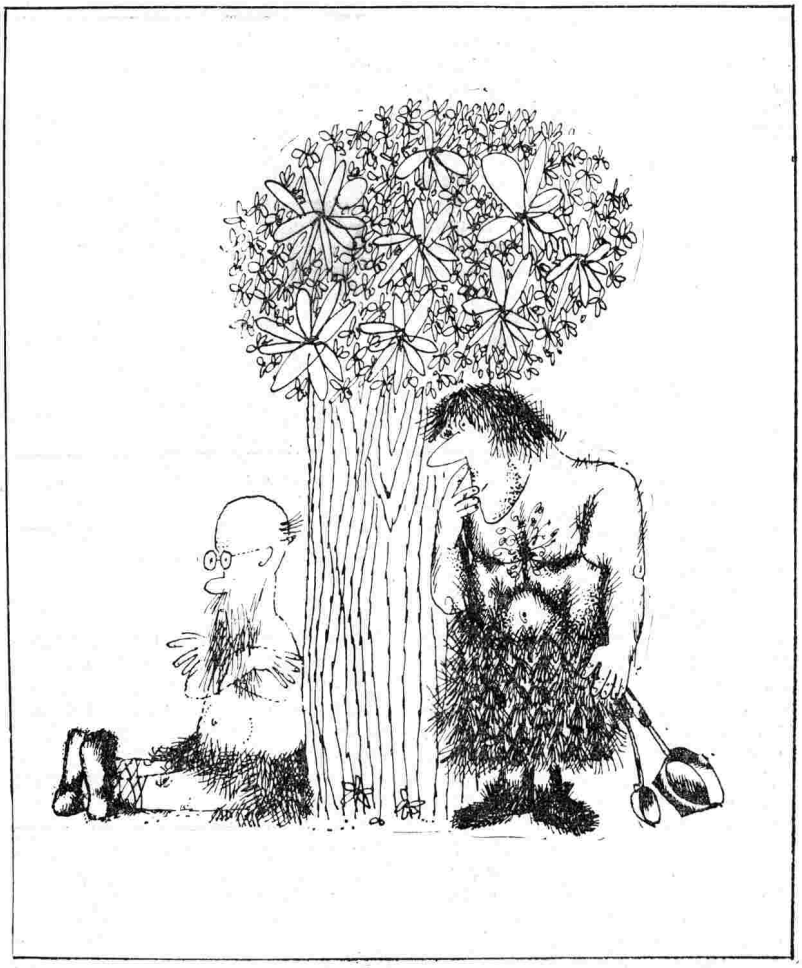
Не станем, однако, спешить с похоронами теории, над которой

работали талантливые и думающие исследователи. Новые гипотезы не возникают на пустом месте, без преемственности идей наука не двигалась бы вперед ни на шаг. (Что, кстати, всегда было косвенной уликой бесплодности теорий лысенковцев, попытавшихся зачеркнуть всю мировую генетику.) Сегодняшние предположения об устройстве памяти не отрицают вероятности временного циркулирования возбуждения по нейронным цепям. Но поиск уже двинулся глубже — на молекулярный уровень, к изучению составляющих нервную клетку белков.

Идея появилась где-то в пятидесятых годах, и сразу же к ней, как к центру кристаллизации, потянулись факты, накопленные другими исследователями. Идея говорила о том, что запоминаемая мысль как бы оплодотворяет нервную клетку, и в нейроне появляется новое, чисто материальное качество, носитель которого — то же вещество, которое принимает участие в накоплении и передаче наследственных признаков. Вещество это — рибонуклеиновая кислота (сокращенно РНК), один из сложнейших в природе белков. В процессе работы мозга она расходуется куда-то, образуется и разрушается, пружины ее молекул, свитые из составляющих (более простых белков), могут действительно хранить закодированную как-то информацию. А сложное сочетание электрических сигналов, таящее шифрованные сведения, изменяя молекулы РНК, переводит свое содержание уже на следующий — белковый язык. При воспоминании процесс этот течет в обратном порядке. Таким образом, на белковых молекулах (обильно содержащихся в нервных клетках), есть следы, отпечатки знаний, копию с которых небюрократический архив выдает по первому требованию механизма мышления. Никакая «засекреченность» неизвестна этому каталогу, а то, что мы забываем, благодетельно предусмотрено его устройством, иначе мозг захлестнуло бы потоком ненужно всплывающих сведений.

Автор гипотезы шведский исследователь Хиден разработал необычайные, тончайшие методы исследований. Он, например, в состоянии при необходимости извлечь из мозга неповрежденной одну-единственную нервную клетку! И взвесить ее на чуткой кварцевой нити (а вес крупных нейронов — стотысячные доли грамма).

Широкие контрольные опыты сначала то прямо, то косвенно



подтверждали идею Хидена. Крыс обучали ходить к еде по проволоке. В центрах, ведающих равновесием, не могла не появиться память о новых навыках. Анализ показал: состав белка в соответствующих структурах действительно изменился.

Было обнаружено, что образование и изменение РНК в нервных клетках протекает постоянно и быстро. Ввели вещество, разрушающее запасы РНК,— подопытные крысы частично потеряли память. Обучать их пришлось заново. А введение вещества-разрушителя еще до начала обучения сделало его невозможным.

Лет через десять подоспел изумительно красивый эксперимент. Его герои — маленькие плоские червячки — планарии, обитающие в прудах,— обладают лишь зачатками нервной системы, протянутой по их тельцу. Если разрезать червячка пополам, у головы вырастает вскоре новый хвост, а у хвоста — новая голова. Электрического укола червячок не любит: он сжимается и изгибается. А на свет подплывает ближе. Свет включали планариям одновременно с уколом. Через сотню совпадений червячки начали содрогаться только при включении света — у них выработался условный рефлекс.

А потом обученных червячков рассекли. И подождали, пока вырастут новые головы и хвосты. И обученными оказались не только планарии, выросшие из голов, но и те, что выросли из хвостов! Это значило, что следы памяти распределены по всей нервной системе.

Более того. Червячков, обученных сжиматься при вспышке света, мелко нарезали и скормили их «неграмотным» собратьям. (Планарии в отличие от высших животных усваивают молекулы белка, не расщепляя их на части.) И эти каннибалы, съевшие своих коллег, гораздо быстрее, почти сразу, обучились условным навыкам!

Ах, какой поднялся переполох!

Опыты эти то приветствовали, то опровергали. Они казались очень убедительным, почти последним подтверждением идей Хидена о носителе памяти — РНК. Но они (как и другие подтверждения) свидетельствовали лишь о том, что кислота эта принимает участие в механизмах запоминания, но хранитель ли она знаний? Вопрос остался открытым. А возможно, она лишь промежуточный носитель?

У других исследователей вдруг получились опыты, в которых образование РНК было искусственно почти полностью приостановлено, а обучение все равно совершалось и где-то оставляло следы. Созрел список вопросов-претензий: почему эти белковые молекулы, однажды изменившись, впредь ни на что не реагируют? И нелогично, неудобно как-то, чтобы в самих нейронах хранилась память,— это затруднило бы их текущую работу. А специальных нейронов-архивариусов нет, это доказано почти наверняка. И еще: как обеспечивает эта сложная система хранения не только легчайшее, мгновенное воспроизведение, но и механизмы предвидения — активное участие памяти в ежесекундной работе мозга? Ведь предложенная сложная, несколькоэтажная зашифровка — это для длительного, пассивного хранения. А стремительный механизм ассоциаций?

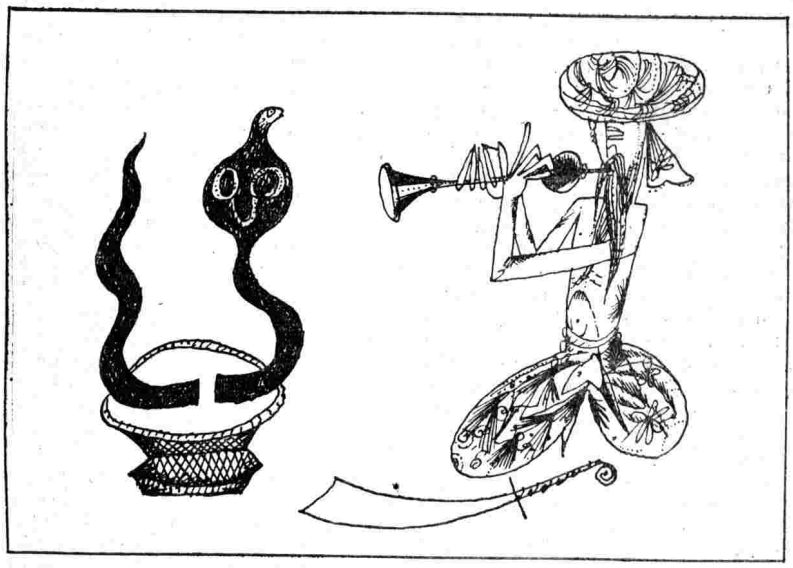
Проблема пока открыта. Над ее разрешением бьются сегодня ученые в нескольких десятках зарубежных и отечественных лабораторий. Находок физиков и биохимиков с нетерпением ждут инженеры — устройство памяти может подсказать им ценнейшие идеи организации хранения знаний в «памяти» вычислительных машин.

СУЩЕСТВУЕТ ЛИ ЦЕНТР?

Должен сразу же сообщить, что в ответ на этот вопрос сегодня следует отрицание, но поиски центра памяти или мест ее концентрации принесли науке открытия, представляющие большую ценность.

Умозрительные гипотезы древних ничего не дали. Греки делили мозг на три части, подобно храму правосудия, где в одном зале вели допрос, в другом взвешивали вину, в третьем приводили приговор в исполнение.

Так же был поделен и мозг. В первом отделении производился опрос свидетелей — сообщения органов чувств, и все сигналы ощущений поступали в первый отдел, традиционно ведающий бдительностью. Во второй области возникали рассуждения и мысли. Третье отделение направляло действия и поступки, тут и хранилась память.



Потом в исследованиях мозга был длительный провал, потом биология ждала приборов и точных методов изучения, и так получилось, что белое это пятно принялись штурмовать всерьез лишь в сороковых годах нашего века. Тутто и появился метод раздражения мозговых провинций слабым током через вживленные электроды, с наблюдениями за пациентом и с его расспросами.

Раздражение поступало на электроды, введенные в височные доли.

Больной сказал: «Я слышу пианино. Знакомый мотив». Другие вспоминали и вновь явственно слышали известные им песни, обрывки разговоров, мелодии оркестра. Были воспоминания и чисто зрительные, они ярко всплывали перед глазами. Лица друзей, вывески магазинов, целая цепь событий прошлого. Сознание не выключалось в этот момент: больной, знавший, что в данное время он находится в Москве, с удивлением слышал, как он вместе с приятелями громко смеется... на Дальнем Востоке.

Казалось бы, вот он, долгожданный центр памяти, хранилище всей жизненной информации, картотека магнитофонных лент, обрывки из которых удалось воспроизвести. Причем воспроизвести в правильном порядке, с верным течением времени.

Но увы! Удаление височных долей никак не сказывалось на памяти подопытных животных, поражение их почти не влияло и на память человека. Очевидно, височные доли — лишь ворота в кладовые памяти, какой-то пусковой или даже, возможно, прокручивающий узел этого архива. Но архив по надобности и необходимости может выдавать копии и по другим каналам.

И только одно очень четкое топографическое (или, если точнее, анатомическое) распределение памяти удалось установить с достоверностью: два полушария мозга— это два независимых хранилища одной и той же информации.

...Длинная камера кончается двумя расположенными рядом дверцами. На одной из них повешен квадрат, на второй — круг. За одной помещена еда, за другой ничего нет. Более того, толкнув вторую дверцу, кошка получает наказание. В таких условиях подопытные кошки довольно быстро начинают отличать квадрат от круга и, попав в камеру, безошибочно бегут к дверце, за которой еда. Если кошку учить этому различению, завязав ей один глаз, то потом (закрыв уже другой глаз) мы получим тот же результат. И это естественно: каждый глаз в состоянии получить о мире полную информацию и передать ее всему мозгу.

Но волокна зрительных нервов, направляясь от сетчатки глаза к

обоим полушариям, в одном месте встречаются и частично перекрещиваются. Это перекрестие, так называемая хиазма, было аккуратно рассечено вдоль. Теперь волокна от левого глаза шли только в левое полушарие, а волокна от правого — только в правое. Кошке закрыли левый глаз и научили ее отличать круг от квадрата, пользуясь одним правым. Казалось бы, полученные знания должны были попасть теперь только в правое полушарие, и левый, необученный глаз, в одиночку, при завязанном правом, не должен был отличить круг от квадрата (пути поступления навыков в его полушарие были ведь перерезаны).

Кошка как ни в чем не бывало отличала круг от квадрата любым глазом. Очевидно, полушария делились информацией по другим каналам.

Анатомы указали еще один возможный связующий мост — загадочное мозолистое тело, о котором до сих пор ничего не удавалось узнать. Мозолистое тело — это соединяющий два полушария мозга гигантский кабель, целый кабельный канал, состоящий из десятков миллионов отдельных нервных проводков.

Мозолистое тело было рассечено, кабельная связь прервана. И у кошки раздвоилось сознание! Теперь левый глаз, различавший с помощью своего полушария дверцу с едой от дверцы с наказанием, ничего не передавал в правое полушарие. И, развязав правый глаз (закрыв уже левый), кошку можно было научить противоположному делению дверок — теперь она «запоминала», что еда за той дверцей, где для левого глаза были лишь неприятности.

От кошек перешли к обезьянам. Точно такие же перерезки, и маленький макака в зависимости от того, какой глаз закрыт, обучается совершенно разным навыкам.

Ученые ставят сейчас перед собой цель воспитать в одной обезьяне две совершенно различные «личности» — с разными повадками, наклонностями, знаниями и характером. Уроки этих экспериментов, очевидно, позволят еще на шаг приблизиться к разгадке и возможному объяснению тех странных изменений человеческой психики, которые уже десятки лет психиатры описывали, даже не пытаясь истолковать. Ведь наше «я» — это память и характер. Прежде всего память. Есть наблюдения над больными, у которых это «я» раздваивалось.

В конце прошлого века один психиатр описал странную болезнь своей пациентки, некоей девицы Альмы. Когда ей исполнилось восемнадцать, вместо благовоспитанной, вдумчивой, много знающей и болезненной девушки появилась совершенно новая личность — бойкое и жизнерадостное, ничем не болеющее существо с ограниченным запасом слов, скудной памятью, но ясным и любознательным умом.

Превращение длилось несколько часов, впоследствии тянулось днями. Потом возвращалась прежняя личность — образованная и спокойная, часто болеющая девушка. Эта первая, основная личность ничего не знала о существовании второй. Время «прихода» второй обрывало течение времени у первой. Интересно, что вторая знала о первой как о самостоятельном существе и очень интересовалась ее жизнью!

Первая знала литературу, латынь, математику, философию — она получила регулярное образование. Она читала наизусть несколько поэм, помнила поэтические места из библии. Вторая ничего этого не знала, но страстно любила театр и музыку (первая была к ним более равнодушна) и с интересом читала книги, которые первая давно прочла.

Рассказанное — лишь иллюстрация к тому, как печально мало знаем мы еще о памяти. Расщепление личности — это прежде всего загадочное частичное разделение памяти. Но ведь память организует поведение, ибо архивы ее не только хранят знания и навыки, но и активно участвуют в выработке жизненных установок, моделей действий и поступков. Так не может ли одна часть памяти организовывать поведение ненормальное, а вторая — разумное? Бывает и такое.

Больная бесится в бреду, рвет на себе волосы, кромсает наволочки и простыни. Все это — левой рукой. Правая рука не дает левой буйствовать, хватает ее и удерживает. Больная глядит на свою правую руку с изумлением, она утверждает, что это не ее рука, что ее правая рука нормально висит вдоль тела и чуть заведена за спину. Часть плеча у самой шеи она называет плечом и рукой. Свою действительно правую руку больная ненавидит, она кусает ее, бьет и колет. Рука не чувствует боли. Правая рука живет совершенно отдельной, независимой жизнью и производит страшное ощущение самостоятельного разумного существования. Она пишет ответы на вопросы (сама больная отвечает иначе), именует себя в ответах Анной (больную зовут по-другому), беседует знаками, пишет письма и рисует, когда больная увлеченно говорит с врачом или даже когда спит (!).

Подобные паталогические случаи почти ничего не дают пока для изучения мозга; это какие-то случайные вехи с той дороги, на которую исследователи вступят еще очень нескоро, какие-то сложные капризы механизма в целом, а мы и о деталях-то говорим еще очень предположительно.

ЧЕЛОВЕК МАШИННОЙ ПАМЯТИ

Это было лет сорок тому назад. Репортер одной из московских газет сидел у своего редактора, внимательно выслушивая длинный перечень поручаемых ему дел и согласно кивая головой. Когда он уже собрался уходить, редактор вдруг спохватился.

— Шерешевский, вы же ничего не записали, вы все перепутаете,— досадливо сказал он.

Однако репортер слово в слово точнейшим образом повторил все, что ему говорили. Пораженный редактор посоветовал ему обратиться к психологам, чтобы поговорить с ними о его феноменальной памяти.

Наблюдения за Шерешевским и различные опыты над его памятью длились с тех пор свыше тридцати лет. У памяти не было границ!

Шерешевский свободно запоминал ряды и таблицы в сотни цифр, огромные количества слов и просто бессмысленных слогов. Он с легкостью запоминал стихи на незнакомых ему языках, без затруднений запоминал музыкальные мотивы. Все запомненное он быстро и точно воспроизводил в прямом и обратном порядке, от середины к началу и от середины к концу.

Его память была огромным хранилищем, где ничего никогда не пропадало и не портилось. Через десять, пятнадцать, двадцать лет его можно было спросить: «А вот помните, тогда-то?..» Шерешевский прикрывал глаза, водил пальцем по воздуху, говорил: «Одну минуту, погодите...» — и безошибочно восстанавливал полностью все детали и обстановку опыта или происшествия.

Он запоминал не так, как слышал или видел, память его была

образной: каждое слово, цифра, слог сливались для него с каким-то человеком или предметом. Люди эти стояли или ходили по большому городу и, когда Шерешевский шел по улице этого города, отделялись от стены и превращались для него в цифру или слог. Так эти «одушевленные» слова часто расстанавливались в его памяти по Москве вдоль улицы Горького вниз, начиная от Пушкинской площади. И, чтобы все вспомнить, ему достаточно было мысленно пройтись по улице вверх или вниз, и люди, предметы, просто цветные пятна становились вновь членами заполняемого им ряда слов, цифр, слогов незнакомого языка.

В силу такой фантастической памяти он обращал внимание на детали, мимо которых равнодушно проходили миллионы людей, отмечал в книгах крошечные несовпадения, которых обычно читающие люди заметить не в силах. Трудно сказать, какое количество людей читало Чехова, но только Шерешевский заметил, что в рассказе «Толстый и тонкий» на мальчике в начале рассказа была шапка, а в конце он уронил фуражку; что в рассказе «Хамелеон» герой один раз был одет автором в шинель, а потом в пальто. Может быть, кто-нибудь случайно и наталкивался на эти неувязки, а для мгновенно записывающей памяти Шерешевского это было страшное столкновение двух разных образов, возникших при чтении книги в его сознании.

Необычайная память основывалась еще и на том, что услышанные звуки имели в его восприятии вкус и цвет. «Какой у вас желтый и рассыпчатый голос»,— мог сказать он. Краски имели для него вкус. Вот что он говорит о дороге, которую прошел: «Там был такой зеленый и солоноватый забор».

Его удивительная память точно и по порядку фиксировала все подряд. Точно и по порядку... Эти-то слова и важны нам: его память работала, как современная запоминающая машина.

Он стал профессионалом-мнемонистом и запоминал, чтобы тут же воспроизвести, сотни и тысячи цифр и слов. Вот тогда-то и был проделан опыт, исчерпывающе показавший несовершенство самой емкой, но машинной памяти.

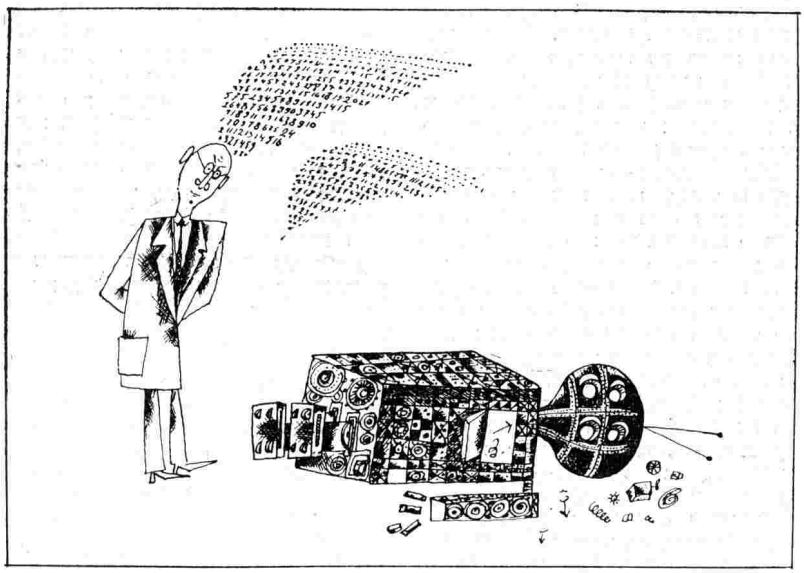
Шерешевский стоял у стола перед сравнительно большой аудиторией. Только что была прочитана лекция о памяти, и теперь демонстрировались его феноменальные способности. После однократного прочтения вслух очень длинного ряда случайных слов Шерешевский легко и быстро повторил весь ряд от начала к концу, наоборот и от середины в обе стороны. А потом аудиторию попросили вспомнить, какое из прочитанных слов (весь длинный ряд, конечно же, никто не запомнил) означало инфекционную болезнь.

В зале мгновенно поднялся лес рук. Обычная человеческая память, не запомнившая всех двухсот слов, услужливо вытолкнула на поверхность сознания только что услышанное — «тиф». Какие-то неведомые механизмы ассоциаций, словно крючком, точно вытащили требуемое из моря незапомненных слов.

А Шерешевский все еще стоял с характерно прикрытыми глазами и ищущими движениями рук. Он шел по городу точно запомненных им слов, ему надо было пройти весь ряд по порядку, чтобы натолкнуться на нужный образ! Потом он точно назвал слово.

Теперь мы можем смело говорить о памяти человека и машины, нисколько не боясь, что чисто количественные достоинства машины заставят нас хоть чуть-чуть усомниться в превосходстве человека.

Правда, временном превосходстве.

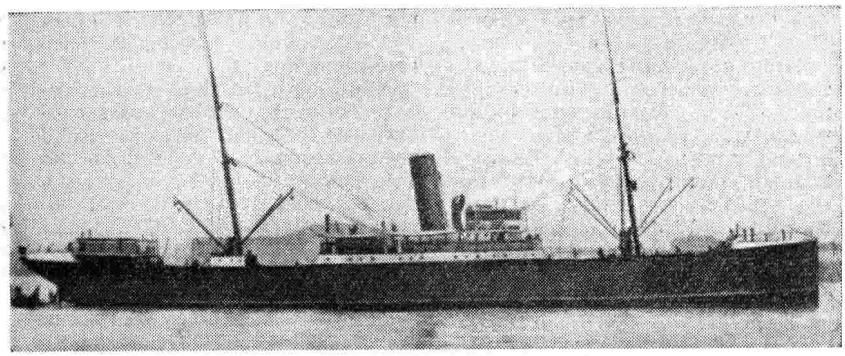


Существуют приблизительные расчеты, показывающие, что наша память в состоянии хранить такое же количество информации, какое заключено в двух миллионах книг среднего размера. Мы просто не пользуемся, вернее, не умеем использовать полностью гигантские резервы своего мозга. Так называемое развитие памяти (для которого существуют десятки способов и методов тренировки) — это, по-видимому, не улучшение памяти, а лишь реализация уже заложенных в нас способностей.

Поэтому у исследовательской темы «Память» есть, кроме чисто познавательной, еще, как минимум, две цели: умение заполнять кладовые знаниями с постоянной возможностью извлекать их по первой необходимости и вторая — передача вычислительным машинам конструктивных особенностей этого изумительного архива. У человека есть какие-то ключи, выборочно, а не по порядку открывающие залежи знаний. Механизм ассоциаций! Непонятные пока, поразительные броски разума — основа мышления и творчества. А машина способна только перебирать длинные ряды своих записей — это столь же далеко от мышления, как умение считать — от интуиции гениального математика.

Сколько времени займет у человечества заполнение этого пробела, сказать очень трудно. Но порукой и залогом обязательного успеха служит тысячная армия сегодняшних исследователей мозга. Находимые ими факты и закономерности — кирпичики, из которых не может не вырасти здание.

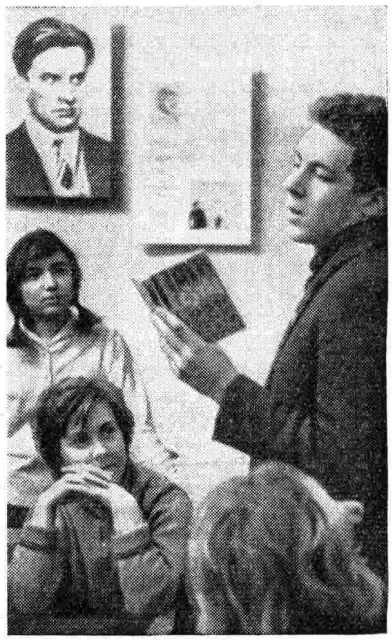


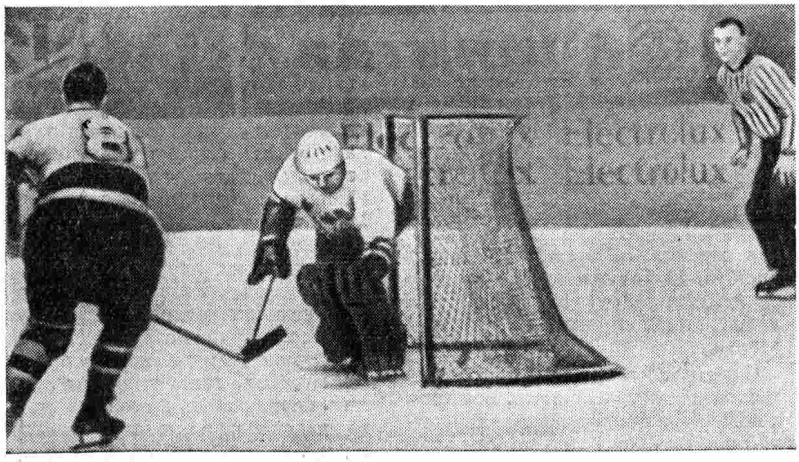


Слева — капитан А. П. Бочек, вверху — его «Кишинев» («Первый рейс под красным флагом»).

На снимке справа: поэты-старшеклассники за своим зеленым столом («Зеленые поэты»).

Внизу кадр из фильма «Хоккей-66» («Размышления после финиша»).







ЗАМЕТКИ И КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

ПЕРВЫЙ РЕЙС ПОД КРАСНЫМ ФЛАГОМ

Эту историю времен гражданской войны мне рассказал старый капитан Александр Павлович Бочек.

Он и его товарищи чудом ушли тогда из занятого белогвардейцами Владивостока. Их преследовали. Машины «Кишинева» работали с полной нагрузкой, и капитан выиграл эту гонку и привел корабль в Китай. Туда, в Циндао, посыпались грозные телеграммы белогвардейского правительства: «Немедленно вернуться во Владивосток! В случае невыполнения — расстрел». Но затем телеграммы стали приходить из Токио, Парижа, Лондона. И текст их был уже совсем иным: «Ни в коем случае во Владивосток не возвращаться!».

Когда «Кишинев» вернулся в освобожденный от врага владивостокский порт, его встречал весь город. На мостике под развевающимся красным флагом стоял двадцатишестилетний капитан Александр Бочек.

А через несколько дней Советское правительство послало «Кишинев» с важным грузом в китайский порт Чифу. «Будь осторожен,— предупредили капитана,— возможны любые провокации». Бочек стал первым на Дальнем Востоке капитаном, который повел корабль за границу под красным флагом. Шел 1922 год.

Этот рейс надолго запомнился Александру Павловичу. Едва он привел «Кишинев» в Чифу, по городу разнеслась весть: в порту корабль большевиков! На причале собралась толпа рабочих. Они оживленно жестикулировали, показывая друг другу на красный флаг.

Скоро сквозь толпу протиснулись солдаты. На корабль явился вооруженный конвой и приказал снять флаг. Бочек ответил категорическим отказом, живая стена матросов встала у мостика. Конвою пришлось убраться.

А через несколько часов в городе, как по команде, остановились все заводы. Ликующая толпа рабочих заполнила причал. До сих пор помнит капитан эту толпу, как бы слившуюся в едином могучем крике: «Ле-нин! Ле-нин! Ле-нин!»

Под красным флагом, впервые поднятом на мачте «Кишинева», капитан Бочек побывал во многих морях и странах. Он зимовал во льдах Арктики, первый перегонял морем в девятибалльный шторм легкие речные суда, спасал «Челюскин», воевал с фашистами. А попрощавшись с морем, он основал в Москве постоянную выставку «Морской флот СССР».

А. РАЗИН

РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ФИНИША

Первый Всесоюзный фестиваль спортивных кинофильмов, посвященный 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, который финишировал в самом конце прошлого года, вызывает у нас, работников кино, немало раздумий. Начну с проблемы сценария, ибо я убежден, что без интересного сценарного замысла не может быть создан настоящий спортивный фильм.

Золотую медаль фестиваля получил учебный фильм «Техника лыжника-гонщика» (режиссер В. Сутеев, сценарист И. Прок). Авторы фильма отказались от ложной занимательности. Ведь юные лыжники, для которых этот фильм предназначен, будут искать в нем секреты техники. И режиссер позаботился, чтобы эти секреты были понятны каждому.

Документальный фильм «Хоккей-66» (режиссер А. Рыбакова) получил серебряную медаль. Фильм о хоккее снимался без предварительного сценария, и, как правило, подобные фильмы получаются сугубо информационными. Но операторы В. Киселев, А. Кочетков, Р. Петросов вместе с режиссером, а также автором текста П. Михалевым сумели уже в процессе монтажа фильма найти его драматургию. Вот как был решен один из основных эпизодов. Кто-то из хоккеистов еще до поездки в Югославию спросил Владимира Викулова — молодого игрока сборной команды: «Скажи, а что ты сделаешь, если выйдешь один на один с непробиваемым Мартином — вратарем канадцев?» Викулов ответил: «Попробую бросить шайбу». И вот мы видим Викулова, обещающего бросить шайбу, а затем и его бросок по воротам Мартина...

Спортивному фильму противопоказана иллюстративность. Возьмем, к примеру, широкоэкранный цветной фильм «Горы зовут». Там много эпизодов, между собою никак не связанных, и уже не спасает ни цвет, ни широкий экран. Для широкого экрана нужна также и «широкая мысль». Локальность темы — главное. Обо всем — это ни о чем! Главный герой спортивного экрана — человек. Режиссер Т. Золоев, автор фильма «Гимнаст», по-моему, очень удачно снял скрытой камерой Сергея Диомидова. Да, спорт требует таланта, но и кино о спорте — тоже.

Золотую медаль за лучший документальный фильм жюри фестиваля присудило фильму «Люди над облаками». Когда я смотрел его, то вспомнил, как несколько лет назад я летал на реактивном самолете, снимая воздушный парад. Надо было сделать десятки вылетов, чтобы снять крупные планы летчиков, мастерство пилотажа. Как все это было сложно! Но, посмотрев работу оператора Сергея Киселева, я убедился, что те мои съемки — это «игрушки» по сравнению с тем, что сделал Киселев. Камера весит свыше 11 килограммов — она закреплена на голове оператора, да еще отдельно от камеры аккумуляторы, и вот со всем этим «хозяйством» нужно прыгнуть, не раскрывая парашюта, «подойти» в воздухе к группе парашютистов, которые находятся в свободном падении, и снять крупные планы. Триста прыжков сделал Киселев, чтобы зритель на семь-восемь минут вознесся за облака и был как бы рядом с оператором. Жаль только, что сам Киселев и техника его съемок мало показаны в фильме. Зрители спрашивали: «А как это снималось, где был оператор?»

За героев спортивных фильмов слишком уж часто у нас говорят дикторы. Куда интереснее, когда спортсмен сам расскажет о себе, может быть, даже с юмором. Зритель хочет видеть на экране живого человека, а не придуманную схему.

Смелости, остроты видения, поисков новых форм хочется пожелать всем кинематографистам, которые работают над спортивной тематикой.

Михаил ОШУРКОВ,
заслуженный деятель
искусств РСФСР,
член жюри фестиваля

ЗЕЛЕНЫЕ ПОЭТЫ

Я очень люблю свою работу. А работа моя состоит в том, что я руковожу литературным клубом старших школьников «Дерзание». Адрес клуба: Ленинград, Невский, 39, Дворец пионеров.

Каждое утро я прихожу во Дворец к одиннадцати часам утра. И с сожалением ухожу в девять вечера.

В первой половине дня ребят почти нет. Они появляются примерно часов с трех. И не только те, у кого сегодня кружки. Приходят просто так, «на огонек». Один забежит сказать, что в книжной лавке продают Бориса Корнилова в «Большой серии». Другой — что в Кемерове издали Бабеля. И тут же запишет мне в календарь адрес кемеровского ма-

газина «Книга — почтой». Третий ворвется, размахивая «Новым миром»: «Искандера читали? Потрясающе!»

Вот тут-то и начинается мой настоящий рабочий день.

К четырем на работу приходят педагоги. Собираются на занятия кружковцы: юные поэты, прозаики, журналисты, критики. Должен похвастаться, что наши поэты и журналисты хоть редко, но уже печатаются. И в ленинградских изданиях и в Москве. А вот прозаики и критики видят свои произведения пока только в клубной газете.

Есть в клубе и кружки новинок советской и зарубежной литературы, любителей научной фантастики, литературы и искусства. Нет, к сожалению, кружка русской литературы. Мы несколько раз пытались создать такой кружок, но старшеклассники в него не идут, говоря, что в школе их достаточно «пичкают классиками»! Мы все же надеемся, что создадим этот кружок: у нас есть педагоги, которые ищут пути преодоления схематизма школьной программы.

Каждую неделю у нас бывает праздник. Он называется «литературная суббота». И ведет свое начало еще от Василия Андреевича Жуковского, одного из бывших жильцов Аничкова дворца, в котором ныне квартируем мы.

Жуковский был организатором первых в России «литературных суббот». Сейчас клубный актив устанавливает дату самой первой субботы. Кажется, вскоре мы сможем провести грандиозный праздник — 150-летие первой «литературной субботы».

Преобладающий цвет в клубе — зеленый. Естественны ассоциации: цвет надежды, зеленая поросль. Большой стол на 24 персоны, за которым занимаются старшие поэты, покрыт скатертью зеленого сукна. Как пишет десятиклассник Гена Григорьев:

Вокруг зеленого стола
Зеленые поэты...

Сегодня еще зеленые, а завтра?

Алексей АДМИРАЛЬСКИЙ

●

БЫЛ ЧАС ОБЕДЕННОГО ПЕРЕРЫВА...

Динамик прохрипел, что погода нелетная, что ближайший рейс отменяется. Пилоты направились в аэропортовский профилакторий; какие-то пассажиры из числа любителей достопримечательностей стали выяснять, сколько времени требуется, чтобы съездить к знаменитым Красноярским Столбам и хотя бы бегло их осмотреть; я же, раздосадованный задержкой, побрел в ближайший магазин за сигаретами.

— Нет сигарет,— сказала мне продавщица, но затем заглянула под прилавок и с извинениями протянула пачку «Памира»: дескать, не успела еще разобраться в ассортименте.

— Недавно работаете? — спросил я.

— А вы разве не слышали, что у нас здесь случилось?

И я узнал, что магазин пытались ограбить двое вооруженных бандитов, но заведующая продмагом № 2 города Красноярска Анастасия Лихоузова и продавщица Вера Ефимова оказали грабителям сопротивление. Очередь оживилась, каждый хотел рассказать мне подробности:

— Вера-то, кнопка у нас, из-за прилавка не видно, а вот поди ты...

— Представляете, он пистолет держит, а Настя как хрястнет его промеж гляделок!..

Мне рассказывали, как замечательно работали обе женщины, какой деликатностью в обращении с покупателями они отличались — дай бог, дескать, чтобы все были такими, кто по торговой части. И я понял, что мне повезло с нелетной погодой, что самое спешное теперь для меня дело — ехать в больницу, где лежат сейчас Анастасия и Вера.

Дежурному врачу пришлось обещать, что я пробуду в палате не более десяти минут. И действительно, я увидел две забинтованные головы, и пришлось мне сдерживать свой репортерский азарт, пришлось ограничиться самыми необходимыми вопросами.

Что же произошло в тот день в магазине, которым заведует Анастасия Лихоузова? Близился час обеденного перерыва, и уборщица уже закрыла дверь, когда эти двое постучались.

— Открой, Минахметовна,— сказала Лихоузова уборщице.

Завмаг не знала, что эти двое и их сообщник, оставшийся на улице, тщательно продумали «операцию» — учли даже, что в этом магазине откроют дверь покупателю и в обеденный перерыв.

— Что вы хотели? — спросила мужчин Лихоузова.

— Разливного вина,— сказал один из них и протянул десять рублей.

— С вас рубль двадцать две,— сказала Анастасия.

— И еще двести грамм любительской колбасы тогда...

Тут второй спросил своего приятеля:

— Хлеба нам не надо?

Лихоузовой показалось, что этот второй словно хотел сказать что-то другое, и она даже подумала: может, неверно сдала сдачу с червонца? Но тут этот мужчина, откинув крышку прилавка, бросился в подсобное помещение, где находилась Вера.

— Это еще куда! — крикнула Анастасия, но первый покупатель уже тоже был за прилавком и наводил на нее пистолет: «Тихо!».

Она лихорадочно думала: что делать? Рвануться в «подсобную», где телефон? Или не подпускать его к кассе? И совершенно неожиданно для грабителя Настя ударила его по лицу, а затем выбила у него пистолет. Но тут же она сама получила такой удар, что упала. Грабитель бил ее ногами, душил, пытался заткнуть рот, но она еще громче кричала, звала на помощь. Безоружной женщине удалось сбить с ног здоровенного грабителя, тогда он пустил в ход финку... Истекая кровью, завмаг продолжала защищать кассу...

Уборщицу бандиты заставили лечь на пол, а тот, второй, что проскочил в «подсобную», бил Веру, пытавшуюся дотянуться до телефона, бутылкой по голове. Но, высадив стекло, Вера выпрыгнула в окно и побежала в штаб народной дружины аэропорта. Вырвалась на улицу и Лихоузова и стала звать прохожих на помощь.

Преступники были уже задержаны, но завмаг позволила себя отвезти в больницу, лишь сдав ключи от магазина прибывшему эксперту.

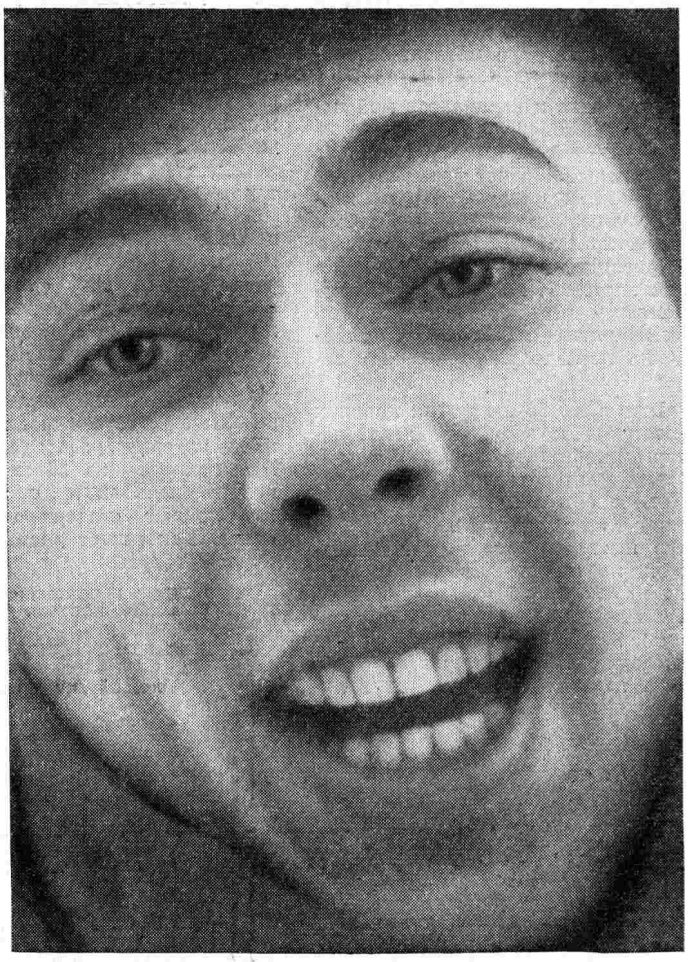
Прощаясь, я спросил у двадцатилетней Веры Ефимовой, которая пошла работать в магазин сразу по окончании школы:

— Нравится вам профессия продавщицы?

— Завмаг у меня хороший,— сказала Вера.— С таким завмагом не пропадешь.

А. ТИТОВ

ДЕБЮТЫ



Владислав Пьявко:

«Середины быть не может»

Фото Нури Шейх-Заде

В конце прошлого года стажер Большого театра Владислав Пьявко спел партию Пинкертона в опере Пуччини «Чио-чио-сан». Сейчас молодой артист — Владиславу двадцать шесть лет — готовит партии Хосе в «Кармен» и Альфреда в «Травиате».

— Каков был ваш путь, Владислав, на сцену Большого театра? — обращаюсь я к артисту.

— Иные думают, что судьба артиста со дня рождения предрешена талантом. Я, например, начиная петь, не предполагал в себе таланта большего, нежели он мог обнаружиться у ротного запевалы...

В Москву я приехал в шестидесятом году из Норильска. Позади была школа рабочей молодежи, работа токарем, шофером, кинохроникером, служил в армии. Я приехал в Москву, чтобы стать драматическим актером, но ни в Щукинское училище, ни в Щепкинское, ни во ВГИК меня не приняли. Наконец, я прошел три конкурсных тура в ГИТИСе (Государственном институте театрального искусства) и был зачислен на отделение музыкальной комедии.

Меня приняли вовсе не с целью сделать певцом. И на вступительных экзаменах да и потом, уже в процессе занятий, больше внимания уделялось актерскому мастерству, танцу. Диапазон моего голоса в ту пору был невелик, зато я с увлечением играл Арбенина в «Маскараде», Рогожина в «Идиоте»... Я не хочу, чтобы вы подумали, что я отдаю предпочтение актеру одного плана перед другим. Но, как говорится, «каждому свое», и это я почувствовал позднее... Тогда же в звании драматического актера для меня было заключено все! Я был на седьмом небе, когда наш руководитель Борис Александрович Покровский сказал: «Вы можете стать актером!»

— А как же с пением?

— Научите хоть петухом его петь, научите...— просил Борис Александрович педагога, занимавшегося моим голосом. В то время мой голос удостаивался примерно таких отзывов: «Гнусный тембр!», «Слушается не без содрогания!». И, что было еще хуже, я не раз слышал в своей адрес: «Его надо

исключить!» Дело в том, что конституция моя необычная: легкие — огромные, глотка — басовая, связки — баритональные, а нёбо твердое — высокое, теноровое. Поработай с таким аппаратом!..

Я мирился со своим положением «гадкого утенка», хотя все больше ощущал потребность не только играть, но и петь!

Под постоянной угрозой исключения я дотянул до второго года пребывания в ГИТИСе и тут попал в руки большого знатока вокала, преподавателя Сергея Яковлевича Ребрикова. Я не удивился, прочитав аттестацию, данную мне новым учителем: «Природа голоса не установлена, так как фактически певческого голоса нет». Я подумал: лишь бы не исключили! — и внимательно стал прислушиваться к советам Сергея Яковлевича. А советов на меня посыпалось великое множество! Часами, к примеру, я должен был выпевать бесконечное «а-а-а», получавшееся у меня поначалу как «э-э-э», и казалось, ничего у меня вообще не получится...

— Мне рассказывали, что на третьем курсе вас вновь хотели исключить из института...

— Да, но Сергей Яковлевич меня отстоял. Если на втором курсе меня дважды отстаивал наш художественный руководитель Борис Александрович Покровский, ссылаясь на мои актерские успехи, то на этот раз Сергей Яковлевич заверил кафедру, что голос у меня есть и я должен запеть, и чуть ли не дал в том расписку. Сергей Яковлевич верил в меня, и я работал, как вол: утром, вечером, днем — пел, пел, пел... Не скоро, этому еще помешала боязнь, я добрался до «ля» первой октавы, а через полгода стал брать и на полтона выше — «си бемоль». Теперь я уже мог петь арию Фредерика из «Арлезианы», Каварадосси из «Тоски»...

Как-то на прослушивании мной заинтересовался один из гостей, приглашенных в институт. «Такого сильного и красивого по тембру драматического тенора,— сказал он,— я не слышал».

Я был потрясен, узнав, что сказал это не кто иной, как Павел Федорович Холодков — баритон бывших императорских театров, солист «Ла Скала», сценический партнер Шаляпина, Неждановой... Старый артист заинтересовался, есть ли у меня верхнее «до», и все поспешили его уверить в том, что, мол, «до» у молодого человека есть... А я до верхнего «до» еще не дотягивал... И я еще нещадней взялся за работу, и злополучное «до» у меня наконец-таки получилось.

В «Свадьбе в Малиновке», в нашем дипломном спектакле, певческую партию мне не дали, роли распределялись на четвертом курсе, когда настоящего певческого голоса у меня еще не было. Я не огорчился и с удовольствием сыграл в «Свадьбе» хороший эпизод. Но надо было думать, куда я пойду после окончания. Как ни странно, но я хотел только в оперу. Съездил в Киев, в Минск, побывал в Баку и предложил себя этим оперным театрам в качестве стажера. Я почти устроился... Был доволен мною и Сергей Яковлевич, и мы оба ждали того дня, когда я наконец начну самостоятельную жизнь. Но тут меня послушала артистка Юнона Дмитриевна Столярова, и я опешил, когда она сказала: «Надо пробовать в Большой...»

День первого тура. Триста кандидатов на шесть вакантных мест. Конкурс проходит в так называемом «бетховенском зале», совершеннейшую акустику которого клянут многие неудачливые кандидаты. Кто-то поет несколько вещей; кто-то всего-навсего одну; я не успел допеть своего Фредерика до половины... «Хватит!» — сказали мне из жюри... Только что я удивлялся чистоте каждой выпеваемой мною ноты, и вдруг... «Надо исключить! Надо исключить! Надо...» — зазвенело в моих ушах. Я выбежал из «бетховенского зала»...

Этот день — 27 мая — я никогда не забуду. После того, как, выбежав из зала, я стоял и думал, стоит ли дожидаться решения жюри, ко мне подошла участница высокого суда — Галина Павловна Вишневская. Ей мой голос понравился!

Я пел и во втором туре и в третьем.

В четвертом туре петь предстояло с оркестром. Я думал, как услышу оркестр: весь в целом или каждый инструмент в отдельности? Петь с оркестром мне еще не доводилось. И вот я вышел петь арию Турриду из «Сельской чести» Масканьи. Когда начал оркестр, когда вступил я, держался ли я оркестра или было наоборот, не помню...

Осенью 1965 года театр начинал свой 190-й сезон, а я — первый. Меня сразу же заняли во многих спектаклях, но все роли были, естественно, в несколько певческих фраз: стрелецкий начальник в «Хованщине», гонец в «Аиде», рыбак в «Октябре», Искра в «Мазепе»... Но с этой же осени я стал готовить партию Пинкертона в опере «Чио-чио-сан», в этом мне много помогли и Галина Павловна Вишневская и Сергей Яковлевич Ребриков, не оставляющий меня своими заботами и участием. И вот 17 ноября 1966 года — прогонная репетиция, 22-го — генеральная, 26-го — премьера...

— Да, ваш путь на сцену действительно необычен...

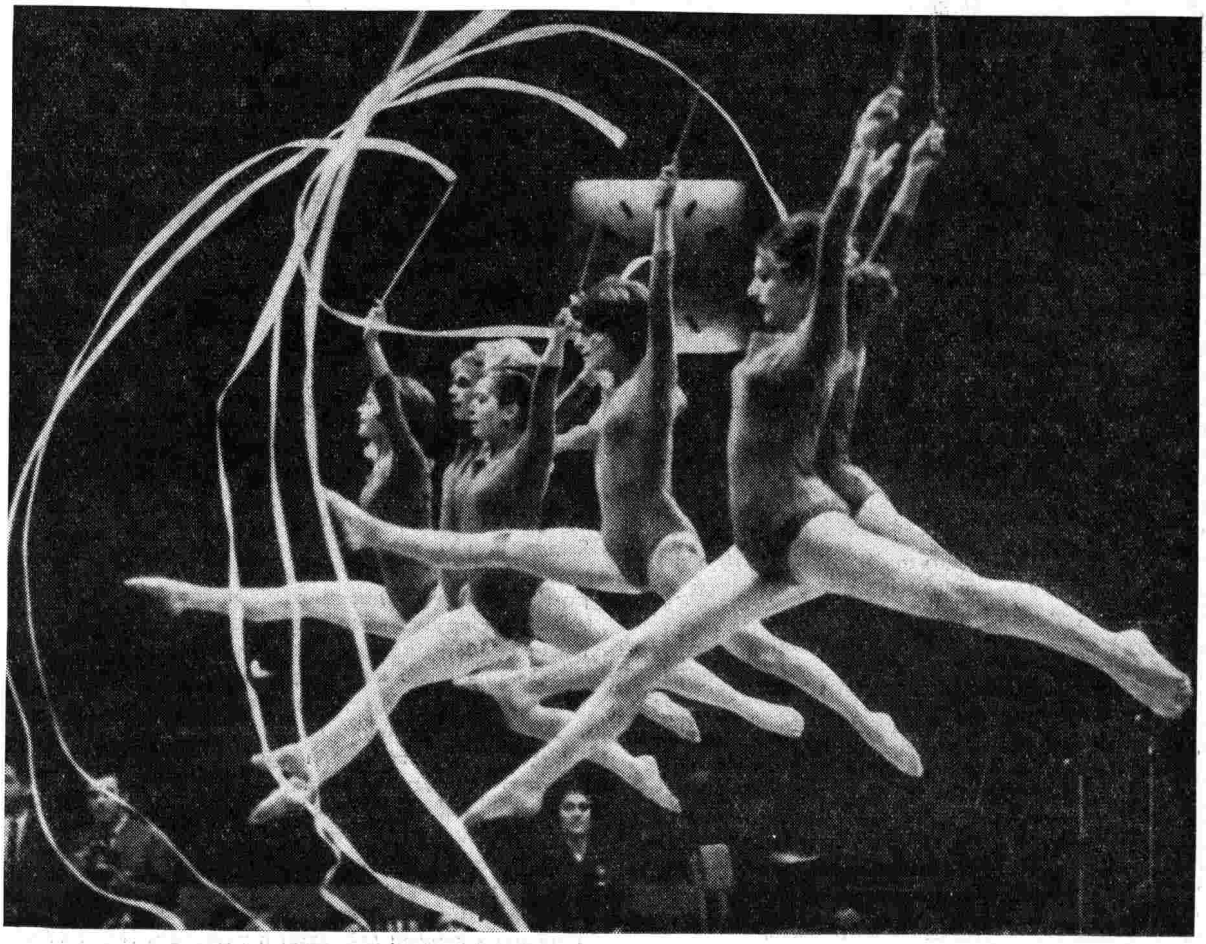
— А может быть, и обычен, поскольку для каждого певца, для каждого артиста путь на сцену всегда труден. Я понял одно: искусство актера-певца — это огромный труд. И это искусство, как и любое другое, не терпит равнодушия, порождающего безрадостное ремесленничество. Только упорство в работе над собой ведет к настоящему успеху на сцене. Середины быть не может. С этой ступеньки или съезжаешь вниз, или восходишь наверх.

— Расскажите о работе над ролью Пинкертона.

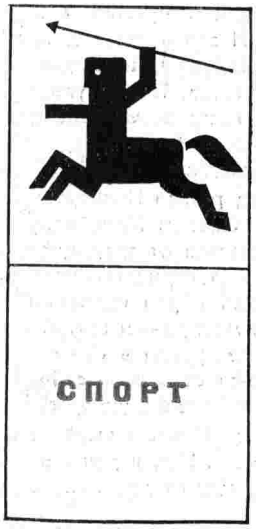
— Вместе с режиссером Олегом Михайловичем Моралевым мы решили отказаться от традиционной трактовки Пинкертона как чисто отрицательного героя. Ходульный отрицательный образ сделать проще простого. Одной краской мазнул — и все. А сейчас я работаю над партией Альфреда в «Травиате». Дюма перечитываю, ищу что-то созвучное себе. Хочу сыграть не мелодраму, а человеческую трагедию.

На оперной сцене как часто бывает: выходит лирический тенор и начинает петь. Нет, в душе я драматический актер и к вокалу иду от драматического образа.

Интервью вёл Нури ШЕЙХ-ЗАДЕ.



ТЫ ВЫХОДИШЬ НА КОВЕР...



Станислав Токарев



Фото Евгения Волкова. ■

Сложилось так, что, как журналист, я многие годы связан со спортивной гимнастикой. Люблю ее и, хочу верить, знаю. И когда смотрю соревнования по гимнастике художественной, ловлю себя на том, что чего-то мне постоянно не хватает. Вот музыка звучит, вот девушка в традиционном купальнике исполняет одно па, другое, прыжок, виньеточку танцевальную... Да скрути ты, милая, хоть сальто, ну, не сальто, пусть простенький фляк...

Постой, перебиваю себя, постой. Художественная — верно ведь? От балета пошедшая. Не от классики, скажем, но от пластических этюдов Айседоры Дункан и ее босоногих последовательниц! А смотря балет, ты разве ждешь, чтобы преподнесли тебе акробатический трюк?

Легче легкого, проще простого с важным видом рассуждать о том, чего не знаешь. Ну, скажем мягче, «недостаточно знаешь». Этот грех людям моей профессии порой свойствен.

Запасаюсь карандашом и блокнотом, сажусь в троллейбус и отправляюсь проводить.

ИНТЕРВЬЮ ПЕРВОЕ —
С МАРИЕЙ ВАРТАНОВНОЙ ЛИСИЦИАН,
ЗАСЛУЖЕННЫМ ТРЕНЕРОМ СССР:

— Очевидно, само слово «художественная» предполагает особую близость вашего вида спорта к искусству. Не так ли, Мария Вартановна?

— Конечно.

— А в чем конкретно эта близость выражается?

— В неразрывной связи с музыкой. Музыка — основа комбинации. В том, что мы используем ряд танцевальных элементов. В том, что учим спортсменок правильно понимать музыку и отражать, доносить до зрителя настроение музыкального произведения.

— Можно ли в данном случае говорить о создании средствами спорта некоего художественного образа? Приведу пример из спортивной гимнастики. Вспомните время расцвета Ларисы Латыниной и Полины Астаховой. На ковре для вольных упражнений обе эти гимнастки не только максимально раскрывали собственное «я», но и воплощали две, если хотите, грани женского, вообще человеческого характера. Латынина — мажор, веселье, неиссякаемый оптимизм, Астахова — светлую печаль. Радость и грусть были образами, я бы даже сказал, спортивными амплуа Латыниной и Астаховой.

— Вы говорите о самовыражении в спорте? Это верно. Таня Кравченко, когда пришла в секцию, показалась мне девушкой мечтательной, склонной к лирике, но потом я ощутила в ней и задор, и темперамент, и экспрессию, и мы сделали упражнение со скакалкой под мелодию «Тачанки» Листова. А с Людмилой Савинковой мы пробовали и более сложные комбинации составлять: допустим, «Полишинель» или этюд Скрябина. Я предложила ей представить себя плененным бойцом — это начало, медленная часть. Руки Людмилы скрещены за спиной, словно связаны. А дальше — борьба! Распрямление! Торжество сил добра — апофеоз!









Такова художественная гимнастика:
слева вверху — групповое упражнение с лентами,
внизу — Людмила Савинкова с мячом,
справа — произвольная композиция без предмета Лилии Лавровой.

...И такой был тарарам!

На меня жаловались самому высокому начальству. Доказывали, что все это не имеет никакого отношения к спорту, что спорт — это баллы, это борьба за первенство, а никакой не театр... Одно знаю: чтобы твои движения были не формальными, а одухотворенными, надо выносить на ковер не заботы о своих и чужих оценках, не мелкие опасения и страхи, но высокую творческую наполненность и радость.

— Как же разрешить этот конфликт искусства и спорта?

— Не знаю. Наша художественная гимнастика уже вышла на международную арену, от нас требуют так называемой «отдачи», требуют побед. Приходится сдерживать себя, ищешь в музыке нечто безопасное, бессюжетное, танец какой-нибудь...

— Я понимаю вас. Иной раз журналисту тоже углы обходить приходится... Но согласитесь, Мария Вартановна, чтобы найти подходящие для спортсменки музыкальные и гимнастические краски, тренер должен проникнуть в человеческую ее суть.

— Да, конечно. У меня есть девочка-перворазрядница Галя Левкина, веселая, бойкая, озорная. У нее к упражнению подобрана быстрая юмореска. Ставила, кстати, Савинкова. А в середине музыкальной пьесы — медленный кусочек. И мы Гале так объяснили: «Вообрази, что ты петрушка. Ты даешь представление на площади, веселишь народ. И вдруг загрустил, вспомнил что-то свое, личное. А веселить-то надо. И опять пустился в пляс». И вот другая девочка есть в секции — Лена Карпухина. Очень физически одаренная девочка, очень. Но никак не раскроется эмоционально.

— А что значит «раскрыться эмоционально»?

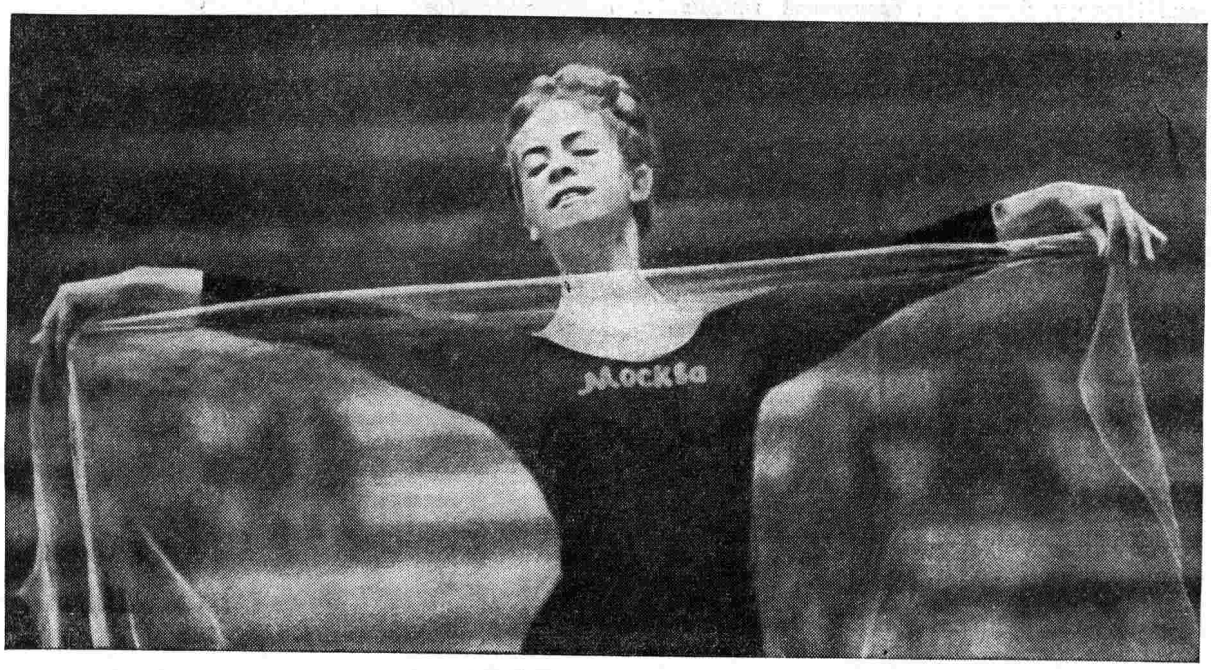
— Я им так объясняю: «Вот ты бежишь — просто бежишь, как в легкой атлетике. Быстро, хорошо. Но невыразительно. А ты представь, что против ветра, наперекор ему, ты распахнись...» Но, видите ли, легко работать, когда спортсменка приходит на тренировку внутренне наполненная, а когда пустая, когда с каменным лицом, и все движения чисты, но без души...

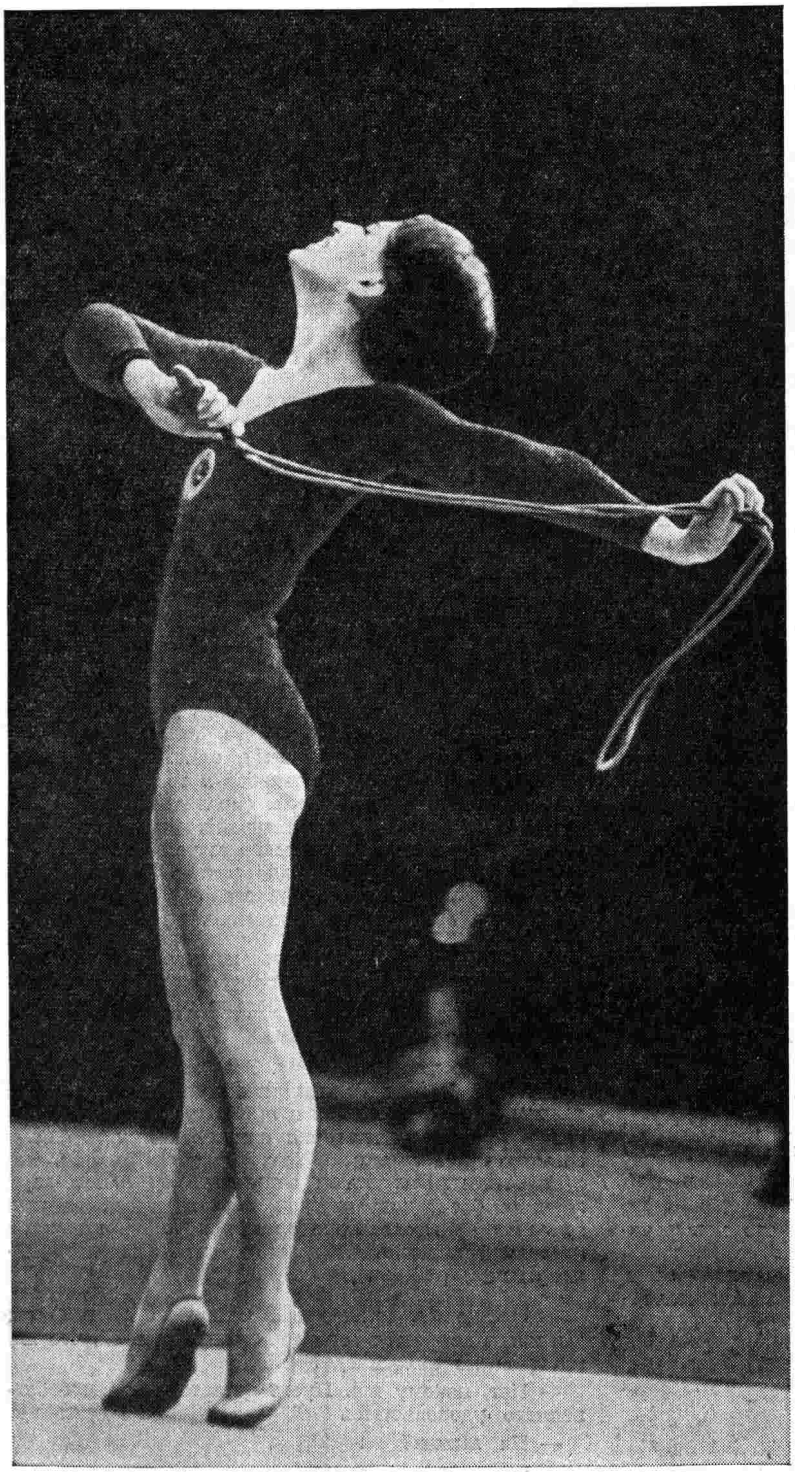
— Извините, но я опять приведу пример из спортивной гимнастики. Много лет я видел (и знал почти наизусть!) точную, четкую, чеканную комбинацию Полины Астаховой на бревне. Но вот однажды эта комбинация меня потрясла. В прежнюю форму было вложено вовсе новое содержание. Верите ли, то, что я увидел, было очень красиво и очень печально. Именно печально — грустная-грустная песня без слов и без музыки среди мертво молчавшего переполненного зала. Много позже я узнал, что в тот вечер Полине было от чего грустить.

— Думаю, что Астахова, мастер высочайшего класса, сумела вплести в ткань комбинации свою печаль и украсить ею выступление. Это доказывает лишь, что спорт вообще, гимнастика в частности (а наша, художественная, добавлю, в особенности) способны отражать самые разные оттенки человеческих настроений. Не только радость и бодрость, но и грусть — не будем обеднять палитру. И гнев. И страсть. Целую гамму настроений.

— Однако, Мария Вартановна, как же так? Несколько минут назад вы убеждали меня, что теперь, после «тарарама», вы стали сдерживать себя, искать в музыке нечто «бессюжетное и безопасное», а мы с вами только и говорим о передаче характеров и образов средствами гимнастики?

— С собой трудно спорить. А потом главное все же надо отделять от сиюминутного. Как быть, коли сложилось так, что многие из основных наших зарубежных соперниц сегодня склонны больше работать





Любимые ученицы
Марии Вартановны Лисициан:
со скакалкой Людмила Савинкова,
с шарфом (с л е в а) — Татьяна Кравченко.

над чисто спортивной техникой и гораздо меньше над художественным выражением музыки?

— Так как же быть?

— А так. Своего не забывать. Нажитого. Нельзя транжирить богатство! Нельзя забывать о главном ради сиюминутного. Вы понимаете?..

— Скажите, а справедливо ли утверждение, что именно художественная гимнастика близка женщине, как никакой другой вид спорта?

— Двух мнений быть не может. Сами судите: наш вид спорта воспитывает силу, выносливость, ловкость, координацию. Он сложен и в то же время достаточно прост, чтобы не развивать дисгармонично отдельные группы мышц. Художественная гимнастика дарит любовь к музыке, умение ее понимать, внутреннюю культуру, вкус. Мы даже объясняем девушкам, кому гладкая прическа идет, кому высокая, кому косы короной. Полбеды, если неудачная прическа испортит свидание, вот соревнование испортит — тут печальнее, тут беда...

— И последний вопрос: работа над какой композицией принесла вам, как тренеру, особое удовлетворение?

— Видите ли, удовлетворение испытываешь, когда ученица полностью тебя понимает. «Полишинель» Савинковой, «Тачанка» Кравченко поняты и почувствованы были сразу, с полуслова...

— Все же «Полишинель»?

— Да, «Полишинель».

ИНТЕРВЬЮ ВТОРОЕ — С ЛЮДМИЛОЙ САВИНКОВОЙ, ПЕРВОЙ ЧЕМПИОНКОЙ МИРА ПО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКЕ:

— Когда мы с Марией Вартановной сделали «Полишинеля» и я показала его, мне говорили, что это не спорт, что спорт — это радость, а не страдание. Никаких трагедий на лице! Но в «Полишинеле» я как раз и раскрылась. Я там не только технику демонстрировала, но передавала содержание. Рисунок танца контрастный. Полишинель — это маленький шут, вот он веселый, красивый на балу, сверкает своим мастерством, и вдруг его Коломбина с другим, и он грустный, плачет. И все это я изображала. Я убеждена, что художественная гимнастика — это не просто движения, сопровождаемые музыкой. Надо ощущать музыку и

как чувствуешь ее, так и передавать. Но многие судьи, тренеры почему-то противятся этому...

— Очевидно, вас никогда не занимала проблема выбора: спортивная гимнастика или художественная?

— Никогда.

— Но какой-либо вид спорта, кроме художественной гимнастики, вам импонирует все же?

— Никакой. Мне близок балет. Мой кумир — Плисецкая. Перенимаю у нее все, что могу. Не пропускаю ни одного спектакля с ее участием. «Лебединое озеро» смотрела, кажется, раз сто.

— Но чем, скажем, ваш спортивный «Полишинель» отличается от балетного, поставленного в Ленинграде?

— Только тем, что я не стою на пуантах.

— Где же тогда принципиальное различие между художественной гимнастикой и балетом?

— Балет — профессия, туда из тысячи выберут одну. Но уметь двигаться красиво должна каждая женщина. Эту красоту и дает наш — массовый — вид спорта. Он заставляет задумываться над каждым своим движением. А познавая движение, познаешь и музыку, под которую выполняешь его. Из этого познания музыки и движения рождается совершенно иное мироощущение. Немного не такое, как у других людей. Немного сказочное.

— А все иные виды женского спорта вы категорически отвергаете, да?

— И у нас, в художественной гимнастике, сейчас резко возрастают нагрузки, но то, что делается, например, в некоторых видах легкой атлетики, кажется мне просто несовместимым с возможностями женского организма. Женщины теряют женственность. Даже спортивная гимнастика, с моей точки зрения, не совсем гармонично развивает фигуру.

— О, вы просто яростны в своем пристрастии.

— Да, я фанатичка. Посудите сами: нужно очень много фанатизма, чтобы ежедневно несколько часов подряд отрабатывать одни и те же движения, а вечером спешить в институт — ведь я собираюсь стать архитектором...

— На чем же держится ваш фанатизм?

— Я занимаюсь спортом ради собственного удовольствия. Меркантилизм противопоказан спорту. Настоящий спортсмен должен быть бескорыстен. Перед каждым выступлением Мария Вартановна просит нас не думать о первом месте. Она говорит: «Вы должны выступить для того, чтобы и вы и зрители получили удовольствие».

— Вы любите своего тренера?

— Боготворю! Я была прежде ужасно вспыльчивой, раздражительной. Мария Вартановна мучилась со мной, но воспитывала: не пускала на тренировки, не разговаривала. И я стала уравновешенным человеком...

●

ИНТЕРВЬЮ ТРЕТЬЕ И ПОСЛЕДНЕЕ, В КОТОРОМ АВТОР БЕСЕДУЕТ С САМИМ СОБОЙ:

— Сначала об искусстве и спорте. Согласен ли ты с Людмилой Савинковой, что главное различие между балетом и художественной гимнастикой — пуанты?

— Не совсем. Коль было бы это так, все проблемы решались бы значительно проще, чем нынче. Соревнование — вот, пожалуй, все-таки главный камень преткновения. Соревнование, борьба за медали, за места, баллы, проставляемые строгими судьями, которые — что скрывать! — выше ценят технику, нежели артистизм, внешнее, нежели внутреннее.

— Значит, конфликт не разрешим?

— Почему же? Вспомним фигурное катание — судьи выводят там две оценки: за технику и за искусство, за выразительность. Я бы, например, предложил на турнирах по художественной гимнастике назначать два жюри: одно из спортивных специалистов, другое — из актеров, художников, музыкантов, скажем. А общая оценка — из суммы обеих оценок. Просто?

— Да. Даже, пожалуй, слишком. И поэтому, должно быть, сложно с чисто организационной стороны. Но вот тебе еще один вопрос. Обе твои собеседницы (Лисициан — мягче, Савинкова — убежденнее и яростнее) утверждали, что художественная гимнастика чуть ли не единственный подходящий для женщин спорт. Согласен?

— Как тебе сказать... Мне немного обидно за гимнастику спортивную. За фигурное катание (впрочем, я думаю, наши оппонентки просто забыли о нем упомянуть). Но, развивая тезис, должен сказать: мне категорически не нравится, скажем, женский велосипедный спорт — и не мне одному, у него много противников и среди тренеров и среди медиков, и попытки упразднить его, как справедливо упразднен был в свое время женский хоккей, делались не раз, но пока безуспешно. Мне не по душе женские лыжи (это тяжело, особенно 10 километров — не туристской прогулки ведь, но тяжкого, одышливого бега), некоторые виды легкой атлетики.

— Постой, постой. Не сам ли ты в числе других поднимал на щит в своих корреспонденциях и лыжниц и велосипедисток? Не больно это принципиально, согласись.

— Да, это так. Корю себя. Это было продиктовано привычной бездумной позицией, согласно коей блеск золотых медалей, их вес и проба одинаковы — мужскими руками добыты они или женскими. Но если взглянуть пристальнее и задуматься глубже, то, может, есть нам смысл и отказаться от одного-двух звонких блестящих кружочков. Отказаться во имя здоровья — массового здоровья, которое и служит начальной и конечной целью нашей физкультурно-спортивной работы.

— Прожекты, прожекты... Скажи-ка лучше: сам ты, когда подрастет твоя дочь, запретишь ей, что ли, кататься на велосипеде?

— Нет, почему же. Пусть катается — для собственного удовольствия.

— На лыжах?

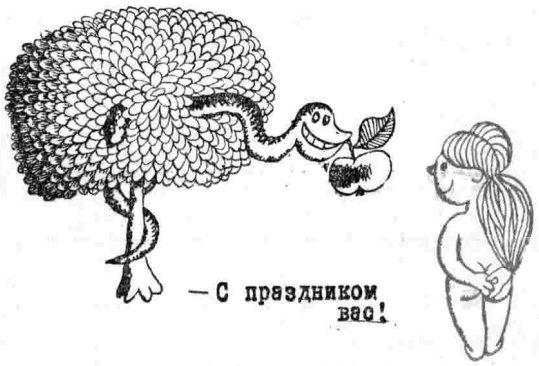
— Пусть бегает. Для здоровья.

— Легкой атлетикой заниматься?..

— Не пробуй припереть меня к стенке. Ты прекрасно понимаешь, что выбор она сделает сама, я лишь попытаюсь, елико возможно, повлиять на этот выбор.

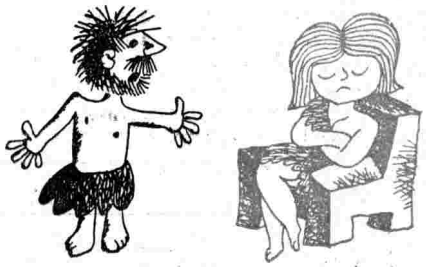
— И привести ее в секцию художественной гимнастики? Ты улыбаешься? Я прав?..

ИЗ ИСТОРИИ ЖЕНСКИХ ПРАЗДНИКОВ



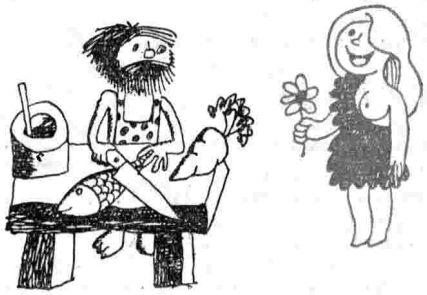
— С праздником вас!

Каменный век



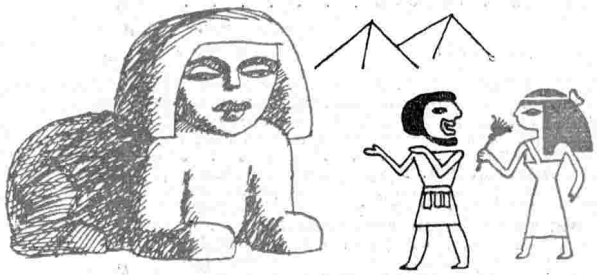
— Дорогая, ну где же я тебе достану нейлоновую кофточку? Сейчас ведь каменный век все-таки...

Эпоха матриархата



— Поздравляю с женским днем!

Древний Египет



К празднику я сделал твой портрет!

Древний Рим



— Это тебе подарочек. Пылеводонепроницаемые!

Эпоха Возрождения



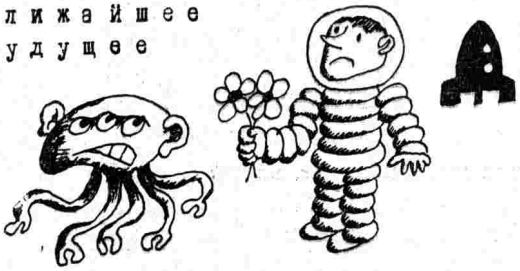
— Это вам прислал некий Леонардо да Винчи!

В наше время



— С 8 Марта!

Ближайшее будущее



При чем тут 8 Марта? Вы что, не видите, что я мужчина?!

Рисунки А. Семенова.





На берегу Ангары.

Кадры из документального цветного фильма «Сибирью плененные».
Режиссер-оператор Иван Галин.
Производство Центральной студии документальных фильмов.

На трассе Абакан — Кызыл.





Цена 40 коп.

2 – 4

Главный редактор Б. Н. ПОЛЕВОЙ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: В. П. АКСЕНОВ, Э. Б. ВИШНЯКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ, Е. А. ЕВТУШЕНКО, Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), Г. А. МЕДЫНСКИЙ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.

Индекс
71120